

СУРГУТ

литературный



А Л Ь М А Н А Х

№ 10
2012

СУРГУТ

литературный



А Л Ь М А Н А Х

№ 10
2012



УЧРЕДИТЕЛЬ:

Городской общественный фонд развития
русской словесности «Словесность» г. Сургута

Альманах издается на средства Администрации г. Сургута

Главный редактор Ю.А. Дворяшин

Редакционная коллегия:

Н.В. Ганущак

С.А. Лагереv

Адрес редакции:

Тюменская область, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2.
Сургутский государственный педагогический университет,
ауд. 420. Фонд «Словесность»

Рукописи не возвращаются. Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с точкой зрения редакции.

При перепечатке ссылки на альманах обязательны.

Зарегистрирован Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

16 ноября 2007 г.

ПИ № ФС 17-0816

ISBN 978-5-87247-571-2

© Фонд «Словесность», 2012

© ООО «Зауралье», 2012

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

№ 10
2012 **СУРГУТ** *литературный*

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ ГАНУЩАК	4
Фонду «Словесность» – 10 лет	
<i>Поэзия</i>	
СЕРГЕЙ АБРАМОВ	13
Сыновья преданность	
НАТАЛЬЯ ЛУЦЕНКО	23
Белым пухом прикрыты площади	
<i>Проза</i>	
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ	34
Взвейтесь, соколы, орлами!	
<i>Сургутская гостиница</i>	
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ	171
Дотянуться до русского неба	
Отцы	
ТАТЬЯНА СМЕРТИНА	195
Я вам своё оставляю счастье...	
НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ	208
Зачем явился в мирозданье?..	
ВЛАДИМИР МАЗИН	214
Душа моя извечно не спала...	
<i>Очерк и публицистика</i>	
СВЕТЛАНА ГРОНСКАЯ	225
<i>Юбилей</i>	
ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ – 75	251
ВЛАДИМИР КОСТРОВ	252
Уроки русского	
АЛЛА ЦУКОР	253
Я верю в будущее России	
<i>Память</i>	
НИКОЛАЙ РУБЦОВ	257
Привет, Россия! Родина моя!	
Посвящения	
СУХАНОВСКИЕ ДНИ В СУРГУТЕ	273
Вместе с Фондом – 10 лет	276



НИКОЛАЙ ГАНУЩАК

*Председатель правления городского общественного фонда развития
русской словесности «Словесность»*

ФОНДУ «СЛОВЕСНОСТЬ» – 10 ЛЕТ

В России общества, которые имели в своём названии понятие «словесность», были широко распространены, начиная с XVIII века. Достаточно вспомнить «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» Пушкинской эпохи в Петербурге или «Общество любителей Российской словесности» при Московском университете начала XIX века. Это самые известные общества столичные, но не менее активными были всегда и общества, создаваемые на периферии государства. Роль этих обществ в истории России, региона, истории не только литературной, но и общественной, социальной, трудно переоценить. Общественная жизнь всегда шла рядом с просвещением. И общества, создаваемые на основе «словесности», всегда ставили своей целью способствование успехам отечественной словесности как главному средству к распространению просвещения.

Активизация литературной жизни Сургута в начале века нынешнего, XXI, способствовала тому, чтобы такое общество было создано и в нашем городе. Это не означает, что до этого литературная жизнь Сургута была малоактивна. Наоборот, вся история литературной жизни нашего города способствовала созданию такого общественного объединения.

Литературная жизнь города Сургута сформировалась на основе мощного творческого потенциала интеллигенции, живущей здесь. Ещё в 20-е – 40-е годы в Сургуте проводились литературные чтения, ставились спектакли по произведениям классиков русской литературы с использованием музыки русских композиторов. Город имел крупную и богатую по тем временам библиотеку.

В 60-е годы, с момента открытия здесь нефтяных месторождений, появился новый поток людей, профессионалов своего дела, высокообразованных, интеллигентных людей, для

которых книга играла значимую роль в жизни и собственном развитии. При редакции газеты «К победе коммунизма» было создано литературное объединение «Северный огонёк», которое действует до сих пор и в мае 2012 года отметит свой 45-летний юбилей. Из недр объединения вышли поэты и писатели: Пётр Суханов, Никон Сочихин, Сергей Сметанин, Дмитрий Сергеев. Первым руководителем «Северного огонька» была Алла Фёдорова Ярошко, член Союза журналистов России.

С 1971 года Сургут принимал гостей Всесоюзных дней литературы и искусства. В городе побывала большая группа известных писателей и поэтов. В их числе Ю.Друнина, В.Боков, Л.Татьяничева, М.Агашина, А.Кешоков. Это, несомненно, внесло свою лепту в развитие литературной жизни города. Двумя десятилетиями позже Сургут смог принять Съезд писателей России, участники которого обсуждали тему «Современная художественная литература для детей и юношества на рубеже веков» (в рамках съезда работала выездная редакция журнала «Детская литература»), конференцию писателей коренных народов Севера, где работала выездная редакция газеты «Литературная Россия».

Большой популярностью в 90-е годы прошлого века в городе пользовался абонемент «Живое русское слово», в рамках которого Сургут посетили Б.Ахмадулина, А.Битов, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ф.Искандер и другие российские писатели и поэты.

С завидным постоянством почитатели творчества русского поэта Николая Рубцова январскими днями собирались на «Рубцовские чтения», инициатором и вдохновителем которых всегда был Сергей Лагереv. Наш город был одним из немногих городов в России, где много лет проводились и проводятся Рубцовские чтения и поэтические вечера, посвящённые памяти поэта. Центр тесно сотрудничает с подобными обществами из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Дзержинска и других городов.

С открытием в Сургуте высших учебных заведений, особенно государственного педагогического института, интерес к художественной литературе, к поэтическому слову значительно возрос. Стремительно формируется и развивается потенциал научных исследований художественной словесности. Велика роль в этом процессе кафедры литературы Сургутского государственного педагогического института, которая в течение нескольких лет провела ряд крупных всероссийских и региональных на-

учных конференций: «А.С. Пушкин и славянский мир», «М.А. Шолохов в общественном сознании XX века» и др.

Всё это свидетельствовало об активности литературно-художественной и исследовательской деятельности интеллигенции, широких слоёв сургутской общественности, что является залогом полноты и плодотворности культурной жизни города. И в начале нынешнего века в среде творческой интеллигенции возникла идея создания объединения, главным предметом которого станет словесность.

Инициаторами создания «Сургутского фонда развития российской словесности» стали Юрий Александрович Дворяшин, доктор филологических наук, профессор (в то время – проректор по научной работе СурГПИ), Анжелика Олеговна Давыдова, в то время – заместитель директора по науке историко-культурного центра «Старый Сургут», Анатолий Прохорович Зубарев, председатель правления городской организации журналистов, член Союза журналистов России. Фактически деятельность Фонда началась в 2001 году. В концепции организации, которая была официально зарегистрирована в 2002 году, значилось, что «Сургутский фонд развития российской словесности является общественным объединением интеллигенции города Сургута, деятельность которого направлена на реализацию в местных условиях нравственно-эстетического потенциала русского языка и словесной культуры народов России, представители которых проживают в регионе. Фонд имеет целью создание условий для совершенствования и развития литературного творчества горожан, а также для активизации усилий по использованию богатств русского языка путём накопления и рационального использования материальных средств на основе добровольных взносов и иных не запрещённых законом поступлений».

Говоря об актуальности такого фонда, инициаторы его создания придерживались мнения о том, что в условиях фундаментальных преобразований современного общества особую актуальность приобретает задача возрождения национальной духовности и культуры. Осуществление этой задачи возможно только объединёнными усилиями всех, кто чувствует свою ответственность за будущее Отечества. Одним из важнейших направлений этой деятельности является развитие российской словесности, которая традиционно выполняла важнейшую социальную функцию поддержания нравственности. Для стремительно растущего города Сургута вопросы литературного творчества

и просветительской деятельности, основанной на материале отечественной литературы и направленной на духовное совершенствование общества, становятся особенно острыми, поскольку за непродолжительное время в городе значительно расширился круг людей, непосредственно связанных со словесностью (писатели, литературоведы, журналисты, студенты, преподаватели, учителя, библиотекари и т.д.). Существенно повысился уровень культурного пространства города, требующий различных форм творческого восприятия и использования словесности. В этих условиях первостепенную значимость приобрела необходимость объединения усилий всех сургутян, заинтересованных в процветании города, в судьбе русского языка и литературы.

Городской общественный фонд развития российской словесности «Словесность» города Сургута был зарегистрирован как общественное объединение 14 марта 2002 года Управлением юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу (свидетельство о государственной регистрации №1386 от 14.03.2002). Председателем Правления Фонда был избран доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России Ю. А. Дворяшин. С 2003 года Правление Фонда возглавляет кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы и журналистики СурГПУ Н.В. Ганущак. Целью общественного объединения является создание условий для совершенствования и развития деятельности литературно-творческих сил города, объединение творческих сил для усиления развития литературного процесса в городе, налаживание и поддержка связей с российскими писателями и поэтами, творческими объединениями, профессиональными союзами. В правление Фонда наряду с учредителями вошли Я.С. Черняк, заместитель мэра Сургута, П.А.Суханов, поэт, член Союза писателей России, С.А.Лагереv, популяризатор творчества Николая Рубцова, А.В. Шпак, генеральный директор ЗАО «Сургутский издательский центр» и А.Ф. Ярошко, член Союза журналистов России, корреспондент газеты «Нефть Приобья». О своей готовности всячески поддерживать деятельность Фонда заявили начальник департамента образования и науки Н.Я. Стрельцова, ректор СурГПИ Н.В. Коноплина, генеральный директор телекомпании «СургутИнформТВ» И.В. Ярош, главный редактор газеты «Сургутская трибуна» А.И. Щелкунов.

Активная работа началась ещё до официальной регистрации Фонда. Она началась с учёбы. Так, в октябре 2001 года был проведён первый творческий семинар литераторов города Сургу-

та и Сургутского района, в работе которого приняли участие В.В. Иванов, заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия», М.П. Лобанов, литературный критик, профессор Литературного института имени Максима Горького, А.А. Парпара – поэт из Москвы, Ю.С. Надточий – прозаик, драматург из Тобольска, Н.И. Коняев – ответственный секретарь Ханты-Мансийского отделения Союза писателей России. За два дня работы руководители семинара успели ознакомиться с творческими материалами более 30 авторов. Главное назначение встречи начинающих литераторов с уже состоявшимися в том, что каждый из участников в той или иной мере получил ответ на вопрос, каков уровень его творческого развития, узнал цену своим сочинениям. Кроме этого такого рода семинары являются частью создания культурной среды. По результатам семинара в 2002 году был издан сборник стихов сургутских поэтов «Радуга» под редакцией П.А. Суханова. В сборник вошли произведения семнадцати авторов.

За десятилетие своей деятельности Фонд стал инициатором и организатором трёх таких семинаров: второй творческий семинар литераторов Сургута состоялся 19-20 апреля 2003 года. Его руководителями стали профессор Литературного института имени Максима Горького Ю.И. Минералов, главный редактор газеты «Литературная Россия» В.В. Огрызко (Москва), Н.И. Коняев (Ханты-Мансийск), Ю.А. Дворяшин (Сургут). А третий семинар был проведён 10-11 февраля 2006 года под руководством А.Б. Кердана, секретаря правления Союза писателей России, координатора Ассоциации писателей Урала, и Л.П. Быкова, литературного критика, профессора Уральского государственного университета (Екатеринбург). 23-25 апреля 2009 года в Сургуте Фонд совместно с Ассоциацией писателей Урала при поддержке Администрации города провёл Всероссийское совещание молодых писателей. В Сургуте собрались вместе молодые литераторы и критики из двадцати субъектов России. Седьмой номер нашего альманаха полностью посвящён этому событию. В юбилейный год правление Фонда проводит четвёртый творческий семинар для начинающих литераторов Сургута и Сургутского района.

Важной составляющей частью работы Фонда стал Рубцовский центр, бессменным руководителем его является С.А. Лагереv, который с начала 90-х годов XX века активно собирал сведения и изучал творчество Николая Рубцова. Создание Фонда позволило центру подняться на более высокую организационную и культурную ступень и получить поддержку в своей дея-

тельности от Администрации города, Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. В третьем номере нашего издания мы публиковали интервью с С.А. Лагеревым. В следующем номере нашего альманаха мы подробно расскажем о деятельности Рубцовского центра в Сургуте – одном из лучших в России.

С 2004 года Фонд при финансовой поддержке Администрации города осуществляет издание литературно-художественного альманаха «Сургут литературный», юбилейный, десятый номер которого Вы, уважаемый читатель, держите в руках. Издание современное. С самого начала редколлегия издания задала достаточно высокий уровень требований к произведениям и старается держать эту планку. Помимо традиционных для толстых литературных журналов рубрик, как то: «Поэзия», «Проза», «Литературная критика» – альманах наполняется и новыми рубриками: «Сургутская гостиная», «Хроника литературной жизни», «Память», «О нас пишут». Авторами альманаха являются как профессиональные литераторы – члены творческих союзов, так и начинающие писатели и критики. Альманах по достоинству оценён не только в Югре, но и в России в целом. Подтверждением тому являются имена тех литераторов, которые публикуются в разделе «Сургутская гостиная»: В. Распутин, Н. Рачков, Н. Зиновьев, Е. Курдаков, В. Юровских, А. Кердан. Наличие у города своего собственного литературного альманаха свидетельствует о существенно возросшем уровне духовных и эстетических потребностей. Ныне редакторский портфель альманаха переполнен. Правление Фонда старается привлечь внимание общественности, градообразующих предприятий, властей к проблеме издания альманаха. В разные годы поддержку альманаху оказывала Администрация Сургутского района, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром переработка», привлекалась частная спонсорская помощь. Однако эта поддержка зачастую разовая, нерегулярная, а тех средств, которые заложены в городской бюджет, явно недостаточно. Правление Фонда прилагает усилия для того, чтобы альманах продолжал своё существование.

Издание альманаха – не единственная издательская деятельность Фонда. За десять лет при организационной и финансовой помощи «Словесности» в свет вышел ряд книг: «Радуга. Стихи сургутских поэтов», о которой мы уже упоминали, «М. Шолохов: грани судьбы и творчества» Ю. Дворяшина, при помощи Центральной библиотеки – «Душа хранит», «Поэту посвящается», редактором и составителем которых стал С.Лагереv,

«Кудельки» Н.Оленина, «Причащение» В.Исакова, «Марафон» В.Федотова, «Избранное» П.Суханова, «Лирика» Н.Куваевой. Последняя в этом ряду книга – поэтический сборник талантливого поэта Натальи Куваевой, получившей рекомендацию в Союз писателей России, стала первой в библиотеке альманаха «Сургут литературный». Очень хочется верить в то, что у библиотеки альманаха будет счастливая издательская судьба.

Благодаря активности Фонда, Сургут известен в российских литературных кругах как город, где свято чтят памятные даты русской литературы. За последние десять лет в городе сложилась добрая традиция проведения мероприятий, посвящённых знаменательным событиям классической и современной литературы: отмечены 185-летие Н.А.Некрасова, 190-летие М.Ю.Лермонтова, Т.Г.Шевченко, 110-летие С.А.Есенина, 100-летие М.А.Шолохова, 70-летие Н.М.Рубцова, 65-летие П.А.Суханова.

Достаточно широко в Сургуте прошли «Шолоховские дни», посвящённые 100-летию юбилею классика русской литературы, создателя бессмертного «Тихого Дона». Горожане и гости города приняли участие в разнообразных мероприятиях. В течение двух недель во дворцах культуры, библиотеках и учебных заведениях демонстрировались и обсуждались кинофильмы по произведениям великого русского писателя. В Доме истории сургутского казачества историко-культурного центра «Старый Сургут» работала мемориальная выставка.

Центральным событием «Шолоховских дней» стала научно-практическая конференция, прошедшая в Сургутском государственном педагогическом университете, в работе которой приняли участие известные литературоведы из Москвы, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута. Состоялось также торжественное собрание общественности города «Михаилу Шолохову – 100 лет», в котором приняла участие народная артистка России Зинаида Кириенко.

К 200-летию Н.В. Гоголя правлением фонда «Словесность» была разработана программа городских мероприятий, которая включала в себя тематический публичный лекторий «Творчество Николая Гоголя», городской открытый творческий конкурс в пяти номинациях: лучший чтец, лучшая инсценировка, лучшая творческая работа, лучшая разработка мероприятия, лучший рисунок, передвижную художественную выставку «Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество», ретроспективу фильмов экранизаций произведений Н.В.Гоголя, городскую литературную викторину «Я

знаю произведения Николая Васильевича Гоголя», торжественное собрание творческой общественности города и литературно-музыкальный вечер «Гений, пробудивший самосознание России...». Подобные мероприятия формируют познавательные, образовательные возможности, служащие достойному культурному и социальному воспитанию подрастающего поколения.

В поле внимания Фонда всегда находится и конкурсная работа. Так, в 2003-2004 годах был проведён открытый литературно-творческий конкурс «Сургут – судьба моя», посвящённый 410-летию города.

Целями и задачами конкурса являлись выражение через поэтическое слово чувства признательности предыдущим поколениям сургутян, чьими трудами на протяжении веков созидался город; воплощение в словесных образах чувства гордости за наших соотечественников, земляков, теплом чьих сердец согревался наш суровый северный край; постижение средствами художественной литературы сущности и величия человеческого подвига сургутян; стимулирование творческой деятельности литературных сил города: писателей и поэтов, членов творческих союзов, объединений, студий, всех жителей города, увлекающихся словесным творчеством; создание условий для выявления литературных дарований, талантов; предоставление им возможности для самореализации. На конкурс принимались художественные произведения собственного сочинения: стихотворения, поэмы, рассказы, повести, песни, которые ещё не участвовали в иных конкурсах. Конкурс проводился по трём номинациям:

- проза – рассказы, очерки, повести;
- поэзия – стихотворения, поэмы;
- литературно-музыкальный жанр – песни.

Итоги конкурса были подведены 6 июня в Пушкинский день, в день 205 годовщины рождения великого русского поэта, что само по себе символично. В конкурсе приняли участие 76 человек. Возраст участников самый разный: среди конкурсантов учащиеся школ, лицеев и гимназий, студенты вузов, пенсионеры, работники и служащие разных предприятий и организаций, военнослужащие. Свои посвящения представили как известные поэты и писатели, так и начинающие художники слова. Жюри конкурса возглавил Ю.А. Дворяшин. Победителями в разных номинациях стали прозаик Олег Рихтер, поэт Леонид Гайкевич и бард Михаил Долгополов.

Среди молодёжи города весьма востребованными являются конкурсы чтецов, которые Фонд регулярно проводит совместно с кафедрой литературы Сургутского педуниверситета. За десять лет проведено восемь таких конкурсов. Больше тысячи учащихся, студентов города и района приняли участие в творческом соревновании, приуроченном различным событиям в области литературы, истории, культуры: «Помнит мир спасённый», «Я твой верный сын, Югра», «Лермонтовская муза», «Памяти Голя», «Читая Шолохова».

Конкурсы каждый раз заставляют всех убедиться в том, как много у нас красивых, умных, талантливых детей и как важно вовремя помочь им открыть бесценный дар великой русской литературы, истинные художественные ценности. Фонд видит и в этом своё предназначение.

Говоря о деятельности Фонда, невозможно не вспомнить тех людей, которые стоят за этим названием: «Словесность». Безусловно, это неравнодушные к слову, к литературе люди. В разные годы в правление Фонда входили Татьяна Васильевна Шильникова, учитель словесности, кандидат филологических наук, Нина Алексеевна Дворяшина, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики СурГУ-ПУ, Светлана Александровна Тюрморезова, учитель словесности, кандидат филологических наук, Олег Борисович Рихтер, член Союза писателей России. Ныне в Фонде активно работают Ю.А.Дворяшин, С.А.Лагереv, А.О.Давыдова, Е.А.Авдеева, Е.А.Акулова, И.А.Калашникова, Д.В.Ларкович.

Являясь общественной организацией, Фонд в своей деятельности опирается на помощь и поддержку творческой общественности, учительского сообщества, студенчества и школьной молодёжи, иных общественных организаций, неравнодушных граждан Сургута, муниципальных, государственных учреждений, органов государственной и муниципальной власти, руководителей градообразующих предприятий, частных предпринимателей, коммерческих структур. От имени Правления Фонда выражаю всем искреннюю благодарность за посильное участие в организации и проведении наших мероприятий, за любовь к словесности и активную гражданскую позицию. Впереди – второе десятилетие. Уверен, что оно будет таким же насыщенным и продуктивным, как и первые десять лет.



СЕРГЕЙ АБРАМОВ

СЫНОВЬЯ ПРЕДАННОСТЬ

Дорога

Едет парень деревенский –
Городов он не видал, –
Он с простой улыбкой детской
Крутит верткую педаль.
А точнее, – две педали
Ноги крутят не спеша.
А вокруг такие дали,
Что ликует вся душа.
Он кивает всем знакомым
Воробьям и тополям,
И бревенчатому дому,
Будто это Божий Храм.
Я кивнул ему, как брату.
Я ведь знал его всегда.
Сам подумал: « Конопатый,
Ты не ездил в города».

Начинающему

Если слово с Отчизной твоё не срослось,
Если ближнего боль твоё сердце не ранит,
Если радость других порождает лишь злость,
То в поэты тебе, милый друг, еще рано.

Пусть ты чей-то прилежный в делах ученик
И красивые рифмы рука твоя множит,
Но в душе не журчит твоей райский родник,
То и зваться поэтом покуда не можно.

Ты, конечно ведь, слушать не хочешь меня.
И напрасно, мой друг, совершенно напрасно.
Мне сказала об этом сегодня заря,
А поэзия с ней вековечно согласна.

Рецензия

Когда рифмуют Родину с уродиной...
Душа моя склоняется – прости!
Прости мой дом, родителем построенный,
Что не сумел, не смог тебя спасти.

Прости сирень, посаженная бабушкой, –
Не защитил цветение твоё.
За огородом поле, все до камушка,
Прости, что не сберег твое жнивье.

Душа моя на травах распластается,
Слезу с росой смешает на заре.
И Родина моя вот так же мается,
Когда уроды ходят по земле.

Этюд

Снежок ложится елочкам в подолы,
Ложится на заброшенную гать...
С Покрова дня до вешнего Николы
О лете и не стоит вспоминать.

С Покрова дня опять в подлунном мире
Природы тайна спрячется в снегу:
И куропаток летние квартиры,
И соснячок на дальнем берегу.

Вот стрежень речки с темной полыньей
То забурлит, то стихнет до поры
И вновь покой. О, сколько здесь покоя!
В урочищах таинственной Югры.

Мужики да бабы
Снятся по ночам,
Сельские усадьбы,
Деревянный Храм.
И к чему – не знаю,
Вижу эти сны...
То ли жизнь такая,
Нет в душе весны;
То ли снова шибко
Я затосковал
По избе, где в зыбке
Жить я начинал;
По покосам росным
И Тавде-реке...
Там уж нынче осень
В золотом платке.
Золотит усадьбы
Осени обряд.
Мужики да бабы
В небеса глядят.

Ты уйди, назойливая память,
Мне в медовой юности не жить,
К берегам забытым не причалить,
Глаз невинных больше не любить.

Ты уйди, прекрасная отравы,
Понапрасну душу не томи –
В васильковом платице, Купава,
Не зови в объятия свои.

Не зови июньскими ночами
На веселый сельский перепляс...
Там теперь другое вьется знамя,
Там другая память зачалась.

Из записной книжки

Небо лазурное. Домик у речки.
Рядом растут тополя.
Рдеют рябины в тиши у крылечка,
Их разбудила заря.

За огородом колхозное поле,
Дальше мыском березняк.
Вспахана зябь, и чего еще боле.
Тихо здесь... тихо-то как.

Там, за увалом, большая деревня,
Два магазина, Совет...
Тут, на отшибе, притихло и время,
Будто его здесь и нет.

Старый хозяин поехал на медни
Внуков своих повидать.
В домик вернуться покуда он медлит...
Тихо-то как... Благодать.

*Ищу тишины и безлюдий,
Питаюсь одною отравой.*

А. Блок

Извечная жажда поэта –
Хоть каплю, хоть миг тишины...
Да где уж там... песни планеты
И звездам, пожалуй, слышны.

О, если б Свиридов иль Глинка,
А то ведь такое поют!..
Бежать бы поэту в глубинку,
Да только и там достают.

Невольню глотая отраву,
Сжимая свой дух до нуля,
Он пишет – про доблесть и славу.
И... плачет родная земля.

Бунтарское

Вновь работа не из легких,
А зарплата, как слеза.
Снова вьют из нас веревки,
Снова плачут небеса.

И дошли уж до того мы,
До греховного конца,
Что Емельку Пугачева
Рады встретить у крыльца.

С ним бы встали мы, как братья
Под бунтарское копье
И пошли бы рать за ратью
Бить все подлое ворье.

Но Емелька не приходит
И, наверно, не придет...
По деревне кто-то бродит,
Кто-то тут еще живет...

Неуплата

1

Бабка жила-доживала
Свой неоконченный век.
Кроме трудов и не знала,
Чем еще жив человек.
Старый барак да сарайка,
Да для коровы жилье,
Да почерневшая банька –
Вот все богатство ее.
Нет ни подруг, ни соседей.
Дед уже умер давно.
Солнце лишь раннее светит
Через двойное окно.
Рядом завод за дорогой.
Грохот от сильных машин.

Бабка вздохнет у порога,
Ладно, хоть есть магазин.
Хлеба и соли в достатке,
Спичек купила вчера...
«Что еще надо мне, бабке?..
Мне умирать уж пора».

2

Речка Заринка покрылась
Тоненьким первым ледком.
Бабке же молодость снилась,
Снился ей старый паром.
По комсомольской путевке
Вез их паром через Обь.
Дед молодой был и ловкий,
Жил и любил он взახлеб.
Снится на том он пароме,
Только какой-то чудной –
В белой рубаше знакомой
Тихо стоит со свечой.
Утром гадает старуха,
К счастью тот сон или нет?..
«Время покажет, Катюха», –
Прежде говаривал дед.
Надо в то верить, не надо...
Или забыть навсегда?
... А на столбе у ограды
Срезали все провода.
– За неуплату, – сказали
Ей мастера обрезать.
Снов они бабки не знали,
Да и не надо им знать.
Старый барак почерневший
Трудно видать в темноте.
В звезды уткнувшись, скворечник
Спит на высоком шесте.

Ностальгия

Я помню плац и утренний развод,
И зычный голос нашего комбата;
И ровный строй лихих курсантских рот;
И ветер голубое знамя рвет...
Как после – всю Россию демократы.

Я даже слышу: Батальон! Равня-йись!
И, как тогда, опять гляжу на знамя,
И вижу крыльев золотую вязь...
Душа ликует, с крыльями сроднясь,
И мерзлый плац не чует под ногами.

Восьмая рота. Где она теперь?!
Четвертый взвод... все живы ли, ребята?
В казарме, может быть, все та же дверь,
В нее входили: Минск, Челябинск, Тверь... –
Ну, в общем, весь Союз входил когда-то.

Храню я лица в памяти моей...
Четвертый взвод... совсем простые лица.
Их не сотрешь – тот строй лихих парней,
Где командир наш взводный во главе...
И буква «К» все так же золотится.

Артиллерист

Он спился почти безнадежно.
Жена разлюбила его.
Такое теперь уже можно,
Когда за душой ничего.

Он даже не мог улыбаться,
Он просто об этом забыл.
Ночами вдруг стал просыпаться,
И спать дальше не было сил.

И сердце стучало набатом.
И память скребла изнутри.
И снова он видел комбата,
Который командовал: «Пли!»

Он слышал, как горы стонали
От каждого залпа: алл-ах...
О, память! Твои бы скрижали
Оставить в афганских горах.

Пружины скрипят у кровати.
В окошке смеется луна.
О память! Нет сил уже! Хватит!..
... Спит мирно родная страна.

Подумал я – все люди братья.
Еще подумал – нет, не все,
А тем, кто шлет на Русь проклятья,
Я и не брат, и не сосед.

Сосед за стенкой – не из НАТО.
Мы тихо, мирно с ним живем.
Он в бой за Русь, коль скажут – надо,
Готов пойти хоть с топором.

О преданности

Вот опять приветствую деревню,
Лес, реку, убогие поля,
Деревенский быт, такой же древний,
Как и вся родимая земля.
Старый друг на прибранной ограде
Мастерит для рыбы кузовок.
Иногда ругнется, если надо
Привязать покрепче хомуток.

Отложил, приветствуя, работу
И... «айда в избу, попьем чайку»
А изба-то срублена добротна,
Есть чем похвалиться мужику.

Пили чай, конечно, не без толку –
Было нам о чем поговорить
По-мужицки мудро, не с наскоку...
Было что припомнить, с чем сравнить.

Я рассказ повел ему про север
И про то, какое там житье...
Он все о деревне – жизнью всею
Он любил родимую ее

Той святой есенинской любовью,
Что дана простому мужику.
Он к земле всю преданность сыновью
Пристегнул, как лямку к кузовку.

Исповедь

Он не был бомжом иль калекой.
Хотя непомерно был пьян,
Но все же он был человеком
(Забудем про русский изъян).

Ко мне, бородатому, шатко,
Качаясь, шагнул и сказал:
«Хочу исповедаться, батька...»
Но кончились силы, упал.

Он встанет, когда-нибудь встанет
И выйдет, я верю, на Свет.
Он вечно не может быть пьяным
Наш древний мужик – Пересвет.

Бомж

Вез автобус меня и мое невезенье,
И хотелось рыдать над своею судьбой.
Все надежды, мечты затенило сомненье.
Был на вид я утрюмый, а может быть, злой.

Что-то вспомнить пытался приятное сердцу:
То отрывки молитв, то беспечные дни.
Только сердцу в тот день не хотелось согреться,
Шевелилось уныние где-то внутри.

К остановке автобус подъехал, и ... надо ж,
Бомж знакомый стоит и мне машет рукой.
Улыбается так., в общем, тут не расскажешь,
Я ни разу не видел улыбки такой.

Опираясь на трость, как на праведный посох,
Он стоит, не прося ни рубля, ни вина.
И сомнений моих столь мучительный ворох
Растворила его лишь улыбка одна.

Я ему помахал, словно символу века...
О великий народ! Не согнешь, не убьешь
Ни чеченской войной, ни кончиною света!
Если дарит улыбку отвергнутый бомж!



НАТАЛЬЯ ЛУЦЕНКО



Наталья Луценко родилась в Украине. Окончила музыкальное училище в г. Запорожье по классу фортепиано. Получила два высших образования. Работает педагогом фортепиано и зав. отделом в Детской школе искусств № 2. Печаталась в коллективных сборниках и журналах г. Санкт-Петербурга и Москвы. Пишет стихи и музыку, участник городских проектов, неоднократно являлась победителем поэтических конкурсов и конкурсов песни. С 1989 года проживает в г. Сургуте.

Белым пухом прикрыты площади,
Золотится в сторонке храм,
Красота февраля не в почести.
По забытым идти следам
Так не хочется. Ветры встречные
Бьют наотмашь. Рябины куст
Наклонился под гнётом вечности
Низко-низко, скорбя, без чувств.
Истекая кроваво в лопастях,
Гроздь горькие пали в снег.
Звон протяжный завис над пропастью
И, сорвавшись не вниз, а вверх
Голосающим церковным пением,
Благодатью врачует тех,
Кто остался один, вне времени,
Одинокую ночь терпеть.
Предрассветная зыбь холодная
Растекается молоком,
Тени бродят с утра бесплотные,
Тая бледно-льняным пятном.
Солнца луч, пробиваясь истово
Сквозь февральский ледовый пласт,
Растворяет зимы бессмысленность,
Согревая озябших нас...

Песочком дни сквозь тоненькие пальцы
Просыпались, и год шагнул за край...
Снежинки умирают в темпе вальса
И пятится беспомощно февраль,
Срывая листья старые с блокнота,
Где теплятся наивные стихи,
В них чувство плачет самой тонкой нотой
Оно с тобой, как прежде, vis-a-vis.
Сосульки бьются, лед стеклом крошится,
Подснежники проклюнулись. Весна

Шагреновый кроит лоскутик ситца,
Исполнив тему нежности с листа...
Прощание рефреном тает, поздно,
Искать в слепой толпе тебя,.. меня...
Ведь нашей жизнью кто-то виртуозно
Играет легкомысленно, шутя.
Привыкнуть не могу... глаза блуждают,
Скользя по спинам сгорбленным, чужим.
Не ты... взглянул с отчаянной печалью,
Шепнув губами тихое: «Прости...»
Замёрзли лужи, холодно до дрожи.
Метель проснулась ночью без причин,
Расчётливо потери подытожив,
Закрыла антураж на карантин...

Утро моё незабудковой свежестью
Пахнет... На стёклах оставлен узор
Тоном изысканно-солнечной нежности,
Хрупкий, как самый тончайший фарфор.
Сонный фонарь выключает рассеянный
Свет... и, прожженный жемчужным дождём,
В хлопьях молочных снежинками Севера
Прячет фигурку под шляпкой-зонтом.

Тикают стрелки,.. и чёрное набело
Скрашено снежно – зимы натюрморт,
В коем на время дыхание замерло
И прозвучал пианиссимо хор.
Слышу одна, может, кто-то прислушался
К звукам, парящим хрустально вокруг?
Шагом измерена гамма трескучая,
Где в иллюзорном кружении пух
Тихо вращается в ритме адажио...

Через минуту окончен спектакль...
И осветился небесно-оранжево

Храма старинного символ-пентакль.
Крест в небо врезан,.. сусальное золото
За ночь впитало молитву души.
В небе продрогшем, на части расколотом,
Яблоком сказочным солнце дрожит...

Выдыхая прокуренный ветер
Тонкой струйкой, считаю ворон,
Вниз планирует сброшенный пепел,
Исчезает галдящий перрон.

Оставляя родные пенаты,
Пролистну недописанный труд,
Мысли вольные бьются набатом,
Сквозь меня филигранно текут.

Заполняя последней строкою
Промежуток скучающих лет,
Я тянусь огрубевшей рукою
За тобой – в луноликий рассвет.

Свет погас в оставленной квартире,
Ночь бросает лунную струну,
Вечен свет в космическом эфире-
Я в него когда-нибудь шагну.
Там не будет вёсен безысходных,
С черными разливами воды.
Мыслей гулкий рой кружит бесплотный,
Дёргая злой нерв на все лады.
К черту задержавшуюся зиму,
Что никак весной не назовешь!
Ливней расплетаю паутину,
В сердце спрятав чувственную дрожь.

Тенью готической вечер
Прячет слезу – «Не стоит
Плакать»... подобно смерчу
Пытка... Упали зори
В омут прощальных строчек...
Сколько ещё под кожей
Боль, сердце сжав комочком,
Будет кромсать ничтожно
Память моих падений,
Взлетов... касаний нежных?!
Боже... склонив колени,
Падаю безнадежно
В тихую гавань-ретро,
(Но без тебя там пусто...)
Ток обнаженных нервов
Губит шестое чувство...
Слепну, теряя даты,
Сжавшись до точки черной,
И не пришить заплату
К сердцу, что плачет кровью.
Я отпускаю... нитку
С криком истошным: «Где ты?!»
Небо под вечной пыткой
Смотрит... и видит бездну...

Когда-нибудь мы вспомним это...

*Два моих деда стали Героями Великой
Отечественной войны, родственники погибли
в концлагерях, а вечная память осталась.
С Днём Победы! – хочется сейчас воскликнуть.*

Век за спиною – пыль дорог,
Эфир прозрачней тонких кружев.
Салют,.. и горечи комок
Под марш Победный, он заслужен

Дедами, сестрами, роднёй,
Погибшей в мае, в сорок пятом.
Нальют вам ангелы штрафной
На небе, звездами распятом...

Не перечесть гранитных стел,
Что скрыли кровь надгробным пледом.
Наш мир от боли поседел.
Когда-нибудь мы вспомним это:
Разведку боем, за чертой,
В аду крестов, арийских свастик,
Голубку мира в битве той,
Что растерзала мрак на части.

Свирепый вражеский оскал
С беззубым дном – им сыт по горло!
Родных я столько лет искал...
Рыдает небо кровью черной,
И слышен крик издалека
В бомбежках зычной пилорамы.
Воскреснет нежная душа,
Расслышав ангельское: «Мама!»

А я налью сто грамм с лихвой
И, помянув ушедших к Богу,
Смогу покаяться строкой,
И боль отпустит понемногу.
Век за спиною – пыль дорог,
Эфир прозрачней тонких кружев,
Салют... и горечи комок
Под марш Победный – он заслужен!

Снег подтаял, озеро стальное
Плещется бесконтурным пятном,
Ветер в подворотне волком воет,
И у дома снежный пласт бельмом.

Капает вода метрично с крыши,
Солнце слепит пафосно в стекло,
Март озябший хриплым альтином дышит,
Время дерзкой стужи истекло.

Бьётся комочком ртути
Луч по струне рояля –
Нотки бессонной грусти
Осень с листа играет.

И, проникая током
Внутрь, под пергамент кожи,
Тоненько плачет, вздохи
Тоном высоким гложут...

Где «Утешенье» Листа
Льется из сонных клавиш,
Плавно кружатся листья,
Ты их на память знаешь...

Блюз обнаженных нервов,
Душу крест-накрест ранив,
Яркою вспышкой ретро
Больно стирает грани...

В серо-бетонных клетках
Черных квадратов дыры,
Готика тонкой стрелки
Рвет пустоту пунктиром...

И тишину меж строчек
Не исчерпать горстями,
Родинок многоточья
Мне бы собрать губами...

Ночь капюшоном звездным,
Памяти скрыв изъяны,

С музыкой грациозно
Таёт дымком кальяна...

Молочный туман бездомный –
Под небом, раскрытым настезь.
Январь в новогодней дрёме
Глотает глинтвейн вчерашний.
Узоры на стёклах плотно
Сковали картинку будней,
И в доме моём нечетном
Сегодня совсем безлюдно...

Зима задушила прозой
Холодной палитрой скуки.
Свеча в иллюзорной бронзе
Сжигает поток упругий
Забытых гармоний нотных,
Что тают ледовым хламом.
От пальцев, молочно-тёплых,
Растаял могильный мрамор.

Назло всем чертям... незримо
Страх канул в поток бульваров.
Мерцает огонь в камине,
Дымя аллергично спамом.
Рождественским утром ранним
Проснулся лучистый зайчик,
Завис над холстом ландшафтным,
Стекая за храм ближайший...

Реквием...

Взорвался мир, сошел с ума,
Оглох от крика,
Закрыты шалью зеркала –
Беда...

Безлико
 Цепочкой тянется поток
 Скулящей массой,
 Лишь твой застывший завиток
 Дрожит...
 Гримаса
 С молитвой губ за упокой
 Стекает свечкой:
 «Не уходи, побудь со мной,
 Моё сердечко!»...
 Я заблудился средь толпы,
 И мир пластинкой
 Кружится...

Реквием...
 Кресты
 И паутинка
 Сверкнула – бабочка души,
 Коснувшись нежно,
 Исчезла – медные гроши
 На слёзы грешным...
 Органный вздох, застыл аккорд...
 Чернильный ворон
 Взметнулся ... взвыл истошно хор
 И смолк со стоном...

Клавир кричащих децибел
 Пролистан – прочерк.
 За сорок дней я поседел,
 Земли комочек
 В ладонях грел. «Не уходи!», –
 Просил у Бога
 Во имя трепета любви
 Всего святого.
 Свет над простуженной Невой,
 На облик схожий.
 Тянусь я выжженной душой
 К тебе из кожи.

Память бывает капризна,
Ярким играя пятном,
Рвёт незаметно звено
Жизни безумной. Харизмой
Каждый отмечен... не счесть
Лиц, промелькнувших за годы
Нежных минут в непогоду,
Что откликаются здесь.
Эхо минорным аккордом
Боль в уголочке зрачка
Вычерпать хочет, но – тщетно:
Память кровит,.. и пока
Мой монолог безответный.

Мне бы согреться... зима
Шаль опустила на плечи –
Время от скуки не лечит.
Спрятан под плед января
Тонкий росток... Видно, зря
Тянется к солнцу... не скоро
Станет свободной земля.
Лучик сверкает за шторой,
Стены раскрасив узором,
Трогая веки слегка,
Дарит надежду... Мечта
Вычурно тает, как призрак,
Хрупкой ледышкой капризной...

В лужах отражается полнеба:
Россыпь звезд, кометы сизый шлейф.
И по капле звонкой тает нега,
Звукам подражая лунных флейт.

Образы, размыто-полусонны,
Прячутся за глянцевым стеклом.

В таинстве хрустальных полутонов
Бьется свет богемским хрусталем.

В шелесте беззвучного экстаза
Осень протестующим огнем
Письма жжет, аккордами фри-джаза
Рвется из сознания мотыльком.

Мрак сошел слепыми лоскутами...
Крапово-химерною волной,
Свечи затушил... и, став меж нами,
Плачет обожженною листвою...

Что осталось в памяти? Полнеба,
Россыпь звезд, кометы сизый шлейф.
И дожди струящимся allegro
Звукам подражают лунных флейт.



ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

«ВЗВЕЙТЕСЬ, СОКОЛЫ, ОРЛАМИ!»

(повесть)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**В Еланских лагерях
Городок наш ничего**

Наш городок стоит у крупного железнодорожного узла, который и стал причиной его рождения. В нём всего 35 тысяч жителей. Но он тихий, уютный, зелёный, утопающий в тополях. Да и до областного центра всего каких-нибудь двадцать километров. Одна беда – особо пойти некуда, а для многих это значит, что и заняться нечем. Ну, разве что сходить на киносеанс во дворец культуры, где неделями крутят один и тот же фильм. Да ещё возле вокзала находится тир, где можно пострелять из воздушного ружья и где я оттачивал меткость стрельбы, простреливая деньги, которые мне давали на перекус в школьном буфете или те, что удавалось выручить в пункте приёма стеклопосуды.

Когда я уже учился в старших классах, в город пришла нездоровая мода на молодёжные группировки, возникавшие в разных кварталах города и пригородных посёлках. Группировки вели между собой ожесточённые войны по любому поводу. Между ними заключались союзы, перемирия, но чаще шли постоянные стычки, иногда перераставшие в настоящие баталии с применением всех подручных средств. Столкновения эти не носили характера какого-то дележа. Просто в них выплескивались излишки энергии, накапливавшиеся в условиях скучной монотонной жизни. Для Трюкача, жившего на нашей улице в соседнем дворе, драки были способом общения с окружающим миром. Он был среднего роста, сухощавый, но очень быстрый резкий и отчаянный. Его многие боялись. Я знал его с детского

сада, он, как и я, коллекционировал значки, и мы иногда обменивались ими. Ко мне Трюкач относился покровительственно, ничего не требуя взамен, и я позволял вести себя совершенно независимо от нашей уличной хулиганской группировки, хотя, если попадал со своими приятелями в какую-то переделку, никогда их не бросал. Самые сильные баталии разгорелись летом, когда я окончил десятый класс. Порой происходили нападения на поселки, дворы и целые микрорайоны, в результате чего разворачивались крупные побоища, крушились заборы, беседки, вылетали двери подъездов.

Как-то после танцев один парень с нашей улицы пошел провожать девушку в окраинный поселок. Кто-то решил, что мы должны его сопровождать, чтобы местные не обидели. По поселку пронесся слух – центр идет громить окраину. Там собралась огромная толпа, вооруженная, как водится, ломами, палками, кусками арматуры. А мы были, по сути, с пустыми руками. Стоял летний вечер, уже стемнело, и улицы были пустынными, а может, они опустели при нашем приближении. Вооруженную толпу, появившуюся позади нас, мы сначала слышали по характерному торопливому звуку шагов и позвякиванию металлических предметов. Потом вдали, в верхней части улицы, спускавшейся по направлению к пустырю, замаячила колыхающаяся масса, словно это двигалось одно огромное существо.

– Идем спокойно до поворота, за поворотом сразу срываемся, – тихо сказал Трюкач.

Он точно знал, что, если мы сейчас побежим, это спровоцирует немедленную погоню. Пока же они только присматриваются, прикидывают, и, когда поймут, что за поворотом мы бросились бежать, мы выиграем десять-двадцать метров. Я подтянулся поближе к Трюкачу – он всегда точно знает, что делать, куда бежать, и редко попадает впросак. За поворотом мы побежали вдоль последней, односторонней улицы, обращенной к темному пустырю. Где-то на параллельном проезде слышался тяжелый гулкий ход местного воинства. Слышно было, как кто-то со звоном уронил на дорогу лом или ещё какой-нибудь тяжёлый предмет. Двигаясь по направлению к городу, мы приближались к узкому переулку. Из него сейчас могли выскочить местные. Некоторые ребята сбавили шаг, полагая, что выиграют время, чтобы побежать обратно или на пустырь. Трюкач же и несколько человек, бегущих рядом, сняли солдатские ремни

и прибавили шагу. Это был верный ход. Так можно было успеть проскочить или прорваться сквозь первых чужаков, которых будет немного, потому что переулок очень узкий. Бежать обратно или тем более в пустырь – значит превратиться в добычу, за которой долго будут гоняться местные, включая двенадцатилетних мальчишек с цепями и палками. Я тоже прибавил шагу и еще ближе подтянулся к Трюкачу. Первый переулок мы миновали спокойно, затем таким же манером – второй и третий. Уже был хорошо виден городской квартал – а там наша территория. Теперь было слышно, что погоня все еще движется по параллельной улице и за нами явно не успевает.

Наконец мы оказались на окраине городских кварталов и уже не бегом, а быстрым шагом вышли на нашу улицу, затем бросились во дворы, где у каждого было припрятано какое-нибудь оружие: ломик, пика, цепь или просто кусок толстого кабеля. Из дворов набежало еще десятка полтора наших. Всего собралось человек тридцать. Мы вышли на перекресток на самой окраине квартала, остановились и стали прислушиваться.

– Они сюда не сунутся, – говорили одни. – Побоятся.

– А может, и сунутся, – возражали другие. – Не каждый день можно столько народу собрать.

– Пойди вот с ним, – сказал мне Трюкач, указав на Киреева, парня с соседней улицы, с которым мы когда-то отдыхали в одном пионерлагере. – Пройдитесь по дворам, чтобы нас не обошли.

Мы пошли по дворам и задворкам в полной тишине, боясь, что нас услышат и атакуют из-за ближайшего угла или из подворотни. Пройдя квартал, мы постояли, оглядываясь по сторонам и напряженно вслушиваясь, а потом почти бегом направились обратно. Еще не выйдя из дворов, мы услышали нарастающий шум, затем какой-то хоровой вопль, и за ним последовал раскатистый гром, будто разом вразнобой застучало множество барабанов разной величины и звучания.

Сквозь этот грохот четко прорвался звук раскатистого выстрела – и все шумы стали стихать, распадаться на множество более тихих и удаляться. Когда мы выскочили на нашу улицу, она была почти пуста, лишь на дороге и на газоне лежали и сидели человек пять-шесть, один был совсем неподвижен. Мы подошли – это был не наш.

– Ребята, помогите, – сказал парень сидевший на земле. Он был с перекрестной улицы Некрасова. Помогли ему подняться.

Он еле ковылял. Нашли еще одного нашего. Остальные были чужими, и никто из них не решался подняться – может, видя у нас в руках куски железной арматуры, боялись, что мы станем их добивать.

– Эй! – окликнул я их. – Своего посмотрите.

Тогда один пополз к недвижимому на четвереньках:

– Вроде жив, – сказал он, тормоша его. Поднялся и подошел еще один. – Щас очухается.

Мы с Киреевым потащили через дорогу парня с нашей улицы, который периодически терял сознание. Во дворе хотели вызвать «Скорую», но он неожиданно быстро оживился и даже стал что-то рассказывать о произошедшем столкновении.

«Сотрясение мозга точно есть», – подумал я, глядя ему в лицо. Тут во двор небольшими группками стали стекаться другие наши. Все сначала были мрачными, потом разговорились, развеселились стали вспоминать, как и что происходило.

– А кто стрелял? – любопытствовал Киреев.

– Черт знает, – сказал Костик. – разве там поймешь? Скорее всего, они, потому что двоим нашим дробью попало.

– Сильно? – посочувствовал я.

– Да нет. Дробь мелкая, самопал, видно, фиговый. Грохоту много, а толку...

Хотя эти инциденты и добавляли адреналина в кровь, у меня они вызывали отталкивающее чувство. Обиднее всего было бы получить увечье в каких-то в сущности своей ничтожных, а зачастую и глупых разборках. Но откровенно дезертировать было нельзя, меня бы неправильно поняли. Кроме того, возникали ситуации, в которых просто было некуда деваться.

Для кого-то эти войны стали интересным, даже захватывающим времяпрепровождением. У меня же была масса других увлечений. Например, я интересовался археологией и любил перерисовывать артефакты древнего искусства из научных журналов, которые выписывал или покупал в киоске. Кроме того, собирал наборы репродукций картин известных художников, особенно любил наших передвижников и французских импрессионистов. Много лет спустя, мне в оригинале доведётся увидеть картины Пьера Ренуара, Клода Моне, Эдуарда Мане и даже Ван Гога в парижском музее д'Орсэ. Но в то время о таком я не мог даже помечтать. Собирал также открытки с известными архитектурными шедеврами и смог бы их сразу узнать, если бы

довелось увидеть воочию.

Готовился поступать в университет на исторический факультет. Это обстоятельство позволило мне не попасть в крупную переделку, из которой некоторые наши ребята пошли на скамью подсудимых.

Вечерами мы коллективно ходили на танцы в городском парке. Однажды я не пошёл со всеми, поскольку на следующий день у меня был вступительный экзамен в университете. На танцах произошла крупная потасовка. Наши, оказавшись в меньшинстве, отступили в расположенное у входа в парк кафе «Холодок», где многие разогревались спиртным перед танцами, и, разбив стекло, засели внутри. Там оказались ящики с бутылками, которые тутже полетели во врагов. Затем многих задержали, и во дворце культуры прошёл показательный суд над участниками этих безобразий.

Побоищам пытались противостоять взрослые, часто живым щитом становясь между противостоящими ордами.

– Чего вы хотите? – спрашивали они. – Беды вы не знали! С жиру беситесь!

Во время разгрома одного из дворов в центре города, на грузовых машинах приехали солдаты внутренних войск. Те особо не церемонились: догоняли разбегающихся пацанов, сбивали их с ног прикладами и бросали в кузова машин. Постепенно стычки пошли на спад.

Я же, недобрав полбалла по итогам экзаменов, в университет не попал и до ноября работал токарем в ремонтно-прокатной базе. Стоял у старого станка ДИП-200, точил в основном болты, гайки и штуцера, поглядывал за окно, напротив которого, отсчитывая оставшееся до зимы время, медленно желтел высокий пирамидальный тополь. Между делом я сочинял стихи, которые начал писать ещё в детстве.

Призыв

Осенью мне исполнилось восемнадцать. В это время многие ребята с нашей улицы уже хвастались друг перед другом повестками в военкомат и готовились к отправке в армию.

Подождав неделю и не получив повестки, я поехал в военный комиссариат. Он располагался в одноэтажном длинном здании старой постройки и выглядел довольно мрачно. Явившись в

кабинет к начальнику отделения, отвечавшего за призыв, я возмутился, что меня почему-то не призывают на службу.

— А когда исполнилось восемнадцать? — спросил маленький, лысый, толстый и очень крикливый майор, которого побаивались все ребята.

— Неделю назад, — ответил я.

— И ты до сих пор сидел и ждал, когда тебе повестка придёт?! — заорал майор. — Дезертир! Шагом марш за мной!

Он завёл меня в помещение, где за столами, заваленными бумагами, сидело несколько девушек.

— Выпишите ему повестку на пятое число, — приказал майор и ушёл.

До пятого числа оставалось три дня. Я оформил своё отбытие на базе, вместе с сестрой и родителями переклеил в комнате обои, подготовив нашу тесную квартирку к проводам. В предпоследний вечер в родном городишке я решил прогуляться. Было уже темно и пустынно. Накрапывал мелкий дождь. Я пошёл вдоль улицы, потом повернул за дворы, к водокачке, где вечерами частенько собирались наши пацаны. Там был Трюкач и ещё несколько парней. Они пили дешёвый советский «Портвейн». Я похвалился, что получил повестку и уже послезавтра у меня отправка.

— Повезло, — засмеялся Сашка из соседнего дома, — повестку позже всех получил, а отбываешь раньше всех.

Кто-то тут же предложил выпить по этому поводу. Выпили по полстакана. Возле башни на камнях сидел жуликоватого вида мужчина неопределённого возраста в пиджаке и в надетой набекрень помятой шляпе

— Музыку! — крикнул ему Трюкач.

Мужчина подхватился, в руках у него неожиданно появилась старая потёртая скрипка, и он, страшно фальшивя, стал наигрывать что-то на манер канкана. Небольшой, тощий, с заострённым лицом и бегающими глазками, он довольно шустро стал приплясывать под собственный аккомпанемент. Его танец, как и музыка, выглядел каким-то пошлым кривлянием. К тому же он периодически кукарекал и ржал по лошадиному.

— Молодец! — похвалил его Трюкач и налил горе-артисту вина.

Мужчина перестал танцевать, слегка поклонился, сказал: «Благодарствую»; взял протянутый ему гранёный стакан, ещё

раз громко заржал и залпом выпил. Ребят этот цирк явно забавлял, а мне стало как-то не по себе, и настроение сделалось ещё более мрачным.

– А пойдёмте к Таньке, – предложил кто-то из ребят, и остальные его поддержали.

Таньку я немного знал с детства. Она жила на соседней улице, была круглой двоечницей и вообще никогда мне не нравилась. Но я пошёл со всеми. Мужчина в шляпе, издеваясь над скрипкой и присвистывая, долго пританцовывал вслед за нами, а потом куда-то исчез, словно в одно мгновение растворился в темноте.

Танька встретила нас с растрёпанными волосами и в цветастом халате, застёгнутом на единственную уцелевшую пуговицу, из-под которого всё время выбивалась комбинашка.

– Пить на прощание будете? – спросила она, принеся графин с самогоном.

Самогоны я терпеть не мог, но за компанию взял пару глотков. Потом пришла Танькина мать, недалёкая скандальная женщина, обозвала нас алкоголиками и велела убираться.

Досталось и Таньке несколько нелицеприятных эпитетов.

– Зря вы так, – сказал Сашка. – Мы, между прочим, товарища в Советскую Армию провожаем.

– Вот и идите в Советскую Армию и ещё куда-нибудь подалее! – крикнула вслед нам женщина.

И мы ушли в ночной сумрак и в густо морозящий дождь.

В пути

Проводы мои не были долгими. На них пришли ребята и девушки с нашей улицы. Принесли катушечный магнитофон. В записи звучали популярные в то время песни, но в памяти, почему-то осталась лишь тягучая навязчивая вариация на тему «Купите бублички».

Ехали в часть мы из областного военкомата как раз накануне и в день Великой Октябрьской социалистической революции. Поезд шёл через мой родной город, под с детства знакомым мне мостом, где мы любили пробегать через дым, поднимающийся сквозь щели в дощатом покрытии, когда внизу взад-вперёд ездили маневровые паровозы. Я постарался запомнить этот момент прощания с юностью.

В райвоенкомате перед отправкой познакомился с весёлым и общительным парнем в широкополой шляпе, благодаря которой он напоминал мне персонаж из фильма «Верная рука – друг индейцев». С этим парнем мы быстро подружились. Его звали Серёжа Шилин. Вместе с ним в поезде мы зашли пообедать в вагон-ресторан. Там к нам подсел представительного вида парень лет двадцати пяти и, узнав, что мы едем в армию, стал хвалиться, как ему удалось сделать себе фальшивую медицинскую справку, чтобы увильнуть от службы, и нам это не понравилось. Мы смотрели на него, как на последнего человека. «Пойдём отсюда», – сказал мне Серёжа, переставляя свои тарелки с едой на другой столик. Я последовал его примеру. Парень остался сидеть один с растерянной кривой улыбкой.

Сопровождавший нас майор сквозь пальцы смотрел на то, что ребята всё время пили, некоторые для этого продали свои часы и часть одежды. Один парень ходил по вагонам только в брюках и в пальто нараспашку, надетое на голое тело. Майор, видимо, решил себя не напрягать запретами на спиртное, тем более, что все отмечали большой советский праздник. А на вопрос, строго ли в армии наказывают за пьянство, ответил: «В армии наказывают не за то, что пьёшь, а за то, что попадаешься».

За окнами проплывали осенние украинские пейзажи. У вокзалов на клумбах местами ещё не отцвели розы, но ночами было уже прохладно. На самом севере Украины в городе Купинске у нас была первая пересадка, но оказалось, что выйти из вагона своим ходом могут уже далеко не все. В итоге те, кто ещё стоял на ногах, дружно шарахаясь от стенки к стенке вагона, тащили на выход уже отключившихся, которых складывали в ряд на газоне. Кто-то спросил майора, складывать по ранжиру или как попало, тот только с досадой махнул рукой.

Тут подошёл к нам военный патруль – лейтенант с двумя солдатами. Лейтенант был красивый, с голубыми погонами и таким же голубым околышем фуражки, в белом шарфе, небрежно выдернутым из-под шинели напоказ. Видно было, что он себе очень нравится. Он красовался перед нами, легко покачиваясь на носочках, острил и всячески демонстрировал, какой он «гусар». Тут призывник, продавший половину своей одежды, вдруг подпрыгнул, обнажая тело, распахнул пальто, словно тельняшку на себе разорвал; и с криком: «Ух ты!...» топнул ногой о землю. Офицер шарахнулся в сторону, едва не потеряв фу-

ражку, правда, тут же принял невозмутимый вид. Но все успели увидеть, что лейтенант страшно испугался, и разразились дружным смехом.

Перед посадкой на другой поезд многие из лежачих пришли в себя, но некоторых всё же пришлось заносить на руках. Потом ехали по центральной России, где уже вовсю разгорелась золотая осень. Правда, дни стояли пасмурные и небо было свинцово-серым. Вскоре достигли Урала. Для меня всё за окном было в новинку: ведь раньше я ни разу не выезжал за пределы Донбасса.

В Свердловске было уже по-зимнему холодно. Запомнился железнодорожный вокзал, где тоже царил «дубарь». Там мы ожидали очередной пересадки, кто-то под гитару исполнял грустную песню, гулко отдававшуюся под сводами здания. Какие-то солдаты в шинелях обменивали у призывников перчатки на солдатские рукавицы, убеждая ребят, что в части всё равно всё отнимут. Из Екатеринбурга наш путь лежал к станции Елань, куда мы и прибыли, если мне не изменяет память, утром следующего дня.

Начало

От станции до учебного подразделения, носившего полуофициальное название «Еланские лагеря», километров восемь шли строем. Вокруг всё заснежено. Мороз – двадцать градусов, что для нас, ребят из Донбасса, непривычно. Мы в болоньевых курточках, драповых демисезонных пальтишках и фуражках – холодно. Состояние такое, будто нырнули в холодную воду и теперь уже никуда не денешься – надо барахтаться. И всё же было интересно, одолевало предчувствие чего-то нового, ещё неведомого. Я оглядывался по сторонам – вот она, уральская земля, по сути, уже Сибирь, территория бывшего Сибирского ханства. Мне живо представилось, как из соснового массива, взрывая снег, выскакивает татарская конница и с устрашающими криками несётся по обширной белой равнине.

Вскоре мы оказались в одноэтажном строении, похожем на барак. Это была баня, в которую нам предстояло ходить раз в неделю в течение полугода. Там сбрасывали старую одежду, получали форменную. Там же нас всех и подстригли. Искушавшись и одевшись в непривычную, с тугими петлями для пуговиц одежду, все стали одинаковыми и с первого взгляда неузнаваемыми.

«Это я, Коля, ну, который в кепочке! – возбуждённо и радостно кричало из-под солдатской шапки без кокарды возникшее передо мной узкое бледное, мало похожее на Колино лицо. И Серёжа Шилин без своей шляпы уже не смахивал на ковбоя из фильма «Верная рука – друг индейцев». «Ты похож на школьника, нарядившегося для конкурса инсценированной песни», – мрачно сказал мне на ухо длинный и тощий Апанасенко, на котором широкая шинель висела, как на вешалке. Вокруг стояли шум, гвалт и царили суэта и полная неразбериха.

Гражданскую одежду разрешили отправить домой из почтового отделения, для чего назначили сопровождающего сержанта. Но многие её тут же бросали. Я специально надел в дорогу всё старое, и мне казалось, что после армии в новой жизни я эти атрибуты юности уже не надену. Поэтому свою одежду я оставил в бане, где старослужащие уже выбирали, что можно взять себе. Правда, мама потом сказала, что вещи всё же надо было отправить домой.

Нас привели в новенькую казарму, ещё не обжитую, насквозь промёрзшую. Тонкие шерстяные одеяла грели не очень, и мы укрывались сверху шинелями, хотя уснуть всё равно было трудно. А среди ночи оказалось, что в подвале прорвало трубы. Нас подняли и, выдав тазы, приказали черпать ими воду и выносить её на улицу. Некоторые мои земляки пришли в мрачное состояние духа. У меня же было какое-то ощущение временности и полуреальности происходящего, такое чувство, что скоро всё пройдёт, надо лишь немного потерпеть.

Вечером второго дня к нам в казарму пришёл штабной подполковник, кажется, это был какой-то политработник.

– Здорово, хохлы поганые! – громко приветствовал он нас, стоя перед строем.

И хотя многие из нас не были украинцами, всё равно все почувствовали себя довольно неловко, некоторые, кажется, ушам своим не поверили. Поэтому на приветствие никто не ответил, и в расположении воцарилась тягучая тишина.

– Да вы не обижайтесь, – добрым тоном заговорил подполковник. – Я ведь и сам хохол, и фамилия у меня самая что ни на есть хохляцкая – Ященко! Иногда нас называют так, хохлы поганые, но ведь мы, хохлы, службистый народ. Недаром говорят: «Хохол без лычки, как...», и он выдал известную в то время неприличную пословицу.

Потом подполковник убеждал нас, что мы должны служить старательно, как никто другой, а ещё – мыть руки после туалета:

– За конец подержался – вымой руки! – по-отечески напутствовал он.

Деды

Практически у всех, кто по дороге часы не продал и не пропил, их забрали старослужащие тыловых подразделений – у кого, сразу, ещё в бане, у кого позже, в столовой или на улице. Сначала настоятельно рекомендовали отдать подобиру-поздорову. Я упёрся: «Нет!».

– Да всё равно у тебя их здесь отнимут, – настаивали деды. Но я не сдавался.

– Ладно, посмотрим, сколько дней ты в них проходишь, – сказали мне. – Увидишь, только хуже будет.

Но они ошиблись. Действительно, старослужащие из ремроты или из стройбата (в курсантских ротах, кроме сержантов, дедов не было) пару раз в столовой пытались-таки заставить меня часы отдать и даже уговаривали обменять, что, скорее всего, было надувательством. Но я их надёжно прятал или передавал под столом землякам из нашей роты, и заполучить их никто не мог. Однажды, когда меня настоятельно попросили пройти в подсобные помещения столовой, я уже подумал, что мне здорово достанется. Но разговаривал со стариками спокойно, вежливо и почему-то постоянно улыбаясь (это получалось у меня непроизвольно), что вводило дедов в некоторое замешательство. Возможно, после наших уличных хулиганов старослужащие казались мне какими-то нестрашными. Они всё время озадаченно переглядывались, словно никак не могли решить: «Бить или не бить», и в итоге так и отпустили меня небитым.

А потом взводный лейтенант, заметив нездоровый интерес старослужащих к моим часам, предложил отдать их ему на хранение. «Всё равно в конце концов отберут», – сказал он.

Благодаря лейтенанту часы благополучно дожили до начала моей службы в ГДР, и уже там их у меня украли.

А с местными дедами у меня за время учебки было ещё два инцидента. Один опять-таки в столовой. В этот день я был

дежурным по столу – разливал щи по мискам, а после команды сержанта «Встать! Выходи строиться!» должен был сложить миски и ложки в котёл и отнести их к специальному окошку. Как только я это сделал и направился к выходу мимо одного из столов, где сидели старики из обслуживающих подразделений, один из них поймал меня за рукав.

– Так, – сказал он, – быстро отнеси это, – и указал на котёл с их посудой.

– Не отнесу, – отрезал я и пошёл, было, дальше. Но дед, выскочив из-за стола, крепко схватил меня за рукав, при этом больно ущипнув за руку: «Ты что, не понял?!».

Я резко обернулся, отдёргнул руку и изо всей силы толкнул его в грудь обеими руками. Толкать человека, который массивнее тебя, надо непременно двумя руками и всем телом, делая при этом шаг вперёд и крепко упираясь в землю опорной ногой. Причём толчок должен начинаться с опорной ноги и проходить через всё тело. До этого я дошёл самостоятельно ещё в начальных классах и лишь много лет спустя узнал что такое правило или похожее есть в восточных боевых искусствах.

Дед отлетел, ударившись о стол. Несколько секунд он стоял, окаменев и вытаращив глаза, словно не веря происходящему. Потом, судя по интонации, громко выругался на незнакомом мне языке, быстро снял ремень и лихо намотал его на кисть правой руки. Как одним движением наматывать ремень на кисть руки, у нас знала вся улица. Иногда от безделья наши пацаны тренировались делать это целыми часами. Поэтому тут дед меня не поразил и не удивил. Но ситуация в целом была неприятной. Некоторые старики уже поднялись из-за стола. Я прикинул: если я сейчас сниму и намотаю на руку ремень, то наверняка встанут и остальные. Несколько остановившихся у двери курсантов в драку со стариками, скорее всего, не полезут. И вышедший, было, из столовой, но начавший возвращаться наш молодой сержант тоже вряд ли сможет мне помочь.

– Да ладно, чего ты... – сказал я примирительным тоном и попытался улыбнуться.

Но дед с ремнём, сузив глаза и сделав свирепое лицо, стал неотвратимо надвигаться на меня. Остальные старики с любопытством глядели на него, и я понял, что под их пристальными взглядами он не отступит. Тут подошёл сержант. Ссориться со старослужащими ему явно не хотелось. Но он поступил мудро:

– Курсант! – рявкнул он командным голосом, вырабатывать который нас приучали с первых дней учебки. – А ну-ка марш в строй! Бегом!

– Есть! – сказал я и побежал к выходу.

Ещё один случай был ранней весной. Обычно курсанты по территории учебки ходят строем. А тут послали меня с до-несением, куда и с каким уже не помню. Помню только, что это было уже весной, чудесным солнечным днём. После холодной зимы морозец в несколько градусов казался даром небесным. Пахло весной. Воздух был гулким, и на всю округу разносилась неизвестно где звучащая песня о трелях соловья. Занятия в учебном подразделении подходили к концу, и, может быть, ещё от этого было радостно на душе. К тому же пройтись самому, без строя, чувствуя себя свободным человеком, было приятно. И вдруг навстречу мне – ребята из стройбата. Их легко можно было узнать по телогрейкам, неряшливому внешнему виду и вальяжным походочкам. Идёт навстречу такая разухабистая четвёрка крепеньких парней. Я смещаюсь вправо, чтобы обойти их, – и они вправо, я влево – и они влево. Остановились. Взяли меня в полукольцо. Говорят: «Привет, курсант». Отвечаю: «Привет строителям!». Они рассмеялись. Потом самый важный из них снимает одной рукой шапку с меня, другой – с себя и говорит: «Меняться будем?». Мою новенькую шапку держит в руке, а свою, старую, мятую, надевает на меня. Я улучил момент, выхватил из его руки свою шапку и, резко развернувшись, помчался, что было сил. Они – за мной. «Стой, – кричат, – Отдай шапку! Отдай!». Я бегу через стройплощадку, перепрыгивая канавы какие-то – благо бегать по полосе препятствий нас хорошо научили. Думаю: «Чёрта с два вы догоните будущего сержанта!». Чувствую, они спеклись. «Мою шапку отдай! Мою!», – уже откуда-то издали кричит тот, что хотел меняться. Тут только я сообразил, что в руке у меня моя шапка, а на голове – его. Сорвал я её с головы, перебросил через себя и уже лёгкой трусцой побежал дальше

Петров

На второй день после прибытия в часть, сидя на табуретках возле кроватей, мы пришивали петлицы и погоны, что оказалось занятием совсем непростым, а также подшивали подворот-

нички. На нас приходили смотреть сержанты. И я познакомился с будущим командиром нашего отделения Колей Петровым. Он был маленького роста, но очень уверенным в себе, весёлым, располагавшим к общению. Форма на нём сидела аккуратно, весь он был подтянутый, как солдат с плаката на полковом плацу. В армию Коля попал после техникума и был немного старше меня. Потом оказалось, что он слыл самым авторитетным среди сержантов и был любимцем офицеров. Говорили, что и курсантом он считался лучшим во всём: лучше всех стрелял, быстрее всех одевал ОЗК, быстрее всех заскакивал в БМП. Почему-то мы с ним разговорились. Я не знал, что он будет моим командиром и что в учебке между сержантом и курсантом «дистанция огромного размера», а потому общался с ним, как с равным. Он поддерживал такое общение, но при этом всё время хитровато улыбался.

Потом он будет хорошо ко мне относиться, но и требовать, как говорится, по полной программе. Иногда, разозлившись на него из-за этого, я начинал делать какие-то замечания, если он что-нибудь неправильно говорил, или отпускать остроты по возникавшим во время обучения казусным ситуациям. Он, бывало, только глазами сверкнёт и сквозь зубы бросит: «Чёртов знахарь!». Коля был уверен, что знахарь – это тот, кто слишком много знает.

Не досталось мне даже в случае, вопиющем, по меркам учебного подразделения. Один сержант нашей роты, Сидоркин, всё время старавшийся показать свою крутость, периодически позволял себе пинать ногой под зад курсантов. Однажды на занятиях попытался пнуть и меня. Но я увернулся и поймал его за ногу. Это у меня получилось машинально. А потом я стоял, держа в руках его ногу, и не знал, что с ней дальше делать: отпустить – он, судя по свирепому виду, меня тут же ударит, потянуть её вверх, опрокинув его на землю, – это уже нападение на сержанта, которое мне дорого обойдётся. И я стоял в полном замешательстве, держа в руках обутую в сапог ногу. Вся рота, замерев, смотрела, чем это кончится. «А ну, пусти! Пусти! – крикнул он, балансируя руками, чтобы не упасть. Но я словно окаменел. «Коля! Коля!» – позвал на помощь Сидоркин. На крик явился Петров.

– Борзеешь? – спросил он меня.

Я отпустил ногу сержанта.

– Коля, ты видел!? – заорал тот и ринулся ко мне.

Петров остановил его движением руки:

– Ладно, иди, разберёмся.

– Значит, борзеешь, – заключил он, когда Сидоркин ушёл, и на его лице появилась хитроватая и, как мне показалось, довольная улыбочка. Я молчал.

– Ну-ну, – сказал Петров, продолжая улыбаться. – Смотри, допрыгаешься!

Дня три я ждал, что мне что-то будет за мою «борзоту», но так ничего и не дождался. Потом кто-то из земляков сказал мне, что Сидоркина не только курсанты не любят, но и сержанты терпеть не могут. Сам же Сидоркин мне однажды всё-таки отомстил: когда я простыл, ужасно себя чувствовал и вяло работал на уборке снега, которой этот сержант руководил, он довольно сильно ударил меня ребром лопаты по спине – хорошо, что не повредил позвоночник.

С Петровым у меня лишь раз был серьёзный конфликт. На занятиях в боксах мы проверяли механизм натяжения гусениц. Делается это с помощью двух гаек, соединённых длинной ниткой. Тот, кто проверял натяжение передо мной, неаккуратно смял этот нехитрый механизм, и нить сильно запуталась. Я попытался её быстро распутать (поскольку выполнять задание надо на время), но она запуталась ещё сильнее.

– Быстрее! – нервно сказал Петров.

Я засуетился, но нить не распутывалась.

– Ещё быстрее! – начинал злиться Николай.

Однако развязать узлы озябшими пальцами было практически невозможно.

– Да что с тобой?! – возмутился сержант.

И тогда я стал всё делать спокойно и нарочито медленно.

– Ты издеваешься?! – крикнул Петров и, шагнув ко мне, ткнул меня кулаком в грудь.

Я отшатнулся, уткнувшись спиной в фальшборт БМП. Потом оторвал нить от гаек, отбросил её в сторону, взял другую нитку из шапки (где её носили все курсанты), как можно быстрее привязал её к гайкам и наконец проверил механизм натяжения гусениц. Всё это время Петров смотрел на меня застывшим, пронизывающим взглядом.

– А сразу ты это мог сделать? – уже спокойным тоном спросил он.

- Так точно! – ответил я.
- А-а, ты просто хотел в лоб получить?
- Так точно! – повторил я.
- Ну, если опять захочешь, скажешь.

На этом инцидент был исчерпан. В казарме сразу после отбоя я подошёл к Петрову:

– Вот этот механизм проверки натяжения гусениц, гаечки, там, ниточки....

– Ну? – насторожился Петров.

– Что, в Советской Армии ничего умнее этого никто придумать не может?

– Чёртов знахарь! – сорвался Коля. – Вот ты возьми и придумай!

– Ну, можно хотя бы шнурочек вместо ниточки...

– Всё, – сказал Петров. – Отбой!..

Командирский батальон

В командирский батальон, как и вся учебка готовивший кадры для Группы Советских войск в Германии, я напросился добровольно, так же, как и Серёжа Шилин. Мы с ним решили, что уж если нам довелось проводить полгода в Еланских лагерях, то надо использовать их по максимуму, чтобы чему-то научиться и главное проверить себя на выносливость, а также закалиться физически и психологически. «Вешайтесь, салаги!» – злорадно кричали старики, узнавая, что мы попали в командирский батальон. Многие боялись его как огня и просились в подразделения, готовившие операторов-наводчиков или механиков-водителей: там жилось спокойней. Мы с Серёжей попали в разные роты, а я ещё угодил в роту, считавшуюся в батальоне показательной. Гонка с обучением была такая, что Серёжу я почти не видел. Лишь раз в столовой увидел его каким-то чумазым, уставшим и отрешённым от всего. Их рота только что вернулась с учений, проходивших где-то под Чебаркулем, и жадно поглощала обед. Я подошёл к нему. Он поздоровался так, словно ему было ни до чего, в том числе и не до меня.

– Чуть не погибли, – скороговоркой произнёс он, на мгновение оторвавшись от еды. – Мы в десантном отделении сидели. Сзади в нас въехало другое БМП – прямо в баки! Что-то загорелось, дым пошёл, стали выскакивать – страшно!

И он снова сосредоточился на еде.

– Ладно, – сказал я. – Ещё увидимся.

Но мы больше не увиделись. Вообще служба в командирском батальоне была не из лёгких. Нам сказали, что за полгода нас предстоит обучить тому, чему в принципе за это время обучить невозможно. «Поначалу будет казаться, что попали в сумасшедший дом», – предупредил нас в первый день сержант-татарин, не отправленный вовремя в Германию из-за болезни. Так оно и вышло. Утром с криком дневального: «Рота, подъём!» все вскакивают. С непривычки те, что спрыгивали со второго яруса кроватей, частенько сваливались сверху на вскочивших с нижних коек. Потом все приспособились к этой ситуации. В тех, кто не мог быстро одеться, сержанты бросали сапогами тех, кто не спел обуться. А в тех, кто с опозданием бежал на построение, порой летели табуретки. Поэтому из расположения взвода выбегали, не успев проснуться. А потом начиналась бесконечная гонка: бегом на зарядку, бегом в столовую, быстро получить валенки, оружие, и – на полигон. А там снова бегом и бегом. Стрельбы из автоматов сменялись стрельбами из вооружения БМП, а те в свою очередь – тактикой боя в пешем порядке с ползанием по снегу и штурмом высокого обледенелого утёса. Лезешь, лезешь на этот утёс. Потом кто-нибудь сверху соскользнёт и собьёт тебя, а вместе с тобой и ещё троих-четверых. Катится вниз целый клубок, и только лязг оружия да маты слышны. Потом снова – на утёс. Но часто всё же ребята протягивали друг другу руку или приклад автомата – помогали, рискуя сорваться вниз.

Трёхпалые солдатские рукавицы более-менее хороши, если они точно по размеру, а если чуть велики, стрелять в них неудобно. Поэтому постоянно снимаешь их и порой обмораживаешь пальцы. Кто плохо отстрелял, бежал по полигону, держа в руках цинк с патронами. А он тяжёлый, хотя и небольшой с виду.

Валенки нам выдавали тоже ускоренно: какие каптёр или старшина тебе выбросил из каптёрки, такие и бери и не смей возражать. Если была возможность примерить их и с кем-то обменяться, то хорошо, а часто и это не удавалось. Однажды мне достались какие-то великанские валенки – выше колен. Каково бегать по глубокому снегу с негнушимися ногами? В тот день я упал раз пятьдесят.

Самыми утомительными были марш-броски. Бежишь иной раз с оружием при полном обмундировании и думаешь: «Вот

ещё до той берёзы добегу и всё – свалюсь». Но у берёзы вдруг оказывается, что немножко сил ещё есть. Тогда думаешь: «Вот до того столба дотяну – и точно всё...». Но и там оказывается, что не все силы ещё исчерпаны. А потом я подумал, что сержант, который гонит нас и бежит вместе с нами, – тоже человек, и он тоже в конце концов, устанет. Надо лишь немного перетерпеть. И действительно, когда начинает казаться, что нет уже ни сил, ни дыхания, сержант даёт команду перейти на шаг.

Того, кто падал, должно было нести его отделение, и оно, конечно, не было от этого в восторге. Поэтому упасть на марш-броске означало существенно подпортить себе репутацию и отношения с сослуживцами. Помню, когда мы ехали в поезде на Урал, один здоровый парень из Донецка всё время хвастался, как он королём ходил по танцплощадке и как все его там боялись. Тем он снискал себе уважение у попутчиков и будущих сослуживцев, многие старались с ним подружиться. В учебке же оказалось, что он не выдерживает марш-бросков, а нести его очень нелегко, поскольку он был самым крупным и тяжёлым в своём отделении. И курсанты, которым выпадала эта тяжёлая ноша, дотаскивая его до привала, швыряли на землю, словно мешок, могли ещё и пнуть разок-другой и вообще плохо к нему относились. Сержанты постоянно ставили его в наряды, зачастую не давая передохнуть. К концу обучения этот парень окончательно сломался и стал похож на зомби.

Вождению нас обучали сверхскоростным методом. Показали: вот это переключение скоростей, это газ, это тормоз, это воздушный запуск двигателя, это электропуск, это руль. (у БМП он похож на штурвал самолёта). Всё. Кто первый? Поехали! А далее техника обучения была ещё проще: водитель (то бишь курсант) сидел с открытым люком. Позади него из командирского люка высовывался штатный водитель-инструктор и бил ведущего машину кулаком по надетому на голову шлемофону каждый раз, когда тот делал что-то неверно. Порой издали это выглядело так, будто инструктор играет на барабане. Мне повезло, что в школе в девятом-десятом классах мы изучали автодело, какой-то минимальный навык вождения автомобиля у меня имелся. Я заставил себя представить, что это просто машина с необычным рулём, и поехал. К моему удивлению, я не получил ни одного удара по голове. Впрочем, по словам ребят, один раз инструктор всё же за-

махнулся, на мгновение застыл неподвижно, а потом медленно опустил руку.

Не повезло парню из Башкирии, который свалился в заснеженный овраг и повредил себе позвонки. Он вернулся из госпиталя с негнущейся спиной, несколько дней живым укором всей нашей системе обучения прожил в казарме и был комиссован. Прощаясь с ротой, он заплакал и сказал:

– Ребята, как бы я хотел остаться с вами, а потом поехать в Германию!

Я не помню, чтобы мы в учебке ездили по колежному мосту. Вообще обучение командиров в этом плане было минимальным, почти символическим. Поэтому уже в Германии на одном из первых вождений я на глазах у всей роты едва не свалился с колежного моста, из-за чего почувствовал себя очень неловко и был крайне расстроен. «Вылезай!», – крикнул мне в люк взбравшийся на броню взводный лейтенант после того, как моя машина застыла на подъёме под острым углом к колее. Я спрыгнул с БМП и ушёл в лес, где какое-то время в расстройстве сидел у ручья и смотрел на воду.

– Успокоился? – спросил лейтенант, когда я вернулся.

Всё ещё пребывая в подавленном состоянии, я молча кивнул.

– В учебке по мосту не ездили? – спросил взводный.

Я отрицательно покачал головой.

– Ничего, потренируемся, – сказал он.

Так что навыки вождения БМП, особенно ночного, нам пришлось приобретать уже в Германии.

Каждый из нас прошёл обкатку танком. Это когда тебя сажают в небольшой окоп, где может поместиться лишь один человек, дают автомат с холостыми патронами, две учебные гранаты и пускают на тебя танк. Пока он далеко, надо стрелять из автомата, а потом бросить гранату в наезжающую на тебя громадину и присесть в окопе. Танк проезжал над окопом, насыпая сидящему в нём снег за шиворот. После этого надо было высунуться наружу и бросить вторую гранату вслед железному монстру. При этом следует учитывать, что танк уходит и, чтобы попасть позади башни, где находится бензобак, бросать надо так, словно хочешь, чтобы граната упала перед башней. Я воспринимал это как игру в войну, подобную той, в которую мы играли в детстве во дворе. И у меня была уверенность, что на

этих занятиях всё продумано, а потому ни с кем ничего случиться не может. Правда, один курсант, пропуская танк над собой, оставил вторую гранату на краю окопа, а в последний момент попытался извлечь её из-под гусениц, едва не лишившись руки. Были случаи, когда особо впечатлительные ребята при приближении танка выскакивали из окопа и пускались наутёк. Но это уже было смешно.

Практические занятия на открытом воздухе чередовались с теоретическими в небольших классах, построенных прямо на полигоне. Там стояли электрические обогреватели, согревавшие минимально. Но всё же в классах было теплее, чем на улице, и едва мы оказывались в них, как нас начинало неудержимо клонить в сон. Каждый уснувший тут же получал наряд или цинк в руки, с которым надо было пробежать сколько-нибудь кругов вокруг здания класса. По каждому предмету у нас было по конспекту, куда записывалось всё, чему нас учили. Эти конспекты курсанты иногда друг у друга воровали. Изучали стрелковое оружие, вооружение и оснащение БМП, тактико-технические характеристики вооружений вероятного противника, тактику боя в пешем и танковом бою, сапёрное дело, противохимическую защиту и т.п.

Настоящим аттракционом в учебке было надевание общевойскового защитного комплекта на морозе. В перчатках это сделать невозможно, поскольку в ОЗК множество разнообразных застёжек и завязок. Говорили, что его конструкция не изменилась со времён Первой мировой войны. Без перчаток пальцы замерзали и становились резиновыми. К тому же в первую очередь надеваются противогазы, стёкла которых начинают быстро запотевать. В итоге и не видишь ничего, и не осязаешь. Поэтому ОЗК мы чаще тренировались надевать в казарме. Там нам удавалось достигнуть заветных пяти минут, что было на «отлично», и даже превзойти это время. После отбоя нам просто не разрешали ложиться спать, пока мы не выполним норматив. Ещё было забавно облачаться в десантном отделении БМП, где из-за тесноты курсанты иногда умудрялись пристегнуться друг к другу, превращаясь в некое подобие сиамских близнецов. А вообще масса людей в защитном комплекте выглядит жутковато – Армагеддон какой-то. И тут уже не скажешь: «Это я, Коля в кепочке», потому что в ОЗК за Колю в кепочке может сойти кто угодно.

Снегопад

Ещё надо было сделать, кажется, четыреста пусков противотанкового управляемого реактивного снаряда на специальном тренажёре. Настоящий ПТУРС, как нам объясняли, стоил столько же, сколько автомобиль «Жигули», а потому пускать их сотнями для тренировки было бы слишком большим расходом. Тренажёр представлял собой некое подобие тех электронных игр, которые вскоре появятся в холлах кинотеатров и некоторых других культурных учреждений. Ты смотришь в прицел и видишь очерченный светящейся линией овал, движущийся по тёмному полю. Его надо поймать в прицел и, стараясь не потерять, нажать кнопку пуска. Тут же снизу начинает быстро двигаться светящаяся точка, которую надо навести на овал и удерживать на нём в течение времени условного подлёта ПТУРСа к цели.

Программа обучения была настолько насыщенной, что пускать ПТУРСы при наличии всего двух тренажёров мы не успевали и делали это по ночам. С отбоя из казармы на полигон отправлялась группа из нескольких человек. Первый «отстрелявший» возвращаясь в казарму, будил следующего, тот быстро одевался и шёл на «пуски». То же самое делал очередной возвратившийся и т.д. Так и ходили всю ночь один за другим. Однажды, когда очередь дошла до меня, на улице повалил густой крупный снег. В ночи сквозь него ничего не было видно уже за двадцать метров. Выйдя из казармы, я благополучно прошёл расположение батальона, поскольку у казарм и прочих построек части горели фонари. Но, спустившись в долину с высокого крутого обрыва, я оказался в непроглядной пелене и, вспомнив расположение бокса с тренажёрами, пошёл почти наугад. Вскоре сквозь мрак ночи и снежное марево я увидел огни и понял, что угадал направление.

Четыреста пусков, конечно, никто не делал – это было бы слишком долго. Инструкторы на тренажёрах просто занимались приписками. Реально каждый делал двадцать-тридцать условных пусков, а ему записывали сколько надо. Когда я пошёл обратно, снег, кажется, повалил ещё гуще. Вдруг я понял, что иду слишком долго. Остановился и с ужасом понял, что заблудился. Больше всего меня испугала мысль, что меня могут

принять за дезертира. Некоторые курсанты пытались бежать из учебки через эту заснеженную долину. Однажды по ней побежало человек двадцать новобранцев соседней с нами роты. Правда, их быстро перехватили. Но мой земляк из соседнего города умудрился бежать дважды. Первый раз его поймали на станции, а второй раз – уже в его родном доме. Вот и меня, заблудившегося, могли принять за беглеца.

На моё счастье, я услышал нарастающий гул, и снежная пелена впереди осветилась танковыми фарами. Я закричал, выскочил перед танком, сорвал с головы шапку и стал ею сильно размахивать над головой. Хорошо, что водитель меня заметил и не задавил.

– Где казармы?! – спросил я высунувшегося из люка танкиста.

– Там! – указал он рукой, и танк, уходя, провалился в снежное марево, словно и не было его. Куда он ехал в гордом одиночестве среди ночи в такой снегопад, не знаю. Но если бы я был верующим человеком, то сказал бы, что мне его Бог послал.

Оказалось, сначала я шёл почти в противоположном направлении. Стараясь держать указанный танкистом курс, я вскоре различил вдали проблески огней.

Наряды

Занятия разбавлялись нарядами по роте, в караул и на кухню. Первый был самым тяжёлым. Следовало хорошо подготовиться к разводу, чтобы не было замечаний по внешнему виду. Потом надо было постоянно мыть пол в расположении роты, лестницу, ведущую на нижний этаж, туалет и умывальник, стоять «на тумбочке» (в действительности возле неё), отдавать команду «Смирно!», если в расположение роты входил офицер, отдавать честь старшим по званию, следить за порядком, командовать отбой и подъём и т.д.

Ночью приходилось спать в лучшем случае два часа. А, бывало, что и вовсе не приляжешь. Заступавшие дежурными по роте сержанты гоняли дневальных, добиваясь идеального порядка в казарме, чтобы самим не получать взыскания от офицеров.

В карауле было легче. Наденешь длинный тёплый тулуп до самой земли, опустишь клапаны шапки, поднимешь большой воротник, с трёх сторон полностью закрывающий голову, – и

словно в скафандре. Толстые меховые рукавицы для постовых не позволяли производить с автоматом какие-то действия: в них ни затвор не передёрнуть, ни спусковой крючок нащупать. Можно лишь неуклюже и нежно обнять автомат, как самую дорогую и любимую вещь, и мелкими шажочками неспешно перемещаться по территории поста среди заснеженных сосен, слушая, как монотонно хрустит снег под ногами. «Часовой – это кусок мяса, завёрнутый в тулуп и выброшенный на мороз», – гласила одна из армейских премудростей. А мне нравились царящие на посту тишина и покой, навевающие глубокие размышления, поэтические образы и приятные фантазии.

Бодрствующая смена в караулке изучала уставы, а отдыхающая спала. Именно в отдыхающей смене я оказался в момент наступления нового года. Правда, уснуть у меня как-то не получалось. И я слышал, как в караулку пришёл дежурный по части, поздравил бодрствующих с новым годом, поблагодарил их за службу и пожелал всем стать настоящими сержантами и командирами, которые будут достойно представлять Советскую Армию за рубежом и успешно противостоять силам НАТО у самых границ социалистического лагеря.

Наряд по столовой был, с одной стороны, тяжёлым, с другой, давал единственную возможность вечно голодным курсантам наесться вдоволь. Помню, когда мы приехали в Елань и впервые пришли на обед, многие просто отказывались есть. На первое были жиденькие щи с редко плавающими в них ошмётками капусты. Если попадался кусок картошки, то уже, считай, повезло. Ну, а если ещё и кусочек мяса в ложку попал, то это вообще было здорово. Поэтому нацарапанная на некоторых алюминиевых ложках надпись «Ищи, сука, мясо!» никого не удивляла. На второе была размазанная по мелкой тарелке жиденькая каша или картофельное пюре, скорее похожее на клейстер. К нему прилагался безвкусный и не очень аппетитно пахнущий кусок рыбы. Когда мы в наряде по столовой вскрывали ящики с мороженной рыбой, то обнаружили на них штампы с датой – 1956 год. Как нам потом объяснили, в государстве шла замена продуктов в северных запасниках, созданных на случай войны.

Так вот, в первый день многие пытались отказаться от еды, тем более что большинство ребят из Донбасса никаких щей вообще никогда в жизни не видели. Тогда нам сказали, что отказ

от армейской пищи – это бунт, антисоветское выступление и всех, кто не станет есть, ждут большие неприятности, возможно, даже трибунал. Впрочем, голод – не тётка, и уже через два-три дня все ели добровольно и с жадностью.

Тяжёлым наряд по кухне был оттого, что наша огромная столовая кормила в три смены. Три завтрака, три обеда, три ужина. И каждый раз надо было успевать вымывать всю посуду и весь зал и накрывать на столы. Зато, получая продукты на складе, мы обнаружили, что там есть такие вкусности как, например, фруктовые компоты в стеклянных банках или сгущёнка. Словом, можно было не только вдоволь наесться, но ещё и полакомиться.

Самым «блатным» местом на кухне была хлеборезка. Работа там не тяжёлая, не пыльная, не мокрая и не жаркая. Режешь хлеб и через специальное окно выдаёшь его на подносе тем, кто раскладывает его по тарелкам. К тому же в столовой есть штатный повар-хлеборез, на пару с которым и работаешь. При этом лишний раз дверь хлеборезки открывать не рекомендовалось, поскольку хлеб могли украсть или отнять. Мне однажды повезло в наряде попасть туда. Завершив работу, хлеборез велел мне закрыться изнутри и кому попало ни в коем случае не открывать. Он ушёл, а я прилёг на лавку да и заснул.

Утром курсант Неуходов меня спросил:

– Ты ночью ничего не слышал?

– Нет, – говорю, – спал как убитый. – А что?

– Да тут какие-то деды приходили, еду у нас вымогали. А мы были роботами.

– Как это? – удивился я.

– Просто, – объяснил Неуходов. – надели нам на головы котлы и заставили выполнять всякие команды. Ты ходишь, ничего не видишь, и, если что-нибудь не так делаешь, они орут «Робот сломался!» и колотят черпаками по твоему котлу, так что в ушах звенит.

К счастью, я эту фантастическую феерию благополучно проспал в хлеборезке.

Тревога

Тяжёлыми были ночные тревоги. Их ждали с волнением и в нервном напряжении. Лучше заранее было не знать о том,

что такая тревога будет. Вскакивать, не выспавшись и не отдохнув после тяжёлого дня, когда сержанты вели себя особенно жёстко, как можно быстрее одеваться, мчаться в оружейную комнату, забирать там всё, что положено взять с собой (не дай бог что-нибудь забыть!), и выполнять назначенную тебе функцию – всё это требовало полной концентрации сил и внимания. Я по боевому расчёту был посыльным к замполиту роты и сначала должен был мчаться к нему, а потом догонять остальных, направлявшихся к месту сбора для отбытия в запасной район. Меня поражало, что у офицеров с частью не было телефонной или иной связи, кроме посыльных. В детстве я гостил у своего дядьки, командира взвода горноспасателей, работавших в затопленных, взорвавшихся или горящих шахтах. У него дома на стене висел ящик с красной лампой, которая начинала мигать в случае тревоги. При этом на всю комнату раздавался низкий рычащий звук. И странно, что в воинской части офицеры узнавали о тревоге только по прибытии посыльного. Может, это потому, что часть учебная и находится в самой глубине нашей огромной страны. Но всё равно мне казалось это странным.

Вечером накануне одной из ночных тревог я постирал своё обмундирование и хотел, было, повесить в сушилке, но каптёр сказал, что сушилка не работает, горячей воды нет и трубы холодные. Пришлось повесить мокрую одежду на спинку кровати и попросить дневального, чтобы разбудил меня часа за полтора перед подъёмом. Тогда я досушил бы влажную одежду утюгом. Но часа в два ночи грянула тревога. Объяснять командирам в этой ситуации, что мне нечего надеть, – только неприятностей наживать. Надел я мокрое обмундирование, от которого тут же насквозь промокло исподнее бельё, и побежал. Причём, надевать мокрое не очень удобно, и я долго возился с ним, а потом, чтобы не отставать, в ружейке всё своё наспех ссыпал в вещмешок. Бежать по морозу было неимоверно холодно. Одежда прилипала к телу. Я быстро домчался до замполита, а от него побежал, было, к месту сбора. Меня так трясло от холода, что, казалось, цокот моих зубов слышен на всю округу, и бег не спасал. А тут вдруг я обнаружил, что в моём подsumке только один магазин вместо двух. Нервы мои сдали. Потерять магазин было равносильно преступлению. Мне вспомнилось, как наш курсант Ряскин обронил магазин во время марш-броска и, никому ничего не сказав, помчался обратно его искать.

– Куда он?! – насторожились сержанты.

Они стали кричать, чтобы Ряскин вернулся, но тот никак не реагировал. Сержанты бросились за ним. Ряскин, подобрав утерянный магазин, радостно направился обратно и, едва поравнявшись с сержантами, получил удар кулаком в лицо...

Но даже не это было страшно. Было ощущение какого-то позора и предчувствие всеобщего презрения, ведь я, в отличие от Ряскина, свой магазин не нашёл и вряд ли найду в темноте, тем более, что не знаю, где именно его искать. И такое на меня нашло отчаяние, что захотелось взять штык-нож двумя руками, приставить остриём с левой стороны груди точно между рёбрами и резко надавить на рукоятку. Я потянулся к ремню, но штык-ножа на нём не было. Несмотря на мороз и мокрую одежду, от которой стала влажной уже и шинель, меня вдруг обдало жаром. В этот момент я вспомнил, что побросал часть своего имущества в вещмешок. Снял я его, раскрыл: штык-нож был там. Однако второго магазина я так и не нашёл. Правда, это была меньшая беда, чем потеря штык-ножа. К тому же пока я копался в вещмешке, нашедшее на меня отчаяние, граничившее с истерикой, прошло, и я направился к месту сбора – будь что будет! Когда я, совершенно уставший и опустошённый, вышел к дороге, наша рота возвращалась в казарму.

– Отбой тревоге! – закричали мне ребята. – Выезда не будет!

В казарме царило хорошее настроение, которое бывает после окончания какого-то трудного, но успешно завершённого дела. Все сдавали оружие, обмундирование, весело переговаривались.

– Я потерял магазин, – сказал я дежурному рыжему сержанту из другого взвода, открывавшему и закрывавшему ружейные пирамиды.

Он глянул на меня как-то вскользь и отвернулся.

– Я потерял магазин! – повторил я громче.

– Ну, потерял и потерял! – буркнул тот и снова отвернулся.

– Я потерял магазин, – сказал я Петрову в расположении взвода.

– Понятно! – ответил он.

И больше ничего. Никто ничего не сказал мне по этому поводу и на следующий день. И это озадачило меня. Ещё через несколько дней в пирамиде, в моей ячейке, появился второй ма-

газин. Эта история так и осталась для меня загадкой, но у меня возникла мысль, что, вполне возможно, я магазин не терял. Может быть, его не было в пирамиде уже перед тревогой и сержанты знали, куда он делся. А я в суматохе посчитал, что бросил его в вещмешок. Впрочем, кто знает, как было на самом деле. Однако же странно, что мне ничего не было за утерю магазина.

Санчасть

Странно и то, что после столь длительной пробежки по морозу в мокром обмундировании я не заболел воспалением лёгких и даже нисколько не простудился. В детстве я легко простужался и несколько раз болел воспалением лёгких. Однажды, когда мне было шесть лет, температура у меня перевалила за сорок. Я лежал в кровати, когда вдруг прилетели несколько больших, в мой рост, черных осьминогов и стали вытаскивать меня из-под одеяла. А у меня даже не было сил, чтобы закричать. Когда я понял, что мне с ними не сладить, я сам откинул одеяло и тутже взлетел под потолок. Осьминоги устремились за мной и опутали меня своими неприятными влажными и шершавыми щупальцами. Я попытался ухватиться за сиреневый абажур с длинной бахромой, но они продолжали тащить меня и вскоре протащили по потолку до самых входных дверей, над которыми висел элетросчетчик. Тогда я ухватился обеими руками за счетчик, и от противного прикосновения щупалец, меня стало тошнить, в глазах потемнело, но я изо всех сил старался не разжимать рук.

Открыл глаза я уже в кровати. Потом меня увезли в больницу. Там я проснулся среди ночи в большой, абсолютно пустой, темной палате. Лишь слабо светился выходящий в коридор дверной проем. В нем появился высокий черный человеческий силуэт, который вдруг приблизился ко мне. Подошедший человек, лица которого я не мог разглядеть, показался мне каким-то гигантом. Но я не испугался, а даже обрадовался, что я уже не один. Черный гигант поднял меня над кроватью, а потом посадил к себе на плечи, и мы с ним направились к выходу. Мы вышли из палаты и пошли по длинному коридору. Сверху я видел медсестру в белом халате, которая спала, уронив голову на подложенные под нее руки. На столе стоял телефон и лежали какие-то бумаги. Потом мы пошли дальше,

но в конце коридора оказалось довольно темно и холодно, и я увидел, как у меня изо рта идет пар.

– Мне холодно, – сказал я. – Давайте вернемся.

– Хочешь опять в палату? – спросил несший меня человек.

– Да, вернемся, пожалуйста, – попросил я.

– Ну, смотри, тебе виднее, – сказал гигант и понес меня обратно.

Когда утром я проснулся, оказалось, что в палате, помимо меня, лежит еще человек пять детей разного возраста. Я посмотрел на дверной проем и не понял, как этот гигант, не пригибаясь, смог пройти в него со мной на плечах. И тогда я понял, что это был сон.

Ближе к весне я всё же угодил в санчасть, но вовсе не из-за простуды. Мы стреляли из вооружения БМП. По команде надо было заскочить в машину, вставить в пулемёт принесённую с собой ленту, после чего принять у другого курсанта два реактивных снаряда для гладкоствольного орудия и вставить их в конвейер механизма заряжания. Всё это выполнялось на время, а потому мешкать было нельзя. Я быстро спрыгнул в башенный люк, в одной руке держа ленту, а другой придержался за край люка. Но при этом я, кажется, недостаточно сильно откинул крышку, а может, не сработал обмёрзший стопорный механизм, в результате крышка люка не зафиксировалась, а упала обратно прямо на мои пальцы. Указательный палец был сильно разбит. Перчатки мы в таких случаях не надевали, поскольку в них заряжать пулемёт было неудобно. Закоченевшие пальцы не ощутили боли, и я поехал стрелять. Вернувшись со стрельбы, надо было забрать из пулемёта ленту и подойти с докладом к офицеру. И вот, когда я уже шёл, чтобы доложить о своей стрельбе, на пулемётной ленте увидел какие-то ярко-красные шарики. Оказалось, что этими красивыми бусинами усеян и мой чёрный комбинезон. Я удивился: «Откуда это взялось?». А потом увидел свой разбитый палец. Бусинки были замёрзшими каплями крови.

По возвращении в казарму я забинтовал палец свежим подворотничком и решил, что к утру заживёт. Но на следующий день мы изучали двигатель. Подворотничок, игравший роль бинта, промаслился, и палец стал ныть. Потом я ещё сходил в наряд по роте с его бесконечным мытьём полов, и палец загноился. Я подошёл к старшине, записывавшему курсантов на посещение санчасти, и показал ему свою травму.

– Какая ерунда! – сказал старшина. – С пальцем – в санчасть?! Вот человек идёт в санчасть – у него челюсть перебита, – и он указал на одного из курсантов с опухшей половиной лица.

Челюсть курсанту перебили сержанты, но велели говорить, что сделали это неизвестные стройбатовцы.

– Вот ещё один идёт в санчасть, – показал старшина на хромавшего курсанта. – У него полноги сгнило.

Действительно, у того парня были сильно запущенные панариции и, как он говорил, гной из его ноги выкачивали литрами, а в образовавшиеся в ноге пустоты заталкивали какую-то резину. Мне стало неловко, что я с этими ребятами тоже собрался, было, к врачу. Палец болел, и я приловчился делать всё, машинально отставляя его в сторону. Эта привычка осталась у меня надолго. Дней через десять мой уже сильно разбухший и пожелтевший палец попался на глаза Петрову.

– Быстро в санчасть! – рявкнул он.

Дело было вечером. В санчасти дежурил молодой медик-лейтенант.

– Ты бы ещё позже пришёл! – сказал он. – Ладно, не бойся, мы его в одну секунду щипцами отхватим.

– Ну, может быть, можно ещё что-нибудь сделать, – стал уговаривать я. – Вдруг ещё не поздно...

– Да, поздно! Поздно! – безнадёжным тоном сказал лейтенант.

Мимо проходил ещё один медик, лысоватый капитан лет сорока.

– Что там у него? – спросил он, услышав наш разговор.

– Да вот, запустил,.. – сказал лейтенант.

Я, жалобно глядя на капитана, показал ему распухший жёлтый палец.

– А давай, я попробую его почистить, – сказал капитан и велел мне идти с ним.

Он сорвал мне ноготь, сделал глубокий разрез и стал вычищать накопившийся гной.

Было уже позднее время. Все больные спали. Я ходил по длинному пустынному коридору одноэтажного деревянного барака, где располагалась санчасть, и широко размахивал рукой от боли. Спустя час она несколько утихла, и я лёг спать.

Операцию капитан сделал хорошо, и палец начал, было, заживать. Но старшина санчасти заставлял больных мыть пол.

Как я ни старался, не намочить бинт грязной водой, это мне не удавалось, и рана снова стала гнить. Из-за этого я задержался в санчасти почти на две недели.

Саша, Паша и телепатия

Там служили санитарями два интересных парня-интеллектуала, страшно увлекавшиеся историей, главным образом, в плане каких-то сенсационных открытий. Одного из них звали Саша, другого – Паша. Жили они хорошо. Были у Саши и Паши гири, которые они выжимали по утрам и вечерам, интересные книги и достаточно времени, чтобы накачивать мышцы и пополнять свои знания. Узнав, что я поступал на истфак и собираюсь вновь поступать туда после армии, они меня зауважали, стали беседовать со мной на исторические темы, и от них я услышал много интересного, например, подробности жизни и деятельности Отто Скарцени. Медбратья перевели меня в помещение, где сами спали.

По вечерам Саша и Паша со здоровяком-старшиной санчасти играли в карты, выставяя при этом «часового» в коридоре, чтобы тот предупреждал о приближении офицеров. Как-то решили и меня поставить «на стрёме». А я уже спать улёгся, и мне так не хотелось вылезать из-под одеяла. Я им и говорю:

– А что толку у входа сидеть? Ведь оттуда можно не успеть предупредить. Я и отсюда хорошо слышу, кто идёт.

– Не понял! – удивился старшина.

– Но ведь тихо вокруг, – сказал я. – Слышно как дверь открывается, как кто-то входит в санчасть, и сразу понятно: офицер это или солдат.

Старшина уставился на меня немигающими глазами:

– Так ты что, отсюда собираешься угадывать, кто идёт?!

Я, действительно, по походкам мог узнавать это. У лежащих в санчасти солдат походки были неспешные, нередко, прихрамывающие или шаркающие. Офицеры, как правило, шли бодрым, чётким, уверенным шагом.

– Ну да, – сказал я. – Обычно я не ошибаюсь.

– Курсант! – взревел старшина. – Ты издеваешься!?

– Постой! – стали удерживать его Саша и Паша. – Пусть попробует. В качестве эксперимента. Вдруг он и вправду угадывает.

– Ну, кино! – сказал старшина. – Ладно. Только попробуй хоть один раз ошибиться!

Они стали играть, а я сквозь лёгкую дремоту прислушивался к звукам в коридоре. Вдруг там послышался шум отрываемой двери. Старшина и сержанты замерли, схватив все карты в руки и приготовившись их спрятать. И тут раздались медленные шаркающие, знакомые шаги. Я точно знал, кому они принадлежат.

– Это солдат, – спокойно сказал я.

Старшина переглянулся с Сашей и Пашей. А потом всё же не выдержал, встал, подошёл к двери и, приоткрыв её, выглянул в коридор.

– Точно, – сказал он несколько удивлённо и посмотрел на меня уже без раздражения.

Спустя некоторое время я вновь уловил звук шагов в коридоре.

– Это офицер! – быстро сказал я, приподнимаясь.

Игроки убрали карты и улеглись в кровати. В помещение вошёл дежурный по части, посмотрел, всё ли в порядке, и ушёл.

– Уникум! – заорал, вскакивая с кровати, старшина. – Ребята, у нас обнаружился уникам!

– Телепат! – сказал Саша.

– Назначаем тебя доктором оккультных наук, – торжественно провозгласил Паша.

С тех пор у входа на стрёме никто не сидел. Я контролировал ситуацию, лёжа в постели, и, как ни странно, ни разу не ошибся.

Время от времени в санчасть заходил командир полка (в просторечье Кэп), и каждого больного спрашивал, с какой болезнью или травмой он там лежит. Кэп с его неимоверно широкими бёдрами, кривыми ногами и смазанными, немужественными чертами вечно красного лица был похож на здоровенную деревенскую тётку, вырядившуюся в офицерскую шинель. Приходил он, кажется, на второй день, как я попал в санчасть, а потом опять дней через десять. Увидев меня второй раз, он возмутился:

– Так это ты, курсант, с перевязанным пальцем уже две недели здесь отлёживаешься? Хорошо устроился! Выписать его немедленно!

Впрочем, это было кстати. После того как меня назначили доктором оккультных наук, пол в санчасти я уже не мыл, и мой палец, перестав гнить, стал быстро заживать. Мне надоела и эта размеренная, скучная, бессмысленная жизнь и ночные де-

журства в должности штатного телепата. Очень хотелось в роту к нашим ребятам, полигонам и БМП. К тому же в роте меня встретили неожиданно радостно. В первые часы возвращения на меня ходили смотреть, будто я прилетел с Луны, пожимали руку, хлопали по плечам, тискали в объятиях и я чувствовал себя именинником.

Как «достать» новую шинель

Что особенно обескураживало в учебке, так это тотальное воровство. Я умудрился в первую ночь в казарме положить в тумбочку станок для бритвы и одеколон. Одеколон, как мне рассказывали, ночью выпили. Ну, заодно и станок прихватили. Воровали всё: шинели, ремни, перчатки, шапки, сапоги и даже хлястики от шинелей. Причём, если у тебя украли армейское имущество, ты должен был его где-то «достать», то бишь, украсть. Одному своему земляку, у которого стащили шапку, я одолжил только что присланные родителями деньги, чтобы он купил себе новую в гарнизонном магазине. Там продавались только пушистые офицерские. Но сержанты-демпеля тут же обменяли её у него на солдатскую. Это был единственный на моей памяти случай, когда кто-то что-то себе купил из обмундирования. Все очень быстро наловчились «доставать». Тем более, что солдатскую шинель и купить-то было невозможно. А воровали их сплошь и рядом.

Приходя в столовую, мы снимали шинели на расположенном рядом плацу, аккуратно складывали их и оставляли на снегу в том же порядке, в котором сами стояли в строю. Затем, ёжась от холода, по команде бежали в столовую. Вот там, на этом самом плацу, шинели чаще всего и воровали. Однажды ещё в самом начале учебки после ужина я своей шинели на месте не обнаружил, и мне, как и всем в таком случае, пришлось идти в казарму раздетым позади строя. Мы ещё не успели подписать своё обмундирование хлоркой с изнанки, как это делалось во всех ротах. Петров спросил меня, были ли у моей шинели какие-то особые приметы – может, она у кого-то из своих, хотя шансов обнаружить её в роте было немного. Примет особых у моей шинели не было. Вот только конверт с письмом от матери я положил в нагрудный карман. Сержант построил роту и приказал всем расстегнуть и распахнуть шинели.

– Смотри, – сказал он.

И вдруг я увидел, что у курсанта Стрелкова из нагрудного кармана виднеется край конверта.

– Похоже, эта, – сказал я.

Стрелкову предложили достать конверт. Он помрачнел и, молча сняв, шинель протянул её мне.

– Почему ты надел чужую шинель? – сурово спросил сержант.

– Свою не нашёл, – виноватым голосом ответил Стрелков.

Спустя некоторое время, перед тем как меня выписали из санчасти, туда попал Стрелков.

И за пару дней мы с ним успели подружиться. В последний мой вечер в санчасти уже после отбоя мы стояли с ним у окна тёмного коридора, о чём-то разговаривали и смотрели на улицу. Там, за густым кустарником, по дороге ехал автомобиль с зажжёнными фарами. Когда фары оказались направленными в нашу сторону, по покрытым лёгкой изморозью окнам побежали тени голых ветвей. Потом они перебежали на стены, на потолок, на Стрелкова и заполнили собой всё вокруг. И это было похоже на какую-то странную графику, навсегда оставшуюся в моей памяти.

– Знаешь, – потупившись, сказал Стрелков, – когда игра теней закончилась и в помещении вновь воцарился полумрак. – Ты прости, что я тогда надел твою шинель. Очень холодно было...

Шинель тихому и интеллигентному Стрелкову пришлось тогда украсть в другом подразделении: говорят, голод – не тётка, холод – тоже. Чтобы шинели во время еды не воровали, каждая рота оставляла на плацу своего охранника. Но «добытчики» из других рот отправляли на дело двоих человек. Оба хватали по шинели и бежали в разные стороны. Часовой мог погнаться лишь за одним, а, значит, вторая шинель была уж точно потеряна. Каждая рота создавала свои группы добытчиков, в которую в первую очередь входили те, чью вещь украли, и те, кто при этом был охранником. Кроме того, находились добровольцы, которые обычно лучше других справлялись с такой задачей, и им подобное занятие доставляло удовольствие. Зачастую группы отправлялись на воровство впрок, т.е. не только тогда, когда в роте уже что-то украли, но и на случай, если вдруг украдут. Когда стали выставлять по два часовых, на воровство начали отправлять по три-четыре человека. Когда часовых ставили по три-четыре, добытчиков приходило пять-шесть. Всё равно хоть одну шинель унесут. Но если кто-то всё же попадался, то били его нещадно и

его рта за него не заступалась – сам виноват! Создавал эти группы и контролировал их «работу» обычно ротный старшина.

Как-то у меня стащили рукавицы. После политзанятий я укладывал книги в расположенный в коридоре шкаф. Мы уже оделись, чтобы идти на стрельбище, и я положил рукавицы на табурет, который подставил, чтобы достать до верхнего ящика. В это время, подгоняемый сержантом, мимо пробежал взвод соседней роты, и мои перчатки испарились. Вышли строиться на улицу, а я без перчаток. Увидел это мой земляк Лебеда, снял свои рукавицы и ткнул мне в руки:

– Держи, земляля!

– А ты? – спросил я.

– А я сейчас приду, – ответил он и побежал в казарму.

Я так и стоял, держа рукавицы в руках и не решаясь их надеть.

И вот из казармы выскочил Лебеда, уже с отнюдь не голыми руками.

– Порядок, – подмигнул он мне.

– А где ты взял?

– Смешной вопрос, земляля!..

В это время в части построили новый учебный корпус, только внутри его никак обустроить не могли: возникли проблемы со стройматериалами. И их, конечно же, надо было где-то украсть. Ротный после вечерней поверки отобрал десяток человек и сказал:

– Доверяю вам важное задание. Нашему учебному центру позарез нужны доски. Взять их можно на стройке в райцентре. Водитель машины знает где. Работать быстро, слаженно и без шума. Если попадётся, говорите, мол, сами, по своей инициативе решили помочь части оборудовать учебный центр. Тогда мы вас вытащим и никто ничего вам не сделает. Поняли? Выполняйте!

Видимо, за стройматериалами роты командирского батальона поочерёдно отправляли группы своих курсантов на стройки.

Я в эти хозотряды не попадал. Меня почти с первых дней назначили агитатором: перед политзанятиями я раскладывал по столам специальные, уже потрёпанные от времени книги и потом убирал их в шкаф; по газетам готовил политинформации, а ещё произносил речи от имени всех курсантов на проходивших в части мероприятиях, посвящённых важным датам. Что-то вроде:

– Мы, курсанты, гордимся, что служим в этой учебной части, и настроены учиться так, чтобы стать настоящими сержантами и командирами БМП! Мы достигнем высоких показателей в военно-политической подготовке и с честью выполним свой долг перед Родиной!

– Ну, молодец! Как по-писаному! – восхищался ротный.

И курсанты поглядывали на меня с уважением: «Хорошо язык у парня подвешен!». Может быть, именно из-за этой моей специализации в ночных рейдах меня не задеывали.

Культурная жизнь

В казарме у нас на всех четырёх этажах не было ни одного телевизора, и за полгода мы не видели ни одной телепередачи. Раз в неделю в солдатском клубе показывали кино, исключительно чёрно-белое, в котором обязательно кто-нибудь долго и мучительно умирал или замерзал, совершая военный или гражданский подвиг. После этих фильмов появлялось ощущение безысходности.

Курсантам достаточно было чуть расслабиться в полутёмном зале, чтобы они тут же начинали проваливаться в сон. Но в клубе было холодно, поэтому, едва задремав, курсанты тут же, ёжась, просыпались, чтобы через некоторое время снова повторить это неизбежное погружение в дремоту с нерадостным выныриванием из неё.

В ротной каптёрке хранилась шестиструнная гитара, привезённая с гражданки одним парнем, ранее выступавшим в составе эстрадного ансамбля в ресторанах Донецка. В редкие свободные минуты ему разрешали на ней поиграть. Была у нас ещё пара человек, которые могли исполнить несколько песен. Я тоже умел играть в три аккорда, но делать это публично тогда не решался. Наш ротный репертуар был небогат. Пели весёлую, скабрёзную и, в общем-то, дурацкую песню «Полюбил меня кирпичник молодой!». Грустно и тягуче исполняли популярный в то время народный городской романс:

*«Ты получишь письмо, как обычно без марки, солдатское,
И прочтёшь торопливо, а может, не станешь читать.
Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою,
Не пришлю никогда я в твой дом почтальона опять...»*

Негласной ротной стала песня с лёгким налётом крамолы «Третья рота». Её мы орали, что было сил и с большим надрывом:

*«Третья рота! Третья рота! Третья рота!
Кто привёл тебя сюда?!
Кто положил тебя на снег?!...»*

Была и вовсе крамольная по тем временам:

*«Работаешь? – Работай!
Корчуешь? – Корчуй!
Начальнику – премия,
Рабочему – ...»*

На праздничном концерте в доме офицеров, куда нас однажды водили, полковой ансамбль чудно исполнил песню «У деревни Крюково погибает взвод». В нашей роте она вроде бы всем понравилась, но как-то не прижилась. Какая-то она очень красивая, гладенькая, мелодичная, «погибает взвод» пелось так, будто «по синей реке плывёт белый пароход».

Ещё на доме офицеров висел усилитель, похожий на громкоговоритель, из которого по выходным дням на всю округу часто звучал уникальный, сразу узнаваемый голос незаслуженно быстро забытого певца Геннадия Белова:

*«Травы, травы, травы, не успели
От росы серебряной согнуться...»*

Эта песня была словно из другой жизни очень трогала за душу. Но теперь почему-то она вызывает у меня опустошающую тоску.

Строевая

Главным ротным шлагером (говоря современным языком) была старинная солдатская песня «Взвейтесь, соколы, орлами!». Под неё мы ходили строем и маршировали на полковых смотрах. Главное было – освоить её непростое исполнение, когда одни запевают, другие на полуслове подхватывают. Чеканить шаг нас тоже хорошо натренировали. В этом мы были лучшими в полку, как, впрочем, и во всём другом. А потому, когда наша рота шла с песней, другие подразделения порой останавливались, чтобы посмотреть и послушать:

*«Взвейтесь, соколы, орлами!
Полно горе горевать.
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!»*

Вообще строевой подготовке уделялось много времени. Изначально учили выполнять строевой шаг по разделениям: сделал одно движение – замри, сделал другое – замри...

Выполнялось это под барабанный бой. Сначала барабаны звучали редко, с паузами, потом всё быстрее и быстрее. В конце мы уже ускоренно, как мультяшные солдатики, чеканили шаг по начерченным на плацу линиям, и это было спасением от холода. Первое время занимались строевой по полдня. Помнится, один из наших курсантов, крепкий увалень Тарабасов, не выдержал этих занятий на морозе и так по-детски горько заплакал, что привёл в замешательство всех, включая сержанта и барабанщиков.

Однажды в полку ждали высокую комиссию из Москвы. Демонстрировать ей решили, конечно же, показную роту. Видимо, командование части решило поразить воображение высоких гостей. Для этого полночи нас тренировали выполнять строевые приёмы с оружием, обучение которым ранее, очевидно, не предвиделось: «Делай раз! Делай два! Делай три!...». Но за полночи стать чем-то вроде подразделения кремлёвского полка мы, конечно, не могли, хотя и старались изо всех сил. К счастью, этот парад не пригодился.

Каждого из нас учили водить строй, давая команду под левую ногу: «Раз! Раз! Раз-два-три!». При этом в роте была интересная, неизвестно когда и откуда взявшаяся манера «раз-два-три» произносить слегка нараспев с удлинением гласных и повышением тональности на счёте два. Получалось мелодично и оригинально. Позже, в Германии, я заметил, что эта манера давать счёт так и останется у всех наших.

Как-то мы возвращались с полигона, в касках, с оружием, в общем, при полной амуниции. Дело было в начале весны, погода стояла солнечная, тёплая. Вести строй выпало мне, и я усердно командовал: «Левое плечо вперёд!», «Правое плечо вперёд! Запевай!». И вдруг как бы увидел себя со стороны, повзрослевшего, в военной форме, командующего длинным, повинующимся каждому моему слову строем и неожиданно испытал радость и сильное чувство гордости за себя: «Вот бы сейчас меня увидели мама, папа, бабушка...».

Панченко

На полигонах во время перекуров мы с курсантом из Алтайского края Ряскиным согревались, прыгая на одной ноге и толкаясь плечами: кто второй ногой земли коснулся – тот проиграл. Это помогало. Многие курили и убеждали, что от этого теплее и что до конца учебки я тоже начну курить, но это на меня не подействовало, я так и остался некурящим. Мой сосед по койкам Панченко согревался оригинально: стоя на полусогнутых ногах и слегка наклонившись вперёд, он широко разводил руки, словно для объятия и резко обхватывал самого себя, громко хлопая по бокам. При этом мне он почему-то напоминал дореволюционного крестьянина. Я тоже попробовал.

– Ты не так делаешь, – сказал он – Вот как надо... Вот так! Да! Вот так!

Это, действительно, помогает.

– Слушай, – сказал я, воспользовавшись, что рядом никого не было. – А почему ты так странно ходишь? У тебя нога болит?

– Вообще-то у меня плоскостопие, – ответил он.

– Кто тебе сказал?

– В военкомате на медкомиссии сказали.

– А чего же они тебя в мотострелковую учебку направили? Мы же наполовину пехота.

– А чёрт их знает! – ответил он и рассмеялся дробным хриплым смехом, как старичок.

– Только ты никому не говори, – спохватился он.

– Да не бойся, не скажу. У меня у самого иногда половина лица немеет и рука деревенеет, – признался я.

– Лицо немеет – это ерунда, а вот что рука деревенеет – это хреново, – посочувствовал он. И что ты с ней делаешь?

– Просто колочу обо что-нибудь, например, об угол пункта боепитания.

– То-то я смотрю, там все кирпичи повыбиты! – воскликнул Панченко, и мы с ним расхохотались.

У меня, действительно, в начале учебки несколько раз случался этот странный приступ, длившийся минут пятнадцать-двадцать. Когда он приключался перед стрельбой, я заходил за стоявший на стрельбище кирпичный пункт боепитания и с силой бил об угол предплечьем, так что на нём оставались си-

няки, зато рука вновь обретала чувствительность. Метод этот я помнил из какой-то книги, кажется «Как закалялась сталь», а может, из другой, но тоже героической. Я предполагал, что такое онемение может быть связано с работой сердца, и боялся, не случилось бы чего-нибудь похуже, но в то же время не хотел, чтобы меня комиссовали. Именно такая участь постигла одного из моих земляков, с которым на первом месяце обучения случился сердечный приступ.

К счастью, к концу учебки мой недуг окончательно прошёл.

В Германии мы с Панченко попадём в одну роту. Этот деревенский парень с украинской фамилией был родом из Челябинской области. Он отличался покладистостью и беззлобностью характера, и в ситуациях, когда другие нервничали, Панченко безысходно смеялся своим странным хрипловатым смехом: «Ну, что ж тут поделаешь?». И мне всё время казалось, что он вот-вот добавит, как моя прабабушка: «На всё воля божья».

Как-то во время перекура в долине я заметил, что он периодически указательным пальцем прижимает к голове странно топорщившуюся ушную раковину.

– Обморозил? – посочувствовал я.

– Какой там обморозил! – ответил он, подхихикнув. – Вчера вечером ползали по снегу, когда нас наказали. Я отстал, и Петров ударил меня в ухо сапогом. Кажется, хрящ перебил.

– И что теперь?

– Хожу с перебитым ухом! – ответил он и опять засмеялся.

– А пойти в санчасть?..

– Зачем? Я же слышу!

Панченко, не очень преуспевая в других дисциплинах, из любого оружия стрелял лучше всех в роте и поражал тем, что практически никогда не промахивался. А в ответ на просьбы поделиться секретом меткости недоумевал: «Ну, какой тут может быть секрет? Наводишь – и стреляешь. Я вообще не понимаю, как можно не попадать на таком расстоянии».

Паливский

В основном у меня с нашими курсантами были хорошие отношения. За полгода лишь несколько раз довелось схлестнуться с некоторыми из них по разным поводам.

Был у нас курсант из западной Украины Панас Паливский. Солдат он был хороший, но отличался большим чинопочтанием. Например, присланные ему из дома посылки делил не с курсантами, как делали другие, а нёс сержантам. Вскоре он получил звание ефрейтора. И однажды сержант, которому поручили занятия на плацу по одеванию ОЗК, решив куда-то отлучиться, поручил проводить занятия Паливскому. Уж тот расстарался, сразу преобразился в важного начальника. Ну, да ладно, в конце концов, кто-то должен быть за старшего в отсутствие штатных командиров. Но чем-то не понравился ему Панченко. Подошёл он к нему и давай отчитывать: и то он не так делает, и это, и ходит, как клоун. Тот молчит, а ефрейтор никак не уймётся. Наконец я не выдержал и сказал:

– Ну, хватит уже – сколько можно?

– Ты что-то имеешь мне сказать? – насторожился Паливский.

– Имею: отвяжись от него!

– А ну-ка молчать в строю! – крикнул он напыжившись.

– Да ладно, ты не очень-то ори, – завёлся я.

– Ты будешь спорить со мной? – угрожающе спросил Панас и взял меня двумя пальцами за уголок воротника.

Я молча ударил его по руке.

– Так, может, ты ещё и драться со мной будешь?

Я вздохнул, поняв, что конфликта не избежать, вышел из строя и, бросив на землю ОЗК, который ещё не успел связать, сказал:

– Буду!

– Ну-ка давай! – нахохлился и стал в боевую стойку Паливский.

Однако тут же выяснилось, что драться он не умеет вообще. Он двигался на меня боком, делая при этом широкий замах из-за спины. И пока его тощая длинная рука описывала при ударе едва ли не целый круг, я успевал спокойно пригнуться или отскочить назад. Затем я подскакивал к нему и делал удар кулаком в грудь. Бить по лицу я не хотел, хотя Панас явно метил мне в лицо. Получив три-четыре удара, наш ефрейтор сдулся:

– Чего тебе надо? – растерянно спросил он и повернулся к строю, ища поддержки. – Ну, чего он ко мне пристал?!

Строй молчал. Я, посчитав инцидент исчерпанным, присел возле рассыпавшегося по земле ОЗК и стал его сворачи-

вать. И тут из строя вышли два земляка Паливского. Один из них толкнул меня ногой в плечо, и я упал на спину. Сев на земле и осмотревшись, я стал медленно подниматься, стараясь не спровоцировать удар, пока не успел стать на ноги. В последний момент я схватил за маску лежавший на земле противогаз: теперь в случае чего можно было отбиваться болтающимся на шланге фильтром. Но в этот момент ситуация изменилась ещё раз. Из строя вдруг выскочил мой земляк Лебеда и угрожающе закричал:

– Что?! На наших?! На донецких?! Бандеры! Гады! Убью!

При этом лицо его густо покраснело, а на шее вздулись синие жилы. Я посмотрел на западных украинцев и понял, что они не на шутку испугались. А испугаться было чего. Лебеда был пулемётчиком. А бегать с пулемётом довольно тяжело. Как-то во время марш-броска он стал отставать. Сержант Сидоркин начал его подгонять ударами приклада в спину. «Какого чёрта он его бьёт?», – подумал я и тоже стал потихоньку отставать, предчувствуя, что сейчас скажу Сидоркину что-нибудь мудрое и справедливое, нажив себе какую-нибудь неприятность: может, тоже получу автоматом по спине. Но в очередной раз оглянувшись, я вдруг стал свидетелем неожиданной сцены: Лебеда, резко остановившись, с разворота ткнул Сидоркина в грудь прикладом пулемёта. При этом верхняя часть корпуса сержанта отклонилась назад, а ноги, пробежав вперёд, оторвались от земли. Сержант словно на мгновение завис в воздухе, а потом шумно рухнул на спину.

Это было ЧП. Дальше – хуже. Остальные сержанты роты бросились к Лебеде. А, тот схватив пулемёт за ствол, с криком «Убью!» стал кружиться, грозя ударить прикладом каждого приблизившегося. Я остолбенел. Это был шок для всей роты. Сержанты ступевались и замяли скандал, постаравшись успокоить Лебеду. После отбоя они пригласили его в каптёрку, где сначала надавали ему тумаков, а потом сказали, что он настоящий мужик, налили ему стакан водки и отправили спать. И вот теперь появление Лебеды не на шутку испугало моих противников.

– Петя, не надо, – засуетился Паливский. – Не надо, Петя. Это ж мы так, для порядка.

Стали уговаривать Лебеду и земляки ефрейтора. В общем, конфликт замяли и все успокоились.

Кстати, Лебеду я впервые увидел ещё в областном военкомате. Я сидел во дворе на чемодане в ожидании отправки к месту службы. По двору ходили два весёлых, изрядно подвыпивших парня. Они решили перелезть через огораживавший территорию военкомата двухметровый бетонный забор, чтобы погулять по городу.

— Земеля! Чего сидишь, скучаешь? — спросил меня один из них. — Пойдём с нами, мы знаем, где можно найти хороших девочек.

Это и был Лебеда.

— А если будет отправка? — спросил я?

— Подумаешь! Куда-нибудь всё равно отправят.

Я с ними так и не пошёл. А они на протяжении суток, которые нам довелось провести в областном военкомате в ожидании «покупателей» из Елани, несколько раз перелезли через забор, совершая вояжи по Донецку. И при этом не нажили себе никаких неприятностей, не считая подаренного «хорошими девочками» триппера, от которого они параллельно с учёбой лечились в первый месяц нашего пребывания в Еланских лагерях.

Зимние сны

Сны в учебке снились мне редко, но были особенно яркими, реалистичными и потому запоминающимися. Вообще некоторые свои сновидения я помню с раннего детства. Когда мой отец, прошедший всю войну и в последнее время служивший на Курильском острове Шум-Шу, демобилизовался, мы переехали в Донбасс, в тот самый городок, из которого я потом пойдё служить. Мне тогда было не больше трёх лет. Первое время снимали небольшой флигель, в котором кроме двух кроватей, двух столов и двух табуреток не было ничего. Не было даже выключателей, и свет в комнате и в кухне родители включали, закручивая и выкручивая лампы. Чтобы как-то украсить пустые стены, отец принёс с работы большой плакат с изображением двух косматых бородатых мужиков, которые своим свирепым, как мне казалось, видом, вызывали у меня оторопь, и я старался пробегать мимо, не глядя на них. Это, конечно же, были Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

В том флигеле мне иногда снились сны, которые я тогда не отделял от реальности. Как-то ночью я проснулся оттого,

что с меня кто-то стаскивает одеяло. Это делал человек с улыбающимся, светящимся, как луна, лицом. Отбросив одеяло, он, всё так же широко улыбаясь, попытался взять меня на руки. Я закрыл лицо руками и закричал что есть силы. Когда я отнял руки от лица, светящегося человека уже не было.

– Это был всего лишь сон, – сказал отец.

Спустя много лет моя, отнюдь не суеверная мама скажет, что там у нас был нехороший флигель, потому что в нём всё время происходили странные вещи. То в комнате появлялись яркие вспышки, то вдруг раздавался громкий свист.

В учебке однажды приснился мне белый жеребец. Он плавно, как в замедленной киносъёмке, бежал вдоль ограды огромного цветущего бабушкиного сада, издавая протяжное жалобное ржание, и его пышная белая грива развевалась на бегу. Проснувшись, я подумал, что там, у бабушки, наверняка, что-то произошло. Через несколько дней мне пришло письмо, из которого я узнал, что умерла моя прабабушка, хорошо помнившая революцию 1905 года и точно не знавшая, сколько ей лет – «где-то под девяносто». Она была очень расстроена, что я, собираясь в армию, не заехал проститься. Прабабушка предчувствовала, что может умереть. Но она была такой шустрой, вечно работавшей в саду и огороде, задорной и весёлой старушкой, что казалась мне вечной. Мне ни разу не пришло в голову, что пока я буду в армии, она умрёт.

Прабабушка вместе с бабушкой жила в посёлке, расположенном в Ворошиловградской (нынешней Луганской) области. У них был потрясающий по своим размерам и разнообразию сад, ставший неотъемлемой частью моих воспоминаний о детстве. Я до сих пор помню свой первый осознанный приезд к бабушке, хотя было мне тогда года два.

Мы приехали ночью. Во всяком случае, на улице было уже темно и безлюдно. Я не помню, как мы выходили из вагона, как шли по улицам. Наверное, этого уже в памяти не воскресить.

Помнится только, что было тихо и тепло, где-то в садах звонко стрекотала цикада, издали едва доносился шум поезда. Помнится штaketник, отгораживавший от улицы бабушкин двор, деревья, стоявшие вдоль дороги, зиявшее пустыми глазницами разбитое в войну здание за дорогой, приятно поблескивавшие вдали огоньки и собака. Да, большая тёмная собака, которая вышла из пышного цветника, расположенного напротив двора,

и я подумал, что это, наверное, её цветы. Собака уставилась на меня чуть поблескивавшими в темноте глазами. Но я несколько не испугался, потому что она казалась мне безобидной, как и все вокруг, я даже пытался с ней говорить, и она меня слушала. Мама на собаку прикрикнула, и та потихоньку убежала – оказалось, маму слушаются не только мы с сестрой, но и собаки. Калитка была запертой. В окнах бабушкиного дома, стоявшего далеко в глубине двора, свет не горел. Мама немного покричала, позвав почему-то саму себя, а потом полезла через забор. Все это было странно и весело.

Один из приснившихся мне в учебке снов был поразительно реалистическим. Среди ночи в казарме я открыл глаза и увидел на кровати у моих ног темноволосую девушку в белой ночной рубашке. Она сидела боком ко мне, и спадавшие на плечи волосы закрывали ей большую часть лица. На коленях она что-то держала, но я толком не мог рассмотреть что именно. Она смотрела перед собой в сторону окна. Вдруг девушка подняла руки, и я увидел, что в руках у неё скрипка. На ней моя ночная гостья стала играть тягучую мелодию на высоких нотах. Я подумал, что сейчас она разбудит других курсантов, но никто из них не проснулся. Лишь один раз во время игры она на мгновение повернулась ко мне бледным неподвижным лицом и посмотрела прямо в глаза. Тут до меня дошло, что этого не может быть. Подскочив, я сел на кровати и чуть было не закричал. Девушка пропала. Скрипка и смычок полетели на пол, и, едва коснувшись его, тоже словно испарились. И в этот момент я понял, что проснулся не тогда, когда якобы открыл глаза, а тогда, когда подскочил.

Из всех тогдашних снов лишь один был на военную тему. Снилось мне, будто посреди огромного пустынного пространства стоит высоченная тонкая вышка и мне надо на неё взбираться. И вот я лезу и лезу, периодически срываясь и рискуя упасть вниз. Наконец я добираюсь до самого верха, а там маленькая площадка, может быть, два на два метра. На ней – стенд с ПТУР-Сом «Малютка» из нашего учебного класса. А рядом с ним стоит наш командир полка.

– Ну что, курсант Андреев, – говорит он. – Палец разбинтовал?

– Разбинтовал, – отвечаю.

– Значит, готов к выполнению боевой задачи?

– Готов, товарищ полковник!

– Кто полковник?! – возмущается Кэп.

И тут я вижу на его погонах по три большие генеральские звезды, ярко блестящие на солнце.

– Извините, – говорю. – Товарищ генерал, курсант Андреев к бою готов!

– Вон там, видишь?.. – спрашивает он, указывая вдаль.

Я смотрю, а там стоят высоченные палатки, а возле них множество танков, бронетранспортёров, вроде бы как не наших. А над всем этим взад-вперёд летает большой реактивный самолёт. Пролетит в одну сторону, потом резко развернётся на месте и летит обратно. «Охраняет», – подумал я.

– Это Америка, – говорит генерал. – И мы сейчас по ней ударим.

А потом, как закричит:

– Приготовиться! ПТУРСом!...

Я вижу там вооружений всяких видимо-невидимо. А тут только мы с Кэпом, как две вороны на столбе в чистом поле. И такое ощущение близкой смерти охватило меня, какого наяву, может быть, и не бывает! Говорю:

– Товарищ генерал, они же нас разнесут.

– Конечно, разнесут! – отвечает он. – Но сначала мы их ПТУРСом!..

На том я и проснулся. Уже светало. Было воскресенье, а в выходной сон на час дольше. В казарме тихо-тихо. Я довольно поёжился и снова закрыл глаза. Хотя какое-то неприятное ощущение от сна всё-таки осталось.

Аркаша

Был во взводе у нас учитель танцев по фамилии Ляпин. Все-то ему трудно давалось. А главное не давалось понимание необходимости всего происходящего. Ему скажут что-нибудь сделать, а он спрашивает: «А зачем это? Что за глупость такая?». Нет-нет, да и подвернется под руку или под ногу какому-нибудь сержанту. Ребята ему сочувствовали, поучали: «Ты не спрашивай ничего, просто делай, что сказали, или хотя бы делай вид, что делаешь». А он опять за своё.

И был во взводе Аркаша, небольшой коренастый парень двадцати пяти лет, кандидат в мастера спорта по какой-то борьбе, все лицо в шрамах. Кажется, его и сержанты опасались.

В первые дни пребывания в учебной части выдали нам парадки, чтобы мы пришили к ним погоны и петлицы. Аркаше его брюки показались маловатыми. Подошёл он к учителю танцев, схватил его снизу за штанины только что надетых брюк и, перевернув вниз головой, буквально вытряхнул из них. Затем швырнул ему на кровать свои брюки, а его штаны повесил на спинку своей койки. Учитель стал возмущаться, но как-то тихо и жалобно.

Меня эта бесцеремонность настолько поразила, что я не удержался, подошёл, схватил Аркашины брюки и, скомкав их, запустил в него, а брюки учителя танцев, сняв со спинки Аркашиной кровати, бросил на кровать прежнему хозяину. У Аркаши от удивления и возмущения чуть глаза из орбит не вылезли.

Ах, ты-ы, бо-орзота! – заорал он, заикаясь и, схватив меня обеими руками, сначала резко рванул на себя, а потом сильно толкнул.

Я полетел на пол, переворачивая стоявшие вдоль кровати табуретки, потом подскочил, сгоряча схватил одну из них, но тут же, спохватившись, поставил на место. Тут некоторые курсанты, хотя и не очень решительно, но всё же вступились за меня. Сказали:

– Не трогай, парня – он просто хотел, чтобы было по справедливости.

– Надо же, какие вы умные! – притворно изумился Аркаша, но отступил.

– Слышь, ты, – сказал он мне, – чтобы это было первый и последний раз.

Потом он обернулся к учителю танцев:

– А ты подавись своими штанами, они на меня всё равно не налезут.

Аркаша мог иной раз позволить себе не работать вместе со всеми, а выполнять роль надзирателя. Как-то один наш сержант получил дембельский аккорд – оборудовать новую караульную площадку. Время его поджимало, и ему ночью дали наш взвод поработать в караульном городке. Стали мы там окоп копать. Сержант куда-то отлучился. А учитель работал как-то медленно, и стал его Аркаша донимать, сначала словами, а потом пинками. Я работал рядом, и мне это надоело. Да еще холодно, и спать страшно хочется, словом, настроение ужасное. Молчал я, молчал, а потом сорвался: «Ты чего пристал к нему?». «Что-о?!

– так и вспыхнул Аркаша. – Опять, что ли?!». Он приблизился ко мне вплотную, и я, почувствовав, что потасовки не избежать, решил бить первым, потому что второй раз ударить, может, и не доведется. Я ударил его в солнечное сплетение, почувствовав, что удар не очень получился. Но Аркаша вдруг, обхватив живот руками, стал медленно приседать. Сначала я обрадовался, что не такой уж он и грозный, оказывается. Но тот вдруг быстро поднялся и как ни в чем не бывало, спросил: «Все видели? Он первый начал!» Ребята уже прекратили работать и сгрудились вокруг нас. «Кончайте вы! – вмешался Паливский. – Охота вам еще ночью бузу затевать!». «Нет, – зло сказал Аркаша, – Он меня ударил». И вдруг он буквально прыгнул на меня, и мы повалились на землю. Тут же образовалась большая свалка: одни удерживали Аркашу, другие утаскивали меня. «Не лезь к нему – он тебя прибьет!» – в суматохе кричал мне в ухо Паливский, с которым у нас к тому времени наладились неплохие отношения. В конце концов нас растащили. Тут подошел сержант, недовольно поворчал, что нас ни на минуту нельзя одних оставить, и снова приказал работать.

Потом мы чистили сапоги возле казармы. Я стоял на крыльце в ожидании своей очереди и смотрел, как над долиной, далеко за обрывом светлело небо. И вдруг я ощутил, что прибавляется день – явный признак весны. И я подумал: «Как быстро идет время! Скоро все это: и казармы, и обрыв вдали, и заснеженная долина, и эти курсанты – умчатся в прошлое и станут лишь далеким воспоминанием, как и вот этот борец, который поднимается по ступенькам и явно направляется ко мне». Когда Аркадий нервничал, он начинал заметно заикаться. «Тебе – бе повезло, что-о я уже не-е-много остыл, – сказал он и хотел, было, идти дальше, но вдруг обернувшись, добавил: «Е-э-если ты еще что – нибудь та-а-кое выкинешь – я тебя у-убью». И он ушел. А я смотрел ему вслед и думал, как с таким дефектом речи берут в командирский батальон? Вдруг придется ему в боевой обстановке подавать, к примеру, команду «Воздух!», а он, заволновавшись, станет кричать: «Воз!... Воз!.. Воз!...». И ещё мне вдруг подумалось, что со временем он, может быть, тоже будет вызывать у меня какие-нибудь добрые воспоминания. Впрочем, так оно и вышло.

Однажды в долине на привале он, заметив, как я записываю что-то в маленький карманный блокнот, очень заинтере-

совался: «Покажи, что там у тебя?». «Да так...» – я хотел убрать блокнот. «Ну, покажи, не ломайся», – уже более доброжелательным тоном попросил он. Я показал. Там были мои стихи. Он прочитал и удивился «Это твои, что ли?! Ни фиги себе! Еще напишешь – дашь почитать?». После этого у нас сложились приятельские отношения, и он даже научил меня некоторым борцовским приемам. Было это как-то днём на уборке снега в караульном городке. Он сначала бросал меня в снег через бедро, через плечо и через спину, а потом медленно показывал, как это надо делать, и давал бросить себя. В конце концов остальные курсанты возмутились, сказали, что снег надо убирать, а не утрамбовывать, и мы с Аркашей взялись за лопаты.

В Германии мы с ним попали в разные полки. Лишь раз на полигоне во время крупных учений наши роты случайно оказались рядом, и мы встретились. Он обрадовался, расспрашивал про наших ребят, о судьбе которых я знал, а потом спросил: «Это твоя рота? Кто-нибудь против тебя тут выступает? Может, деды какие-нибудь? Покажи!». «Да нет, – удивился я. – У меня все нормально». «Ну, ладно, – сказал он. – А то, если что, дай знать, мы тут рядом стоим». Он уже собрался уходить, но вдруг, обернувшись, радостно сообщил: «У меня в роте есть пара дружков – так против нас даже деды никогда не возникают. А этой осенью деды уйдут, и вся рота будет у нас вот где!» И он, растопырив пальцы, крепко сжал их в кулак. Больше мы с ним никогда не встречались.

Фотография

В один выходной день после бани повели нас в фотостудию для запечатления на индивидуальное памятное фото. На переодевание в парадки времени почему-то не было, и мы фотографировались прямо в шапках и шинелях. Это было первое моё фото, сделанное в армии, и единственное за всю учебу. Фотография, как и большинство в то время, была чёрно-белой. На снимке у меня получился совершенно отрешённый от всего вид, будто я смотрю в никому не ведомое и в реальности не существующее пространство.

По этому поводу вспомнилась мне странная история, которая произошла со мной ещё в дошкольном возрасте. Связана она с фотографией, сделанной одноногим фотографом-любите-

лем, который жил в том же селе, где и моя бабушка, и на той же улице.

Прямо напротив бабушкиного дома за дорогой стоял детский сад, верней, развалина детского сада, в который в начале войны попала бомба. Она простояла с тех пор лет двадцать, прежде чем её снесли. Женщина, у которой там погибло трое детей, впала в тихое помешательство и не вышла из него до конца своей жизни. Говорили, что это она на стене развалины каким-то острым предметом выскоблила надпись: «Мама, нас убили».

На снимке я и ещё трое детей с нашей улицы стояли на фоне бывшего детского сада прямо под этой надписью. У меня на голове была немецкая каска, их в то время можно было найти на пустырях и околицах, и многие мальчишки таскали их с собой, а, наигравшись, отдавали другим. Точнее, каска была у меня над головой, поскольку я приподнимал её обеими руками, чтобы она не закрывала мне пол-лица. Все мы ещё не ходили в школу, и на немецком шлеме мелом с орфографической ошибкой было криво написано печатными буквами «Гитлир капут». Слева от меня на снимке стояла смеющаяся белобрысая девчонка в светлом платье, подставляющая мне сзади рожки, а справа – двое мальчишек. У того, что побольше, в руках был небольшой снаряд от миномёта (мина). Видимо, он был довольно увесистым, и мальчишка держал его, обхватив обеими руками и прижав к себе, как обычно держат грудных детей. Оба мальчика на фотографии смеялись так же, как и девочка. И только я был серьёзным и сосредоточенным. Может, оттого, что мне неудобно было держать каску над головой, а фотограф долго целился через глазок фотоаппарата. У него вместо левой ноги ниже колена была сужающаяся к земле деревяшка. Он, собираясь запечатлеть нас, ловко выбросил её вперёд, затем, присев на правой ноге, опёрся на левую руку и опустился на поросший травой бугорок. Так он, сидя, нас и фотографировал.

После того как я и девочка ушли домой, мина, с которой играли мальчишки, взорвалась и убила их обоих. А девочку через несколько лет пополам перерезало поездом. Рассказывали, что, когда к ней подбежали люди, у неё часто-часто моргали глаза и беспорядочно двигались руки. Словом, история жуткая и почти мистическая. Одноногий фотограф отдал снимок моей

бабушке, сказав; «Пусть хлопчику память будет». Я же этой фотографии панически боялся, хотя и не признавался в этом никому. Я даже не забрал её с собой, когда за мной приехали родители, а как бы нечаянно забыл. И осталась она лежать в картонной коробке среди прочих снимков, не поместившихся в единственном бабушкином фотоальбоме.

Кажется, уже после окончания третьего класса, приехав в очередной раз на лето в село, я среди рассматриваемых снимков наткнулся на этот и испытал такое чувство ужаса, что тут же бросил его обратно в коробку. Потом, стараясь не смотреть, снова достал его, быстро изорвал на мелкие кусочки и выбросил в мусорное ведро. Вернувшись в комнату, я побежал в угол, где, освещаемая дрожащим голубоватым огоньком лампы, висела икона и, подражая своей богомольной прабабушке, что жила здесь же, быстро протараторил: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Правда, как оказалось, на иконе был не господь, а Николай Чудотворец. Затем я осмотрелся по сторонам, не увидел ли кто моей проделки, и после этого окончательно успокоился.

Сделанные в учебке фотографии все стали отсылать домой. Ляпина угораздило отправить своё фото своему однокласснику с припиской «Посмотри, дорогой друг, что со мной военная форма сделала!». Письмо это вернулось в роту. Выставили учителя танцев перед строем. «А ну-ка, – говорят, – расскажи всем, что с тобой военная форма сделала. Советская форма тебе не нравится? Не к лицу она тебе?..». И – в наряды его!

Исмаилов и Тарабасов

Ещё была у нас интересная пара дружков – Исмаилов и Тарабасов. Они были сильными парнями и постоянно тузили друг друга полущутя, но довольно крепко – каждому хотелось продемонстрировать свою необоримую силу. Тарабасов был несколько наивным и в общем-то не злым. Лысоватый Исмаилов был, кажется, старше всех во взводе. Был он умным, хитрым, недоброжелательным и, по-моему, из «приблатнённых». И была у него неприятная привычка по любому поводу и безо всякого повода обзывать всех дешёвками. Как-то и меня обозвал.

– Я тебе не дешёвка! – не удержался я.

Он подошёл и, ни слова не говоря, ударил меня костяшками сжатого кулака сверху вниз куда-то пониже ключицы. И меня словно огнём обожгло, попытался я двинуть рукой и не смог. Сил хватило только, чтобы, стиснув зубы и глядя Исмаилову в глаза, стараться не показывать, что мне больно. «Знает, куда бить», – подумал я.

Тут подошёл Тарабасов:

– Чего это вы? – улыбаясь, спросил он.

– Видал? – возмутился Исмаилов. – Голос повышает!

– Да это свой парень, – примирительно сказал Тарабасов, продолжая улыбаться, и по-приятельски потрепал меня по плечу.

Но чаще в этой паре верховодил Исмаилов, и Тарабасов шёл у него на поводу.

В предпоследний день перед отправкой в ГДР после отбоя они в умывальнике вместе избili только что сменившегося с суточного дежурства Неуходова. Били по лицу ногами в сапогах. Во время подъёма мы обнаружили его лежащим в своей постели на окровавленной подушке с сине-красным и распухшим до неузнаваемости лицом.

– Ночью с кровати упал, – едва выговорил он, когда сержант спросил его, что случилось.

Это был не тот случай, который мог пройти не замеченным начальством. Но в суматохе отправки в Германию никто не стал долго разбираться. Исмаилову и Тарабасову пообещали, что они уедут в ГСВГ с характеристиками, при которых никогда не станут командирами. А Неуходов был оставлен в учебке. По мнению курсантов, учебная часть от этого выиграла. В тот год Группа Советских войск в Германии требовала большого пополнения, и не отправили за границу в основном тех, кого было стыдно туда отправлять, то есть тех, кого в учебке принято было называть «чмошниками». А Неуходов был и человек стоящий, и курсант отличный. И наверняка повезло тем, кого он обучал. Хотя сам Неуходов, мечтавший поехать в Германию, пострадал вдвойне. А Исмаилова и Тарабасова я потом встречал в ГДР на полигоне, и они уже оба были командирами.

Но в большинстве своём наши курсанты были хорошими ребятами, ведь, как никак, все мы входили в так называемый спецнабор, то есть в число специально отобранных, поскольку за границу в советское время кого попало не направляли.

Птица на ветке

Иногда в нашей суете случались светлые минуты, когда бег времени приостанавливался и я, оглядываясь по сторонам, вдруг начинал видеть всё как бы со стороны и находить в окружающем много интересного и даже прекрасного. Помнится, в один день планировался марш-бросок на лыжах, но вместо этого вдруг отправили нас сдавать донорскую кровь. Потом дали по стакану сливового сока и разрешили отдохнуть. В казарме царил атмосфера необычайного выходного дня. Необычайного, потому что обычно в выходной день роте особенно расслабляться не позволяли. Одни писали письма, другие просто общались. «Полюбил меня кирпичник молодой! Повалил меня он в глину головой!..» – возбуждённо кричала под гитару группа курсантов, сгрудившихся у окна.

– Ладно, хватит шастать по всей казарме и орать! – сказал старшина. – Устроили здесь базар. Отбой всем на два часа!

Спать днём не позволялось даже в санчасти. А тут вдруг в казарме нам разрешили сонный час, как в детском саду. Да и сама отмена марш-броска была большим праздником, особенно если учесть способность нашей роты передвигаться на лыжах. Об этом стоит рассказать отдельно. Как выяснилось еще при первом таком марш-броске, стоять на лыжах толком в нашей роте мало кто умел. Может, это было связано с тем, что состояла она в основном из призывников из южных районов, включая Среднюю Азию. Нам предстояло добежать до леса и, скрывшись за ним, преодолеть основную часть пути, а затем, обогнув лес, вернуться на исходную позицию. Вели роту сержанты. Бежать надо было на время, и сержанты сразу взяли высокий темп. Начало броска ознаменовалось постоянными падениями. Впереди, сзади, слева и справа курсанты с матами валились в снег, словно по роте били из пулемётов. Когда мы завернули за лес, нам приказали взять лыжи на плечи и бежать пешком по глубокому снегу. Это было непросто, но всё же быстрее. Перед выходом на открытое пространство мы снова встали на лыжи.

Никаких тренировок по этому виду спорта у нас не было: то ли потому что программа обучения и без того была очень насыщенной, то ли потому что в Германии по-настоящему снежных

зим не бывает и советские солдаты там лыжные марш-броски не совершают. Возможно даже, наши командиры сами были инициаторами донорского дня, чтобы лишний раз не позориться. Так или иначе, а у нас получился неожиданный отдых.

Я лежал на кровати в верхнем ярусе, почти у окна, и сверху смотрел на яркий багровый закат, распластавшийся над долиной. А недалеко от нашей казармы, на самом краю обрыва стояла кривая, раскидистая, без острой верхушки сосна, с сильно изогнутыми, даже закрученными ветвями, формой больше походившая на какое-то южное дерево. На фоне красного неба этот пейзаж напоминал китайскую шелкографию. Не хватало только яркой экзотической птицы на ветвях. И только я об этом подумал, как прилетела большая чёрная ворона и застыла, как нарисованная, на длинной горизонтальной ветке. Это, конечно, не райская птичка и не какой-нибудь пёстрый попугайчик, но всё-таки...

А еще весной во время разведподготовки забрели мы в лес, где нам дали немного времени на привал. Мы прокалывали остриём штык-ножей березовую кору, вставляли в нее тоненькие соломинки или веточки, и по ним во фляги стекал терпкий, освежающий сок. Небо синело меж редкими белоснежными облаками, в лесу пахло хвоей и влагой, и было радостное предчувствие скорого прощания с учебкой. Эти два, казалось бы, ничего не значащих эпизода на всю жизнь остались у меня в памяти и всегда навевали добрые, теплые воспоминания о Еланских лагерях.

Последние штрихи

А потом были экзамены. На открытой, по-весеннему влажной местности стояли походные палатки, в каждой из которой и вокруг них сдавали тот или иной предмет по экзаменационным билетам. Тут и там курсанты бегали зигзагами, ползали, громко подавали разные команды, разбирали и собирали оружие и т.п. Не помню уже, что мне попало в билетах, но сдал я всё на «отлично»

Между делом подсмотрел интересную сцену. Выпало одному курсанту закладывать противопехотную мину. Ну, он как положено, с трёх сторон надрезал лопаткой дёрн, откинул его, вырыл ямку, убрав вынутый из неё грунт на брезентовую палатку, заложил мину, а ямка оказалась мелковатой. Накинул курсант

на неё дёрн, а тот топорщится, выдавая закладку. Экзаменатор на несколько секунд отлучился куда-то, и курсант, пользуясь случаем, решил побыстрее исправить свою оплошность. Он притоптал мину сначала одной ногой, потом другой, а затем стал прыгать по ней обеими ногами, ввергнув в крайнее удивление и возмущение вернувшегося в этот момент сапёрного офицера.

Так закончилось наше обучение в Еланских лагерях. Мы пережили холодную и трудную зиму, получив сержантские звания, и теперь должны были отправиться за границу, о чём многие мечтали. Правда, учитель танцев сошёл с ума, и его отправили в Свердловск в психиатрическую больницу.

Перед отправкой в Германию, в ночь на первое мая понадобилась охрана стоявшего на станции товарного поезда, и её выделили из нашей роты. Охраняли поезд мы с Апанасенко, вооружённые автоматами без патронов. За нами приехали часов в девять, привезли завтрак, который мы уплетали в кузове машины во время возвращения в часть. Тогда в первый раз солдатам выдали по два варёных яйца. Раньше в армейском рационе этого продукта не было вообще. И вот приказ Министерства обороны: в выходные и праздничные дни каждому солдату на завтрак выдавать по два яйца. Они оказались проварены до синевы, но всё равно были почти лакомством.

Когда мы пришли в расположение роты, там царил что-то похожее на погром. Все парадки, фуражки, ботинки в каптёрке были разобраны. Нашего с Апанасенко парадного обмундирования и след простыл, пришлось одеваться в то, что осталось. А оно, конечно же, было не по размеру.

Затем всех нас сосредоточили в солдатском клубе – там мы и ожидали отправки. Из сержантского состава роты прощаться пришёл только Петров. Говорят, при выпуске предыдущего курса штатные сержанты и вовсе ночью спали, закрытые дежурным на замок в оружейной комнате. Поэтому появление Петрова всех удивило. Но он чувствовал себя совершенно спокойно и уверенно. Посмотрев на меня, сочувственно спросил:

– Что, обобрали постовых?

– Что осталось, – ответил я, окидывая себя взглядом.

Он молча снял с меня мятую и великоватую фуражку и надел мне на голову свою, уже приготовленную на демобилизацию, с начищенной до блеска латунной кокардой, какие были только у дембелей. Фуражка оказалась мне впору.

– Ну, давайте, ни пуха,.. – сказал Петров, пожав руки всем стоявшим поблизости новоявленным сержантам, и ушёл, неся в руках, взятый у меня головной убор, который надеть на себя он, конечно же, не мог.

Это был, можно сказать, последний штрих к нашей еланской эпопее. Вскоре мы уже летели в Германскую Демократическую Республику.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На немецкой земле Весна в Германии

Не помню уже, как мы летели в Германию, но в итоге оказались на пересылочном пункте во Франкфурте-на-Одере. Там наступила настоящая весна, и можно было порадоваться яркому солнцу, снять шинель, полной грудью вдохнуть еще прохладный, пахнущий свежей зеленью воздух. Впрочем, от пересылочного пункта в памяти осталось лишь это весеннее настроение, лес вокруг, ощущение радости от осознания того, что позади самый трудный период службы, и ожидание чего-то нового. Но ко всему этому примешивалась и смутная тревога. Перед отправкой нам советовали в подобных пересылочных пунктах не отходить далеко от своих, поскольку старослужащие, специально подстерегающие отбившихся, «производят с вновь прибывшими неравноценный обмен обмундированием», а заодно отнимают деньги, часы, словом, все, что может пригодиться казенному человеку, не отягощенному личным имуществом. И мне довелось увидеть двоих пострадавших молодых сержантов, утративших бдительность и отлучившихся по нужде.

Впрочем, недолгое пребывание на пересылочном пункте во Франкфурте-на-Одере ознаменовалось одним полезным событием. В ожидании отправки мы бессмысленно слонялись по небольшой территории, где помимо нас было много сержантов и рядовых из других учебок. И вот, неторопливо прогуливаясь взад-вперед и оглядывая уже наскучившие окрестности, я вдруг обернулся на прошедшего мимо долговязого сержанта и увидел, что он тоже оглянулся. Словом, почти как в популярной песне, он оглянулся посмотреть, не оглянулся ли я, чтоб посмотреть,

не оглянулся ли он. Мы оба остановились, и я понял, что именно привлекло меня в нем. Его новенькая парадная форма была явно мала ему, словно он из нее уже вырос – в плечах тесновата, рукава и брюки коротки. Я прикинул: это явно мой размер.

– Ну, что? – спросил он. – Меняемся?

– Меняемся! – ответил я, на всякий случай внимательно осматривая его одежду.

Заговорщески оглядевшись по сторонам, мы быстро завернули за угол серого одноэтажного строения, возле которого начинался лес, и, так же, не сговариваясь, быстро раздеваясь и одеваясь, обменялись одеждой, после чего торопливо и пристально осмотрели сначала каждый себя, а потом друг друга.

– Как по тебе шита! – похвалил сержант, раскладывая по новым карманам вытащенные из прежней одежды вещи.

– Тебе тоже нормально, – ответил я, укладывая свои документы и всякую карманную мелочь.

– Ну, держи, – сержант протянул ладонь.

– Бывай, – я коротко пожал протянутую руку, и мы, довольные обменом, пошли в разные стороны.

Из поездки к новому месту службы запомнился также железнодорожный вокзал в Лейпциге, где можно было, наконец, безопасно сходить в цивилизный туалет, но он оказался платным, что для нас, провинциальных советских парней, было удивительным и смешным. По этому поводу тут же посыпались остроумные и не очень шутки и прибаутки. Какой-то штатский немец, видя, как маются советские солдаты, дал нам монетку, благодаря которой, не защелкивая дверь на замок, мы смогли решить свои проблемы.

Гарнизон

Наконец поздним вечером мы оказались в военном гарнизоне, расположенном в небольшом городке в южной части Германии. Оказалось, что не для всех это был последний пункт назначения. А ехать дальше так не хотелось, дороги уже порядком утомили. И мне повезло: вместе с ещё четырьмя ребятами из нашего учебного взвода ехать дальше мне не пришлось. Меня, Гену Свирина, Виталию Ряскина, Вову Панченко и Мирона Грыцюка распределили в отдельную мотострелковую роту танкового полка, который был самой крупной частью здешнего гарнизона.

на. Помимо него здесь были также отдельные роты, батальоны, батареи и какие-то интендантские службы. А главное, здесь же располагался штаб дивизии, что требовало особой дисциплины и порядка в подразделениях. В осенне-зимний период солдаты в гарнизоне ходили не в хлопчатобумажном обмундировании желто-зелёных оттенков, а в полушерстяном, тёмно-серого цвета. Его ткань была плотнее, теплее, чем «хэбэшка», и форма из него смотрелась как-то солиднее.

Вообще гарнизон представлял собой целый посёлок. В нём на обширной, окружённой каменной стеной территории, помимо казарм, парка боевой техники и складов, находились также дома офицерского состава, столовая, кафе, солдатский клуб, гарнизонный дом офицеров, несколько магазинов, небольшой стадион, огневой городок, караульное помещение, штабы, баня и старое кладбище. Интересно, что казармы для солдат, как и многие другие двухэтажные строения, сохранились ещё с тех пор, как на этом месте стояла танковая дивизия СС «Мёртвая голова».

Вся территория гарнизона была с немецкой тщательностью и аккуратностью выложена небольшим серым камнем, уже отшлифованным временем. Всюду было много зелени. Словом, место для жизни и службы – замечательное, и я всегда с лёгким чувством ностальгии вспоминаю этот военный городок. С одной стороны гарнизон соприкасался с немецким городом, с другой – его очерчивала железнодорожная ветка с тянущейся вдоль неё посадкой, возле которой находилась вертолётная площадка, а с третьей – смешанный лес.

О немецких лесах стоит сказать особо. Они не такие бескрайние и дремучие, как наша тайга. В них нет буреломов, непролазных зарослей и непроходимых болот. Большинство этих лесов можно пересечь минут за двадцать. Но есть в них своё очарование, создаваемое ощущением какой-то ухоженности, смешением запахов хвои, листвы, малины, ежевики и грибов. Местами встречались целые заросли черники. Однажды мне довелось увидеть там дикого кабана. Тогда из другой части ушёл солдат с оружием, и нас бросили на прочёсывание леса. Сначала все шли цепью, потом устали, расслабились, цепь распалась на небольшие группы. Мы шли со Свириным и Святкиным, забросив автоматы за спины. Как вдруг, видимо испуганный другой группой прочёсывающих лес, из кустов выскочил

огромный рыжий клыкастый кабан, нёсшийся прямо на нас. Хвататься за автоматы было уже поздно, и мы, не сговариваясь, хором заорали что было сил, замахали руками, затопали ногами, и кабан в последний момент метнулся в сторону, пробежав в каких-нибудь трёх метрах от нас. Сбежавшего солдата мы не нашли. Его уже в одном из ближних городов обнаружили немцы, вызвавшие наших военных. Солдат, засев в газетном киоске, начал отстреливаться. И не желавшие рисковать своими людьми, военачальники пустили в ход танк. Беглец погиб. Другой же солдат, бежавший из части без оружия, благополучно добрался до Польши и уже там был задержан в женской одежде, снятой с верёвки для сушения белья. А от наших еланцев из соседнего полка я как-то узнал, что парень из Авдеевки, дважды убегавший из учебки, задумал во время учений смыться в ФРГ, да ещё и прямо на боевой машине, для чего стал подготавливать свой экипаж, мол, за БМП хорошо заплатят и жизнь на Западе будет чудесной. Об этом узнали наши ребята, надавали ему тумачков, пообещали не спускать с него глаз и в случае чего расстрелять его машину боевыми снарядами. После этого побег не состоялся.

Кино и вагоны

В один из первых дней после прибытия из учебки ротный с группой солдат отправил меня на расположенную возле гарнизона разгрузочную железнодорожную платформу, чтобы мы выкатили за нашу территорию пустые вагоны.

Солдаты упёрлись в последний вагон сцепки, а я стал командовать:

— И р-раз! И два! И три!

Бойцы старались изо всех сил, а вагоны не сдвигались и на сантиметр. Тогда я присоединился к толкающим, продолжая давать команды, и, упираясь ногами в землю, напрягся, что было сил. Толкали мы, толкали, я уже выдохся, что называется, да всё без толку.

Что делать будем? — отчаявшись, спросил я.

— Надо за помощью посылать, — ответил один из старослужащих.

Отправили бойца к дежурному по роте, а тот застрял где-то — нет его и нет!

День был ясный, майский. Солдаты лежали в траве за железной дорогой и грелись на солнце, а я ходил взад-вперёд вдоль

вагонов и, нервничая, поглядывал на тогда ещё не украденные у меня наручные часы.

Вдруг появился наш посыльный, один, без подмоги и ещё на бегу стал возбуждённо кричать:

– Через полчаса в клубе фильм будет – «Зорро»! Все наши идут!

Тут бойцы мои подскочили, толкнули вагон, и он легко и быстро покатился по рельсам.

– Извини, – сказал мне старослужащий Кубасов. – Здесь хорошо, а если в казарму вернёмся, там обязательно нам другую работу найдут. Не сердись, сержант. Веди нас лучше в кино, а то не успеем.

Наспех построившись, мы бегом направились в клуб. Правда, там вместо обещанного «Зорро» показали «Чапаева». На высказанное после фильма возмущение солдат завклубом ответил политически грамотно:

– А чем это наш Василий Иванович хуже какого-то зарубежного Зорро. Ещё неизвестно, кто кому навешает, если их вместе свести.

Но поскольку свести Зорро с нашим Василием Ивановичем по ряду причин невозможно, то вопрос этот так и остался открытым.

В казарме по поводу подмены фильма казах Садвакасов высказал глубокую, но довольно унылую мысль, суть которой выражалась в том, что куда ни пойдешь – кругом в этой жизни сплошное надувательство. Всюду тебя обязательно обманут самым последним образом.

– Не надо так пессимистически смотреть на жизнь, – посоветовал я ему. – В конце концов, в ней всегда есть что-нибудь хорошее...

– Например, пулемётчица Анка! – своеобразно поддержал меня Панченко. – Мне, между прочим, очень нравится!

И серьёзная философская тема была переведена в плоскость несколько скабрёзного солдатского юмора, что, впрочем, создало в казарме весёлое настроение.

Полигон

По приезду в роту из учебки, мы, вчерашние курсанты, вынуждены были выдержать экзамен ротного – капитана Давина

– на знание БМП. Как оказалось, ему нужен был старший полигонной команды, состоявшей из экипажей двух учебно-боевых машин. Если бы я заранее знал, зачем нас экзаменуют, то, может быть, сильно и не старался бы. Но мне довелось лучше других ответить на вопросы, и командир роты тут же, назначив меня штатным командиром одной из учебно-боевых машин, отправил на полигон. Впрочем, впоследствии я об этом не пожалел.

У танковых батальонов на полигоне находились учебно-боевые взводы под командованием офицеров и прапорщиков. У нас там офицеров не было, и мы чувствовали себя более свободными. Вообще-то наши машины входили во взвод лейтенанта Пойко, который то ли был нужнее в роте, чем на полигоне, то ли был очень необходим в штабе полка, где он, человек увлекавшийся живописью, постоянно оформлял какие-то стенды и плакаты. Командир второго экипажа был дембелем, которому оставались служить считанные месяцы, он готовился к отъезду домой и потому на полигоне появлялся от случая к случаю, да и, появившись, ничего там не делал.

Шесть наших кроватей в общей с танкистами одноэтажной казарме стояли особнячком, и, когда утром нервный прапорщик будил наших соседей, бегая в сапогах по их кроватям, нас это не касалось. Просыпались мы медленно и спокойно. Своей отдельной компанией шли в столовую на завтрак, а потом в боксы на обслуживание техники. Обслуживать после стрельб и вождений БМП намного легче, чем танк. Танкисты одну растянутую на земле гусеницу переворачивают едва ли ни вдсятером, а мы свою – вдвоём. Танкисты чистят ствол пушки по несколько человек, а у нас с банником управляется один член экипажа.

Мы работали рядом с танкистами, но приводили свою машину в порядок гораздо быстрее, а потому свободного времени у нас было предостаточно. По окончании работы, чтобы не маячить на глазах у полигонного начальства, мы сидели в машине. Кто-то любил вздремнуть часок-другой, а я, сидя в башне, в кресле оператора-наводчика, спавшего в десантном отделении, читал книги или занимался изучением французского. При этом я снимал один из тримплексов, обеспечивающих экипажу внешний обзор, вешал на край гильзосборника какую-нибудь ветошь для протирки приборов и уходил в мир науки и литературы. Если кто-то взбирался на броню БМП, машина немного

покачивалась, я смотрел, кто к нам лезет и если это оказывался какой-нибудь дежурный офицер, опускал книжку в гильзосборник, пинал выглядывавшие из левого десанта ноги оператора-наводчика и начинал протирать тримплекс. Водитель также всегда был на своём месте.

Впрочем, к нашей работе претензий ни у кого не было, хотя периодически в боксах ходили какие-то технические проверки. Единственной нашей проблемой долгое время было отсутствие лопаты и лома на одной из машин. Весь шанцевый инструмент крепился на внешней броне машины. Экипажи разных подразделений часто воровали его друг у друга, как, впрочем, и неприкосновенный запас консервов. Лопату с одной из наших машин тоже, видимо, когда-то спёрли, а может, потеряли на учениях. При проверках на полигоне отсутствие шанцевого инструмента обычно фиксировали, записывали замечание и придумывали какое-нибудь наказание. На том всё и заканчивалось. Ротный всё обещал и обещал прислать нам инструмент, но не присылал. Поэтому мы научились обходиться без него. Проверяющих офицеров обычно было двое, реже трое. Осмотр проходил в одном и том же порядке, проверяющие всегда шли с одной и той же стороны. Их обычно было двое, реже трое. Офицеры сначала осматривали машину снаружи, а потом лезли внутрь. Когда они оказывались внутри, мы перевешивали лопату и лом с осмотренной машины на ещё не осмотренную. И этого нашего жульничества никто не замечал.

Наши машины всегда были чистенькими, готовыми к стрельбе и вождению. Раз в несколько дней на полигон приезжала родная рота. Мы вместе со всеми стреляли и водили, а потом вновь обслуживали машины. На ученья мы выезжали вместе со всеми.

В случае серьёзной поломки учебно-боевую машину чинили чуть ли не всей ротой. Помнится, накануне учений, которые должны были начаться утром следующего дня, мы вернулись в часть. И по дороге у нашей второй боевой машины вдруг потёк масляный бак, причём с дальней стороны, куда так просто и не подобраться. В ремонтной роте за скорый ремонт не взялись, и мы с помощью самых опытных, а по сути, при участии всех механиков-водителей роты сначала раскрутили всё, что мешало извлечь масляный бак, а затем устранили течь, потратив на эту работу полночи. Позже какой-то техник-полковник скажет нам,

что мы не имели права так глубоко проникать в двигатель, потому что там всё секретное.

Охота

Полигон наш был дивизионным, и на нём ещё находились экипажи БМП из других полков. Между делом мы познакомились с одним из них. Как-то ночные стрельбы проходили параллельно у нас и у них. После стрельб, пока бойцы нашей роты собирали гильзы и готовились к отъезду, я подошёл к новым знакомцам спросить как дела. Их сержант поинтересовался у меня, охотились ли мы на своей боевой машине на диких коз, которых было много в той местности. Я сказал, что нет.

— Эх вы! — воскликнул сержант. — Это так здорово, подстрелить козу, а потом за полигоном в лесочке приготовить из неё шашлыки. Вот сейчас все разъедутся, приходи, мы возьмём тебя с собой.

Оказалось, для такого случая ребята понемногу припрятавали патроны во время стрельб, пока не набиралось хотя бы половина ленты.

Я заинтересовался. Когда все уехали, я, отправив своих ребят ставить машины в боксы, подошёл к нашим коллегам. Они сели по-походному, с открытыми люками. Я примостился на башне и поехал, придерживаясь за открытый люк оператора-наводчика. И тут началось такое сафари! БМП с зажжёнными фарами, покачиваясь на кочках и впадинах, шла по ночному полигону. Его гул пугал спящих животных, на что и был расчёт охотников. Вот метнулась в сторону разбуженная коза и, мелькнув в свете фар, исчезла в кустарнике. Башня машины повернулась в её сторону, но оператор уже потерял добычу из виду. Больше козы нам не попадались. Зато из норы, выскочил ошарашенный заяц и побежал в световом коридоре, не догадываясь уйти из него в сторону. Более того, заяц, кажется, целенаправленно бежал там, где светло, и потому постоянно был на виду. Тут заработал спаренный с пушкой башенный пулемёт. В его ленте оказалось много патронов с трассирующими пулями. БМП-1 ещё не имела стабилизатора орудия, поэтому из его вооружения стреляли с коротких остановок. А на ходу по не очень ровной местности пушка и спаренный пулемёт рисовали в воздухе углы и дуги, направляясь то в землю, то в небо. Начался

настоящий фейерверк отлетающих от грунта и разлетающихся во все стороны трассеров. Среди всего этого грохота, сопровождаемого импровизированной цветомузыкой, не чуя ног нёсся несчастный заяц. В конце концов он исчез, словно сквозь землю провалился, и на том охота закончилась.

– Не наш день сегодня, – сказал командир машины, вылезая наружу, после того как мы вернулись на исходную

– Надо из пушки попробовать – сказал я, стараясь делать наивное выражение лица, будто говорю всерьёз. Но, уловив в моём голосе издёвку, расстроенные неудачей, новые мои приятели послали меня куда подальше, и я, не рискуя их более раздражать, ушёл спать. Больше я с ними на охоту не ездил.

Надо сказать, зайцев в окрестностях полигона было несчётное количество. В нашей казарме танкисты даже держали в большой картонной коробке нескольких маленьких зайчат, которых в отсутствие солдат съели крысы, также во множестве водившиеся в той местности. А ещё был на полигоне не то трагический, не то комический случай, когда одного солдата кусал заяц, которого тот пытался поймать, загнав его в угол меж столовой и пристроенным к ней складом.

Ещё одним местным промыслом был сбор яблок в расположенных недалеко от полигона немецких садах. Все боксы и казармы пропитались запахом этих чудесных плодов. Немцы жаловались, но наше начальство ничего сделать не могло, да, кажется, и не очень пыталось.

Приёмник

На полигоне у живших с нами в одном помещении двух сержантов-танкистов был большой транзисторный приёмник, не то «Океан», не то «Меридиан», временно одолженный им их командиром взвода. Каждый вечер танкисты его слушали.

После очередных ночных стрельб нашей роты командир решил отозвать меня в часть.

Я как раз был избран ротным комсомольским секретарём вместо готовившегося к дембелю предыдущего.

– Едешь с нами, – сказал капитан Давин. – Комсомольский секретарь мне нужен в роте, тем более, что замполита нашего отправляют на два месяца на целину убирать урожай.

А у меня в нашей полигонной казарме осталась командирская сумка с конспектами и дневник. Я попросил у ротного разрешения сбегать за ними.

– Только быстро! – сказал командир. – Одна нога здесь, другая – там!

Я и помчался со всех ног. Наши соседи-танкисты уже спали. Стараясь не сильно стучать сапогами, я быстро прошёл к своей тумбочке, достал сумку, перебросил её ремешок через голову и направился к выходу. В этот момент из расположенной у входа кладовки показался заспанный дневальный.

– Уезжаете? – спросил он.

– Да, ротный отзывает, – ответил я и заторопился дальше.

– Счастливого! – крикнул мне вслед дневальный.

И я уехал в часть. Вернулся на полигон через неделю. Зная, что днём наши должны быть в боксе, направился прямо туда. Когда я общался со своим экипажем, шедший мимо танкист вдруг остановился, посмотрел на меня, вроде бы обрадованно, но как-то не по-доброму, потом развернулся и побежал обратно.

– Понимаешь, – сказал мне механик-водитель, – тут такое дело: в ночь, когда ты уехал, у танкистов пропал транзистор.

– И что?

– Ну, они подумали на тебя. А мы всей нашей командой клялись и божились, что ты не мог его взять.

– Только этого не хватало! – сказал я. – Ладно, пойду разбираться.

В пустой казарме меня уже ждали двое сержантов. Видимо, нашим ребятам удалось поколебать их уверенность в подозрениях относительно меня, и разговаривали они очень вежливо.

– Тут у нас ЧП произошло, – начал один из них.

– Я уже в курсе, – перебил я его. – И могу сказать только одно: я ваш транзистор не брал. Кражи – не по моей части. Думаю, это вся наша рота может подтвердить.

– Ну, может, помнишь, когда ты ночью перед отъездом заходил в казарму, транзистор работал или нет?

– Я торопился, поэтому не могу точно сказать, но, кажется, работал. Хотя он у вас играл каждый вечер, так что сейчас я могу и перепутать. Кстати, если кто-то знает, что я заходил, то, может, он видел, как я выходил? Когда ваш дневальный пожелал мне счастливого пути, он, наверное, видел, что при мне была только командирская сумка. А в неё ваш транзистор никаким

чудом не влезет. Или ему выгоднее, чтобы вы думали, что его взял я, иначе получается, что он впустил в казарму посторонних или проглядел, как они вошли и вышли?

Я вдруг разозлился на дневального. Почему он не сказал, что я был без приёмника? Может, для него действительно так лучше?

– А где был дневальный, когда ты уходил?

– Да из кладовки вышел, – не смолчал я.

– Ну, мы ему!..

Словом, ко мне претензий больше не было. Но сознание того, что меня, возможно, всё ещё подозревают, не давало покоя. Стал я как бы между делом на полигоне землякам и всем случайным знакомым рассказывать эту историю – вдруг кто-нибудь что-нибудь знает об этом. И действительно, двое молодых солдат, моих земляков знали, что транзистор этот ночью вытащили через окно. Сделали это по заказу одного старослужащего, которого все называли по какой-то странной, уже забытой мною кличке. Где этот приёмник сейчас, земляки мои не знали. Проблема была в том, что крутого парня, заказавшего кражу, все до смерти боялись, и поведавшие мне эту историю солдаты очень просили не ссылаться на них, говоря, что этот тип их просто пришибёт.

– Извини, – сказали они, но, если ты на нас сошлѐшься, мы просто откажемся от своих слов, иначе нам конец.

То бишь, доказательств никаких у меня не было, и если транзистор давно продали немцам, то моё свидетельство может выглядеть так, будто я решил оболгать другого, чтобы отвести подозрения от себя. Поэтому я, узнав, в какой казарме живёт заказчик кражи, решил в поздний час походить под окнами, послушать – вдруг транзистор там ещё звучит. Дни как раз стояли жаркие, окна в казармах, которые все были одноэтажными, всегда оставались открытыми, так что могло и повезти. После отбоя я долго бродил в темноте вдоль распахнутых окон, но всюду было тихо. Окончательно захотев спать, я разозлился: «Чего, собственно, я беспокоюсь? Приёмник я не брал, никто мне претензий больше не предъявляет. Если они по-прежнему подозревают меня, то это их личное дело. И вообще: кто прошляпил транзистор, тот пусть и ищет! Пусть эти сержанты берут своего дневального и вместе с ним ходят под окнами!». Решив так, я вернулся в казарму и уснул крепким безмятежным сном.

Самоволка

В период моей службы в учебно-боевом экипаже был ещё забавный случай с самоволкой. В канун учений наши машины отзывали с полигонов, чтобы они вместе со всеми могли выйти по тревоге и отправиться в запасной район. Поскольку учебно-боевые экипажи базировались на полигонах, в полку у них мест в боксах не было и они обычно стояли отдельно от других, на открытой площадке. В один из таких дней мы готовили машину к учениям и, как обычно, были сами по себе.

– Может, сходим в лес, посидим нашей командой у костра, поджарим картошечки, я уже раздобыл всё, что надо, – предложил мой оператор-наводчик Лесовой, открыв дверь десантного отделения, где на сидении стоял взятый в столовой котёл на десятирых, наполненный картошкой, и лежал кусок какого-то жира, завёрнутый в бумагу.

Предлагаешь сходить в самоволку? – откровенно спросил я.

– Ну, какая тут самоволка, лес сразу за оградой, уйдём метров на сто – только и всего. Ротный к нам уже навевывался, второй раз если и придёт, то нескоро. Посидим немного своей компанией, – уговаривал он.

– Ладно, – согласился я, – сходим на часок.

Мы закрыли машины, оглядевшись по сторонам, быстро перемахнули через каменный забор и углубились в лес. Там выбрали местечко поудобнее, развели костёр и стали готовить картошку.

– Ну, вот, – сказал Лесовой, помешивая ложкой содержимое котла, – кажется, уже готово!

Механик-водитель второго экипажа Паша Комаров начал, было, нарезать хлеб, остальные взяли ложки. Вдруг кусты зашуршали, и среди их ветвей замелькали фуражки с красными околышами, а у появившегося из-за куста первым офицера на рукаве мелькнула красная повязка.

– Патруль! – сказал я, и все подхватились с мест. Казалось, пропала наша картошечка. Но не таков был Лесовой, чтобы оставить какому-то патрулю, к тому же не из нашей части, целый котёл жареной картошки. Длинными рукавами надетой на нём рабочей телогрейки он выхватил котёл прямо из огня и, неся его как знамя, на вытянутых руках, побежал впереди всех, высоко

задирая ноги, чтобы не зацепиться за какой-нибудь сучок. Мы бросились за ним. Мчимся по лесу без оглядки: впереди Лесовой с парующим котлом, следом Комаров с ножом, а за ними я, ещё один механик-водитель и ещё один оператор-наводчик – все трое с ложками в правых руках. В таком порядке мы пробежали через большую поляну, где отдыхала группа немецких грибников – человек пять. Надо было видеть их изумлённые лица!

Пробежав ещё немного, мы остановились, огляделись и прислушались. Патруль, видимо, давно отстал, а может, спугнув нас и увидев, какого стрелка мы задали, вовсе не стал за нами гнаться. Расположившись вокруг большого пенька, заменившего нам стол, мы с удовольствием стали уплетать горячую жареную картошку. Вдруг меня разобрал смех. Остальные посмотрели с недоумением.

– Представляете, – сказал я, продолжая смеяться, – немцы, наверное, до сих пор гадают, что это было!

И все покатались со смеху. Вскоре меня в связи с избранием ротным комсомольским секретарём перевели командиром на одну из боевых машин, что всегда стояли в боксах и выезжали из них только на большие учения. С нашей полигонной командой мне пришлось распрощаться. Теперь я приезжал на полигон только вместе со всей ротой на вождение БМП или на стрельбы из его вооружения.

Регулировка

Весной в ГСВГ проводился марш колёсной техники. Поскольку наши машины были гусеничными, мы в таких маршах не участвовали. Из нашего отдельного подразделения обычно набирались солдаты и сержанты для регулирования колонн. В ротной каптёрке хранилась специальная регулировочная форма: чёрные кожаные куртки с большими белыми нарукавниками, белые каски, круглые нагрудники с красными отражателями и регулировочные жезлы. Каждому хотелось попасть в регулировщики, чтобы лишний раз выехать за пределы обнесённого забором гарнизона, постоять на дороге где-нибудь на природе или в городе, отвлекшись от повседневной службы. Многие немцы любили пообщаться с нашими регулировщиками, часто угощая их. В результате не каждый регулировщик был в состоянии

выполнить свою функцию. Помню, как возглавлявший одну из колонн майор сначала никак не мог на перекрёстке найти регулировщика, а когда наконец обнаружил его в траве у обочины, долго не мог добиться от него, в какую сторону двигаться колонне – тот всё время показывал разные направления.

Я однажды тоже решил побывать на регулировке. Мы ехали в кузове грузовика, и наш не очень трезвый по случаю выезда из части замполит Капытин выставлял регулировщиков на перекрёстках и развилках дорог, отмечая место высадки на карте. Мне не очень хотелось стоять на всеобщем обозрении посреди города и я попросил, чтобы меня высадили на природе. Замполит поставил меня в лесу на пересечении двух просёлочных дорог. Был погожий летний день. Я улёгся в траву и стал слушать пение птиц и шелест листвы в кронах деревьев. Услышав, гул подходящей колонны, я указал ведущему направление движения, и, когда она прошла, услышал, как кто-то зовёт меня. В кузове последней машины оказался Игорь Крапиков из нашего учебного взвода. Он радостно прыгал в кузове и махал руками. Я тоже был рад его видеть и долго махал ему вслед. Жаль только, что нельзя было поговорить. Потом проехало ещё две колонны. Одна из них подошла уже в сумерки и, пройдя мимо меня, остановилась метрах в двухстах на ночлег.

Вскоре стемнело. У меня во фляге закончилась вода, и очень хотелось пить. Я направился по просёлочной дороге в том направлении, где заночевала одна из колонн. Вскоре в темноте разглядел зеленоватые габаритные огни бронетранспортёра и услышал окрик часового: «Стой! Кто идёт?!».

– Свои, – ответил я, – Регулировщик.

– А тебя чего не забрали? – спросил часовой.

– Не знаю, видимо, утром заберут. Вода у вас найдётся? А то у меня закончилась.

– Сейчас, подожди.

Часовой позвал кого-то из колонны, после чего у меня взяли пустую флягу и вскоре вернули наполненной. Я возвратился на перекрёсток и на обочине дороги среди сосен устроился на ночлег. Хорошо, ночь была не холодной. На рассвете я проснулся оттого, что где-то совсем близко лаяли собаки и этот лай гулко разносился по всему лесу. «Бродячие», – подумал я и, углубившись в чащу, нашёл там увесистую палку. Положив её рядом с собой, я снова уснул, и мне приснился сон, будто за мной при-

ехал наш взводный, почему-то на БТРе. «Ты чего там сидишь? – спросил он. – Давай быстрее сюда» Я подхватился и быстро взобрался на бронетранспортёр. Когда я проснулся в очередной раз, солнце уже встало. Лес источал утреннюю свежесть и сочный запах трав и хвои. В кронах деревьев щебетали птицы. И было хорошо.

Я достал из вещмешка консервную банку с гречневой кашей и вдруг вспомнил, что у меня нет ножа. Как-то я не подумал, что он может пригодиться, да и взять его было бы негде. А штык-ножей, впрочем, как и другого оружия, на регулировку не давали. Я осмотрелся по сторонам и увидел, что на дороге тут и там валялись камни, и они были из кремния. Вспомнив, что древние люди делали себе кремниевые орудия труда и оружие, я занялся изготовлением неандертальского ножа. На большой камень под углом ставил второй, поменьше, величиной с ладони, и стучал по его краю третьим камнем, стараясь сделать острый скол. Вскоре мне это удалось. Затем, приставив острый край древнего орудия труда к поверхности консервной банки, я стал бить сверху по его обратной, тупой стороне увесистым камнем. Металл сначала просто прогибался, образуя глубокие вмятины, а потом всё же стал поддаваться. При этом кремниевое лезвие понемногу крошилось и частично попадало в кашу. Каменный нож пришлось ещё трижды затачивать по древнейшему методу.

Наконец удалось прорезать половину окружности крышки и, не став возиться дальше, я с нетерпением отогнул её. Сняв верхний слой с кремневыми крошками и позавтракав, я уселся на обочине и стал прислушиваться к шуму леса и поглядывать в ту сторону, откуда ждал машину, которая меня заберёт. Но её всё не было. Потом, прогуливаясь в тени деревьев вдоль дороги, я обнаружил целые заросли черники и стал собирать её в каску. Набрав с полкаски, снова сидел на обочине и лакомился ягодой.

Наконец с той стороны, откуда я ждал машину, послышался какой-то шум: там явно что-то ехало, но не автомобиль. Наконец на просёлочной дороге появилось трое мальчишек-велосипедистов лет по 10–12.

– Камрад! – окликнул меня один из них, проезжая мимо, и помахал мне рукой. Я помахал в ответ. Минут через пятнадцать они поехали обратно.

– Камрад! – позвал я и перевернул вверх дном открытую флягу. – Васер.

Мальчишки, подъехав и остановившись, переговорили между собой и собрались ехать дальше.

И нож, битте! – спохватился я и, взяв консервную банку, изобразил, будто открываю её.

Ещё минут через двадцать ребяташки вернулись, привезя с собой воду, бутылку немецкого розового лимонада «Браузе», яблоки и нож. Оказывается, где-то рядом, за лесом, была немецкая деревня. Я открыл обе остававшихся в моём сухпайке консервные банки, распечатал пачку галет, разложил всё это и то, что привези ребята на кочке недалеко от дороги и предложил мальчишкам поесть со мной. Они охотно согласились, и с удовольствием отведали солдатской каши. Ребята примеряли мою каску, рассматривали армейские значки, а потом уехали, и я снова остался один. Меня не пугала перспектива провести ещё одну ночь в лесу. Я даже подумал, что если бы у меня с собой было больше еды, то я согласился бы прожить там денька три. Но тут наконец появился крытый тентом грузовичок, из которого выскочил наш ротный замполит:

– Заждался? – виновато улыбаясь и сдвигая фуражку на затылок, спросил он. – Собирайся! Поехали!

Мне было собратсья, как говорится, только подпоясаться.

– Не там я на карте обозначил, – суетливо объяснял замполит, пока я шёл к машине. – Не той стороной карту повернул – и не там обозначил.

Я забросил вещмешок в кузов и полез вслед за ним.

– Но тебе повезло, что у меня зрительная память хорошая, – продолжал замполит, подталкивая меня снизу. – Другой тебя ещё три дня искал бы...

Терёхин

В те же дни, когда мы из учебки приехали в гарнизон, в нашу роту прибыли ещё двое сержантов из соседней учебной части: Миров Саша и Терёхин Вася. Второй из них оказался крайне невезучим парнем, с ним всё время что-нибудь приключалось.

Не везло ему примерно, как и нашему ротному замполиту, старшему лейтенанту Капытину, с которым тоже всё время происходили разные неприятности. Его ужасно не любил командир

полка, который мог запросто подозвать Капытина и за какую-то провинность, широко размахнувшись, хлопнуть сверху широ- ченной ладонью по голове так, что у того фуражка наезжала на самые уши. И замполит так боялся командира полка, что, когда тот однажды вошёл в казарму, побежал по коридору, выпрыг- нул в окно и надолго убежал куда глаза глядят. Так вот, в довер- шение ко всем неприятностям Василия невзлюбил его этот наш замполит, примерно так же, как его самого командир полка.

Как-то вернулись мы с учений, машины уже в бокс поста- вили. Вася и говорит:

– Пойдём, покажу, как мы на учениях фальшборт помяли.

БМП в боксе стояли в два ряда, и мы шли, протискиваясь между ними. В одном месте машины стояли над ямой техни- ческого обслуживания, и Борис, увлечённый рассказом о своём приключении и всё время оглядывавшийся на меня, про эту яму просто забыл. Я едва успел открыть рот, чтобы крикнуть «Осто- рожно!», а Василий уже звучно рухнул на бетон. Я бросился к краю ямы, кричу:

– Вася, ты живой?! Давай руку!

Стал я помогать ему выбраться наружу. Он вылезает из ямы, лицо перекошено болезненной гримасой – видно, здорово ушибся. А замполит уже тут как тут:

– Терёхин! Какого рожна ты в яму залез?! Делать больше не хрен?!

– Так точно! – превозмогая боль, отвечает Василий. – Мне когда делать не хрен, я всегда в яму лезу.

– Поболтай мне ещё! – злится замполит. – Умник! Сейчас наряд заработаешь!

Впрочем, Василию не везло не только в части, но и всюду, куда бы мы ни отправились.

Были мы на каких-то сборах, проходивших на местности, уставленной большими и малыми палатками. В одной большой палатке расположилась столовая. Борис заступил в наряд де- журным по ней. Вечером уже после ужина мы с Ряскиным и Сви- риным решили его навестить. В палатке двое солдат застилали скатёркой стол, что было nonsensом для солдатской столовой.

– Тут ещё какого-то подполковника надо покормить, – объ- яснил Вася.

А это не он идёт? – спросил Свирин, глядя в дверной проём палатки.

Вася тоже посмотрел:

– Подполковника обслужит лично дежурный по столовой! – с утрированно значимым видом сказал он и выбежал через другой вход. Через считанные секунды он появился с алюминиевым подносом, на котором стояла тарелочка с поджаристой парующей картошечкой, красовались солёные огурчики, помидорчики, тарелочка с аккуратненькой такой маринованной селёдочкой и чайное блюдечко с тонко нарезанным чёрным и белым хлебом.

Вася, изображая смешно вихляющегося официанта, нёс поднос, как ребёнок, управляющий зажатым в руке игрушечным самолётиком. Мы направились, было, к выходу, чтобы «не искушать себя без нужды» видом приятного ужина. Но в тот момент, когда Василий хотел уже поставить поднос на стол, жирная селёдка соскользнула с тарелки и шмякнулась на земляной пол. Мы остановились у выхода. «Официант» хотел поднять рыбу, но в дверном проёме уже появился чёрный на светлом фоне силуэт подполковника, и Вася на ходу не придумал ничего лучше, как пнуть селёдку ногой, и она, залетев под соседний стол, притаилась там, тускло поблёскивая мутноватым глазом в сете свисающих с потолка электроламп.

– Ну что, дежурный, готово? – подходя, спросил подполковник.

– Так точно! – чётко и громко произнёс Василий.

– А где селёдочка? – с удивлением в голосе спросил офицер, усаживаясь за стол.

Терёхин молчал.

– Где селёдка?! – вновь недоумённо спросил подполковник, приподнимаясь из-за стола.

Вася сделал руки по швам, вытянулся стрункой, насколько это было возможно при его коренастой фигуре, и, набрав полную грудь воздуха, выпалил:

– Не могу знать!

– Ого! – поразился подполковник. – Откуда у вас здесь такие старорежимные штучки?

В это время солдат из кухонного наряда уже спешил с тарелкой, на которой странно выгнув хвост лежала сестрица селёдки, почивавшей под столом. Впрочем, и та не пропала даром, ведь в советской армии никогда не пропадало ничего из того, что можно было съесть.

Но самая большая неприятность произошла у Василия на командирских стрельбах из вооружения БМП. На первых таких машинах стояло гладкоствольное орудие «Гром», стрелявшее реактивными снарядами, похожими на заряды РПГ. Сначала выстреливал стартовый заряд, выбрасывавший снаряд из ствола, а потом включался маршевый – реактивный двигатель. Так вот во время Васиной стрельбы что-то произошло со снарядом или с клин-затвором. Клин-затвор почему-то отлетел, ударив в зарядный механизм, и из пушки в башню БМП вырвался поток горячих газов. Тут ещё Васе не повезло, поскольку он был левой и целился левым глазом, отчего правая сторона лица его не закрывалась прицелом и находилось близко к орудию. Ему, к счастью не сильно, обожгло правую половину лица. Зато повезло в том, что он не задраил люк поворотом ручки, а лишь прикрыл его. Во время взрыва люк откинуло вверх так, что он застопорился в открытом положении. Если бы не это, никто не знает, каким было бы давление в башне в момент взрыва, и чем это закончилось бы для Василия.

Словом, когда это всё произошло, все, кто стоял на исходной позиции и на вышке наблюдения, увидели, как из орудия вылетело почему-то два светящихся объекта, один из которых ударил в землю перед БМП, а другой пролетел чуть дальше. В то же время в машине распахнулся люк, и из него пошёл белый дым. Я, Мирон, Свирин и Ряскин помчались к машине. Тут же в числе первых бежал и наш замполит.

– Терёхин! Терёхин! – на бегу взволнованно звал он.

И едва мы добежали до БМП, как из люка высунулась всклокоченная голова Василия со слезящимися глазами на красном, местами закопчённом лице и срывающимся голосом запела:

– Врагу не сдаётся отважный «Варяг»!..

– Терёхин!!! – в отчаянии закричал замполит, и в этом крике было столько разных эмоций, слившихся воедино.

Гауптвахта

В связи с Васиными забавными историями невольно вспомнился мне и случай, произошедший у меня во время занятий по плаванию на БМП через Эльбу. Плавали мы там только на машинах. У ротного я, было, спросил, почему мы без машины плавать не учимся, я, мол, плаваю не очень, так что, если моя машина утонет, в одежде могу и не выплыть.

– Ну и хорошо, – успокоил меня ротный. – Если такая машина утонет, командиру лучше не выплывать.

Тренировались мы на одном БМП. Один экипаж учится преодолевать водную преграду, остальные ждут на берегу. Ну, у тех, кто на берегу, настроение, можно сказать, не военное. Сидят себе бойцы на песке да на травке, щурятся на солнце и на блестящую от него воду, смотрят, как чайки парят над Эльбой. Особенно благодатное настроение, когда ведущий занятия взводный плывёт, сидя на башне, и оттуда контролирует работу экипажа. И вот машина барахтается где-то на середине реки. Я неспешно гуляю вдоль берега у самой воды и отошёл уже не меньше чем на полсотни метров от своих, к самой автомобильной дороге.

Вдруг с этой дороги съехал военный УАЗ и направился ко мне. Из машины вышел огромного роста незнакомый полковник. В таких случаях полагается давать команду «Смирно!». Но экипажи наши далеко, и кричать на таком расстоянии как-то странно. Поэтому я отдал честь, представился и доложил, что взвод находится на занятиях по преодолению водной преграды.

– Где старший офицер? – спросил он?

– Плавает, – я кивком головы указал на маячившее вдали БМП.

– А без него, кто старший?

– Без него – я.

– А почему солдаты сидят? – грозно спросил полковник.

Тут я понял, что, кажется, дал маху.

– Встать! Смирно! – заорал я.

Экипажи встали.

– А теперь спрошу: почему они стоят?! – почти закричал полковник.

Я сообразил: он имеет в виду, что на занятиях солдаты должны ну хотя бы какие-нибудь инструкции или уставы изучать. Вообще-то при моём серьёзном отношении к службе у меня не было казусов в Васином стиле. Но тут в меня какой-то бес вселился.

– Всем лечь! – неистово заорал он моими голосовыми связками, и экипажи, хохоча, дружно повалились в песок.

– Очень хорошо, – сдержанно сказал полковник, – гипнотизирующе глядя на меня сверху вниз, как удав на кролика

– Трое суток ареста! Доложите своему командиру, когда он из плавания вернётся. А я проверю.

Полковник сел в машину, хлопнул дверцей и упылил вдаль. Когда я рассказал лейтенанту про это своё злосудное заключение, тот возмутился:

– Да пошёл он!.. Кто он такой?! Это вообще не наш полковник!

После обеда того же дня взводный вбежал в казарму с взволнованным видом.

– Слушай, этот полковник – проверяющий из штаба армии, сейчас он здесь, в штабе полка. Побежали скорей на гауптвахту, там у меня сегодня кореш начкар, найдём тебе место получше, да и работать тебе не придётся.

И мы с ним побежали на гауптвахту. Мне, действительно нашли сухую и тёплую камеру с солнечной стороны, и там я обосновался. Надо сказать, что не все камеры на гарнизонной гауптвахте были подобны той. Например, одна из них полуофициально называлась комнатой смеха. Там не было стекла в окне (только решётка), на полу всегда по щиколотки стояла вода, и не имелось ничего, на что можно было не только лечь, но и сесть. После двух-трёх суток в этом «карцере» солдат неизбежно отправлялся в госпиталь. На стене камеры кто-то из сидельцев чем-то (может быть ложкой) выцарапал крупную надпись: «Ха-ха-ха!». Отсюда и название «комната смеха». Это «весёлое» помещенье обнаружил приехавшая из штаба армии неожиданная проверка. Был страшный скандал.

На работу меня не выводили. Я лежал на откидной полке в полной тишине. Сквозь решётку окна пробивались косые солнечные лучи и доносился шелест листвы. Мне стали вспоминаться какие-то добрые, теплые эпизоды из детства и юности. Вдруг вспомнилась девочка Лиза из нашего двора. Летним поздним вечером с крыши дома мы в бинокль смотрели на луну, и я рассказывал ей о космосе. Потом мы спустились по пожарной лестнице, заканчивавшейся довольно высоко над землёй. Я спрыгнул вниз, а она повисла на руках и попросила помочь ей. Я обхватил её за бёдра и, чтобы наверняка удержать, когда она разожмёт пальцы, крепче прижал к себе. Она была худенькая, но при этом довольно мягкая, и от неё приятно пахло. Я поднял глаза и встретился с её странным, необычным взглядом, словно это была не совсем Лиза. А потом мы сидели с ней в увитой

диким виноградом беседке и я целовал её тёплые пальцы и румянившееся лицо. Но писать ей из учебки почему-то не стал, хотя она и прислала мне пару писем. Когда я вернусь из армии, она уже выйдет замуж, родит двойню и будет вновь беременна. А там, на гауптвахте, мне больше всего вспоминалась ночная беседка, запах рыжеватых волос и блестящие в сумерках глаза. И было мне так спокойно и хорошо, что я потерял счёт времени и даже, кажется, задремал. Прошло, наверное, несколько часов до того, как я услышал звук отпираемого замка и в дверях появился начкар с довольно улыбающимся взводным.

– Да здравствует свобода! – звучно провозгласил тот. – Полковник уехал!

«Стрела»

Одно из грандиозных учений ГСВГ проходило в гористой местности на юго-западе ГДР. Было лето. Дни стояли замечательные. Колонна ехала в горы по узкой дороге, проходившей вдоль крутого склона горы, справа резко обрывавшегося вниз. Двигались медленно, поскольку грунтовка была неровной, БМП периодически потряхивало. Моему отделению придали зенитчика со «Стрелой», являвшейся подобием американского «Стингера». Выпущенная из этого ручного оружия ракета сама наводилась на самолёт по тепловому лучу от двигателя. «Стрела» тогда считалась секретной. Впрочем, у нас едва ли не всё оружие считалось секретным, даже то, о котором очень подробно писали иностранные военные журналы. Стрелкам ехать в закрытых десантных отделениях было душно, да и вокруг была такая красота! Поэтому они открыли верхние люки и ехали, наполовину высунувшись из них. Зенитчика угораздило положить свою «Стрелу» сверху на броню. И вот, когда стало уже темнеть, машину так сильно тряхнуло, что зенитчик выронил стрелу, и она, соскользнув с брони, покатилась куда-то вниз по крутому склону.

– Стойте! Стойте! Я «Стрелу» потерял! – испуганно закричал солдат. Однако сразу остановиться мы не могли, поскольку дорога была узкой, а за нами шло ещё много разной бронетехники.

Лишь проехав ещё метров сто и увидев некоторое расширение дороги, мы прижались к склону горы, давая возможность

себя объехать и, переждав всю колонну, стали потихоньку двигаться задом, поскольку развернуться было негде. К тому времени уже наполовину стемнело, и сверху разглядеть «Стрелу» на глубине метров двадцать было невозможно. Постарались точнее определить место, где она упала. Потом я с тремя солдатами, где на пятой точке опоры, а где и просто цепляясь за мелкие деревца и торчавшие из склона корни, спустились вниз. К счастью, место мы угадали точно, и наш гранатомётчик быстро наткнулся на потерянную установку. Зенитчик был просто счастлив.

– С тебя причитается! – крикнул я ему, запрыгивая в люк, и мы поехали догонять своих.

Уже полностью стемнело, и на одном из поворотов перед нами открылась грандиозная картина. Внизу, где, видимо, была обширная долина, на огромном пространстве горело бесчисленное множество огней. Одни из них застыли неподвижно, другие огненными ручейками ещё продолжали двигаться. Всё это была наша бронетанковая техника. Казалось, там, в межгорье, раскинулся огромный город, сверкающий ночными огнями. И эта мощь потрясала.

Дальше дорога пошла вниз. Поскольку она была одна и свернуть с неё было некуда, мы не заблудились в ночи и довольно быстро догнали свою роту, уже располагавшуюся на ночлег. Ротный к тому времени обнаружил нехватку одного БМП.

– Что стряслось? – спросил он, подходя к машине.

– Помогли вытащить застрявший БТР, – соврал я, не желая подставлять зенитчика.

Это выглядело правдоподобно, поскольку у БТРов проходимость хуже, чем у БМП, в гористой местности им было двигаться трудновато, и нам однажды пришлось тащить бронетранспортёр на буксире.

– Надо было доложить по связи, – сказал он. – Почему отключился?

Я ничего не ответил. Но он больше ничего и не спрашивал. На следующий день мы снова совершали какие-то манёвры, делали марш-броски. В результате одного из них уснувший в танке механик-водитель проехал сквозь частный кирпичный дом. Повезло, что в нём никого не оказалось. А вечером мы остановились на привал в живописном месте с видом на поросшую лиственным лесом гору, увенчанную белоснежным сказочным замком с башенками. Мы с еланцами развели костерок и реши-

ли вместе поужинать. Пока консервные банки грелись на огне, я взобрался на башню БМП и стал смотреть вдаль, на зелёную гору и на замок. Небо уже сделалось тёмно-синим, как зрелая слива, на нём заблестели первые звёзды, а в окошках, словно игрушечного, замка загорелся тёплый жёлтый свет. И это было завораживающее зрелище!

– Владимир Ильич, слазь с броневика, митинга не будет! – сострил вынырнувший из-за соседнего БМП Рякин. – Зато ужин уже готов.

Ядерный взрыв

Грандиозные учения проходили также на огромном полигоне у границы с Польшей. Это была равнинная территория, покрытая изъезженным бронетехникой мелким песком. Летом вслед за танками и БМП там поднимались такие тучи рыжей пыли, из-за которых порой за тридцать метров было уже ничего не видно. Однажды на учениях там имитировали ядерный взрыв. Как мне рассказывали, для того чтоб его произвести, на ящики со взрывчаткой укладывали доски, а на них ставили бочки с горючими материалами. Во время подрыва ящиков бочки подбрасывало ввысь, и там они взрывались, образуя характерный для атомного взрыва гриб. Это, действительно, выглядело устрашающе и в то же время интересно, как в фантастическом фильме.

Этот взрыв напомнил мне огромный красочный плакат, висевший в пионерлагере, где я отдыхал, на деревянном строении, в котором располагались пионерская и игровая комнаты. На плакате очень натуралистично был изображён огромный ядерный гриб, разрушающий крупный город. Помнится, этот взрыв и какие-то выжженные пустыни и развалины я часто потом видел в своих детских снах. В лагере с нами проводили учения по гражданской обороне. Мы занавешивали окна и двери одеялами, после чего забирались под кровати и лежали там лицами вниз.

После имитации атомного взрыва нашу роту бросили на помощь химикам и медикам, в общем, подразделениям, которые должны были ликвидировать последствия ядерной атаки. Мы приехали на место, но чем конкретно там заниматься, было непонятно.

– Подождём дальнейших указаний, – сказал капитан Давин по ротной связи.

Однако в жару сидеть в БМП было тяжело, и все стали открывать люки, а многие и выбираться наружу.

– Хорошо маячить без защиты на заражённой территории! – крикнул высунувшийся из люка ротный. – Наденьте хотя бы противогазы.

Однако, никто особо на это не отреагировал. Тогда капитан вылез из люка, встал во весь рост и закричал:

– Рота, слушай мою команду: «Газы!».

На этот раз отреагировали все. Из моей противогазовой сумки тут же вылетел и упал в песок первый том «Войны и мира». Через мгновение все уже были в резиновых масках. Ротный спрыгнул на землю и, посмотрев, как я отряхиваю от пыли томик Толстого, печально констатировал: «А у нас тут ни войны, ни мира».

Я отошёл в сторону от нашей колонны и стал смотреть на застывшие в некотором отдалении от нас отдельные танки, видимо, объявленные подбитыми, на санитарную машину, на большую армейскую палатку с красным крестом и на нестройно шествовавший куда-то взвод химиков в ОЗК. Тут ко мне подошёл Ряскин со стрелком Тарасенко и гранатомётчиком Фаитовым из его отделения, а затем появился Гена Свирин. Все вместе мы некоторое время наблюдали за происходящим. А потом Свирин сказал: «Пойдёмте посмотрим, что там дальше». И мы впятером направились в сторону «подбитых» танков.

Когда проходили мимо одного из них, увидели сидящего на башне старшего лейтенанта без противогаза и ОЗК. Он смотрел по сторонам и довольно щурился на солнце.

– Не пыли, пехота! – крикнул он нам. – И так дышать нечем!

Пройдя ещё какое-то расстояние и ничего интересного не обнаружив, мы направились обратно.

– Не пыли, пехота! Кому сказано?! – опять закричал сидевший на башне старлей.

– Чего он до нас докопался? – раздражённо сказал Ряскин, задрав кверху противогазовую маску. Все остановились и тоже сдвинули маски на лбы.

– Сидит на поражённой территории без противогаза и умничает! – поддержал Ряскина Свирин. – Может, его в сан-

часть оттащить? В конце концов, нас сюда направили медикам помогать!

– А нам потом кирдык не будет? – спросил Фаитов.

– Вообще-то мы в масках, – сказал я.

– Давайте сдадим его медикам! – довольно потирая свои широкие ладони, возбуждённо воскликнул Тарасенко.

Мы снова натянули противогазы на лица и, развернувшись, почти бегом направились к танку.

– Пехота! Заблудились, что ли?! – продолжал развлекать себя старший лейтенант. – Или потеряли кого?! Снимите противогазы, вдруг он среди вас! Или это вы уже без противогазов?

Поравнявшись с танком, мы с Ряскиным быстро запрыгнули на броню и, прежде чем старлей успел понять, что происходит, с двух сторон схватили его за руки и сдёрнули с башни.

– Вы поражены радиацией! Вам надо в госпиталь! – как можно громче закричал я, не будучи уверен, что меня внятно слышно сквозь противогаз.

– Э-э-э! – воскликнул офицер. – Пехота! Вы что обалдели?!

Он попытался вырваться, но Тарасенко, надёжно вцепившись старлею в ноги, уже стаскивал его с танка. Подключились и Свири́н с Фаитовым.

Офицер продолжал кричать, полностью перейдя на предположения, состоящие из одних матов. Мы впятером тащили его на руках, почти бегом, спотыкаясь и поднимая густую рыжую пыль вокруг себя. Наверное, эта сцена со стороны смотрелась дико. Во всяком случае, снявшие противогазы санитары у палатки смотрели на нас с изумлением. Дотащив старшего лейтенанта до санитарной машины, мы буквально вбросили его в неё и, захлопнув дверцу, побежали обратно. Кажется, офицер что-то кричал нам вслед или это кричал кто-то другой, но догнать нас было уже невозможно.

Изобретение ротного

На том же учении наш ротный решил испытать психологическое оружие, как он утверждал, собственного изобретения, с помощью которого собирался пугать танкистов. Суть изобретения была такова. Со ствола скручивалась находившаяся на его конце круглая втулка (компенсатор) и на её место накручивалась

напаянная на такую же втулку труба длиной сантиметров 25. В трубу опускался взрывпакет, после чего производился выстрел холостым патроном. Этим выстрелом взрывпакет на несколько десятков метров выбрасывало из трубы и воспламеняло его фитиль, то бишь, бикфордов шнур. Дальше всё зависело от длины этого шнура. Его ротный никак не мог отрегулировать: взрыв происходил то слишком рано, то слишком поздно. На одной из стоянок капитан и пытался устранить эту проблему.

А в нашу машину в тот раз napросился, чтобы поездить с мотострелковой ротой, мой комсомольский начальник – секретарь полковой организации ВЛКСМ старший лейтенант Лейко. На привале он сидел в башне на месте оператора-наводчика. Услышав грохот взрывпакетов и раздававшиеся возле БМП возбуждённые возгласы солдат, секретарь решил посмотреть, что там происходит. Он высунул голову из башни как раз в тот момент, когда стоявший рядом ротный поднял автомат над головой и произвёл очередной испытательный выстрел из своего чудо-оружия. На этот раз шнур оказался слишком коротким, и взрывпакет разнесло прямо на вылете из ствола.

– О, чёрт! – втянув голову в плечи, воскликнул капитан.

И в это время откуда-то сверху донёсся возмущённый и в то же время какой-то жалобный голос:

– Ну, ты что, с ума сошёл?! Чуть голову мне не снёс!

Все подняли глаза и увидели на башне неизвестно откуда взявшегося негра, белые глаза которого ясно блестели на абсолютно чёрном лице. К счастью, лицо секретарю не обожгло, просто ветром на него снесло всю образовавшуюся при взрыве пороховую гарь.

И как часто бывает, когда смеяться неловко, хочется расхохотаться во всё горло и очень трудно сдержаться. Всех видевших это происшествие разобрал неудержимый смех. Многие провалились в люки своих БМП, и было видно, как от хохота экипажей и стрелков слегка покачивались на чувствительных рессорах эти бронированные боевые машины. Иные, кто уже выбрался наружу, просто попрятались за свою технику.

– Извини, – сказал ротный. – Опять не рассчитал.

Тут же, отвернувшись, он пошёл прочь, и со спины видно было, как словно в судорогах подрагивают его плечи.

Вообще, надо сказать, к штатным партийным и комсомольским работникам в армии относились с некоторой иронией и при случае любили упоминать, что маршал Жуков их терпеть не мог. Это не касалось избранных самими солдатами (не освобождённых) ротных секретарей, которым все сочувствовали.

Армейский комсомол

А сочувствовать было чему. Нередко, когда выдавалось свободное время и солдаты писали письма домой, приводили в порядок обмундирование или занимались другими своими делами, ротный секретарь оформлял стенгазету, походную наглядную агитацию или сочинял планы работы, протоколы комсомольских собраний и отчёты.

Как-то мне дали базовый, рекомендованный всем план ротных комсомольских мероприятий. Я посмотрел и обомлел: при нашей загруженности, постоянных занятиях, караулах, учениях месячный план можно выполнить разве что за полгода. Об этом я сказал комсомольскому секретарю полка. Тот стоял на своём:

– Все протоколы и отчёты должны быть!

– Ну, невозможно это успеть! – горячился я.

– Да тебя никто и не заставляет успевать! – злился на мою несообразительность секретарь. – Тебе говорят, что все документы должны быть! Понял?!

– Понял! – наконец сдался я и принялся за усиленное написание планов, протоколов и отчётов. Согласно им на собраниях наши бойцы, сами того не ведая, произносили пространственные речи в поддержку или против чего-нибудь, вступали в дискуссии, спорили, соглашались или высказывали веские контраргументы. Я увлёкся и писал протоколы как художественные произведения. Мне даже стал нравиться этот буйный полёт фантазии.

Вскоре наша ротная организация стала лучшей в полку и одной из лучших в дивизии. Справедливости ради надо сказать, что не только документация тому причиной. В нашей роте почти не было дедовщины. Ещё только приехав в гарнизон, мы с ребятами из Елани при поддержке чебаркульских сержантов решили, что никаких издевательств над молодыми у нас не будет, и строго за этим следили. Конечно, деды частенько сачковали за счёт молодых, но у нас старослужащие по ночам не ездили в

туалет верхом на салагах, не били их кусками телефонного кабеля, не мучили бессонницей, как случалось в других ротах, а потому и ЧП на этой почве не происходило. Это тоже сказывалось на показателях комсомольской работы.

Кроме того, у нас была отличной боевая подготовка. И не потому, что в нашей роте были суровые офицеры. Нет, я бы сказал, что офицеры у нас были довольно либеральными. Просто в коллективе сложился некий боевой дух, когда солдаты не считают себя кем-то вроде отбывающих срок. Нам говорили, что в случае столкновения с войсками НАТО, все мы рассчитаны на сутки боёв до подхода основных сил с территории СССР. И хотелось не погибнуть бездарно и бессмысленно, а если получится, то и вовсе не погибнуть. А для этого надо было быть всем вместе и уметь стрелять не хуже стоявших в семидесяти километрах от нас американских профессиональных солдат, прошедших через Вьетнам.

Ввели меня также в состав комитета комсомола полка. Иногда на его заседаниях нам откровенно рассказывали о преступлениях, совершаемых нашими солдатами на территории ГДР. Например, двое солдат ушли в самоволку и сидели в гаштетте (немецкая забегаловка). За соседним столиком ужинала пожилая супружеская пара. Когда они расплачивались, солдаты увидели у них в кошельке деньги, вышли следом и ограбили немецких пенсионеров.

Один парень с Кавказа служил в хозвзводе, выполнял функции кочегара. Там у него был свой уголок, стены которого он сплошь оклеил фотографиями голых женщин. В отличие от тех, кто служил в боевых подразделениях, свободного времени у него было много, и он, сидя в своём углу, предавался сексуальным мечтаниям. Однажды вечером он ушёл в самоволку, в городе напал на девушку, затащил её в тёмное место и стал насиловать. На крик девушки прибежал немецкий полицейский. Солдат сбил его с ног и бросился бежать. Полицейский выстрелил из пистолета и прострелил беглецу ногу. Пуля насквозь прошла мягкие ткани, и подстреленный солдат сумел убежать. Кое как залечив рану в кочегарке и перебинтовав её, он ходил, прихрамывая на одну ногу. В этом не было ничего особо подозрительного, поскольку в каждой роте были свои хромые – кто-то, неумело намотав портянку, стёр ногу сапогом, кто-то ушиб или подвернул стопу. Но после случая с нападением на девушку

и полицейского всех хромых в наших частях стали проверять и насильника изобличили.

Ещё двое наших парней, угнав из части грузовик, в деревне продавали бензин. К одному дому подошли, заглянули в окно и увидели, что там восемь мужчин за столом играют в карты. Солдаты постучали и через окно подали хозяину канистру бензина, объяснив, что продают только бензин, а саму канистру надо вернуть. Но немец то ли не понял этого, то ли сделал вид, что не понял, и канистру не возвращал. Солдаты ждали, ждали, а потом залезли в окно и избили всю компанию. До и после суда они пребывали на нашей гарнизонной гауптвахте. В один из этих дней я был разводящим по сектору, в который входила гауптвахта, и, когда менял часового, поглядел на них из любопытства. Ребята оказались небольшого росточка, но крепенькие с виду и, судя по манере разговаривать, довольно задиристые. Интересно, что настроение у них было весёлое, кажется, они чувствовали себя героями.

Немцы не стали добиваться выдачи хулиганов и согласились, чтобы дело рассматривал наш военный суд. Был организован показательный процесс в солдатском клубе с участием потерпевших и свидетелей. Не знаю, каким чудом эти солдаты избили восьмерых немцев, каждый из которых в среднем на голову выше их, но свидетельница, жившая в доме напротив, рассказала, что видела, как хозяин дома господин Дюбнер выпал из окна. Подобные подробности вызывали взрывы смеха в зале. Военный прокурор кричал и едва не разбил о стол свой деревянный молоток, но это мало помогло. Думаю, организаторы суда пожалели, что сделали его публичным, ибо желаемого воспитательного эффекта не получилось, скорее даже наоборот. В итоге парни получили по два года. Потерпевшие немцы сказали, что германский суд дал бы этим ребятам лет по шесть, но требовать пересмотра дела не стали.

А были преступления, дикие по своей жестокости и бессмысленности. Например, на стене, окаймлявшей один из гарнизонов ГСВГ, сидел солдат. Мимо шла беременная женщина. Как уж там получилось, что эта женщина вызвала вспышку злобы у солдата, я не знаю, но солдат, спрыгнув со стены, догнал её, сбил с ног и стал прыгать сапогами по её большому животу. Женщина выжила, а ребёнок – нет.

О таких преступлениях старались не распространяться ни наша, ни немецкая стороны. Конечно, в семье не без урода, но как такие типы попадали в спецнабор, идущий за границу, было непонятно. А впрочем, чужая душа – потёмки. Нам, конечно, всё это рассказывали не для широкой огласки, а для того чтобы мы работали со своими комсомольцами, не допуская совершенных ими преступлений, подрывающих престиж нашей армии.

Полковая комсомольская организация поддерживала дружеские отношения с Союзом свободной немецкой молодёжи, который наградил меня за укрепления связи между нашими молодёжными организациями похожим на медаль нагрудным знаком, на лицевой стороне которого был герб ГДР, а на обратной надпись на немецком: «Социализм работает, учится, живёт». Однажды я с Мировым, ещё несколькими сержантами, комсомольскими активистами, и с секретарём полкового комитета комсомола старшим лейтенантом Лейко побывал даже на праздничном вечере в немецком нефтяном техникуме. По этому случаю мы, конечно, нагладили парадки, начистили ботинки, ременные пряжки и кокарды, надели все свои нагрудные знаки, самым красивым среди которых был знак «Гвардия». С этими знаками вышла такая оказия. Прибывавшим в роту солдатам и сержантам в военном билете делали отметки о том, что они награждены нагрудными знаками «Гвардия», а сам знак не давали. Зато солдаты, работавшие при штабах, и некоторые прапорщики продавали их в гарнизоне налево и направо, причём, недёшево. А если учесть, что в ГСВГ денежные переводы из Союза были запрещены, то у каждого были только те деньги, которые ему платила армия – примерно от 15 до 30 демократических марок. Однажды пришёл в нашу роту заместитель командира полка и построил всех, решив провести воспитательную работу, не помню уже по какому поводу. Он задался вопросом, почему гвардейцы не носят свои нагрудные знаки. Никак не хотел верить, что мы их не получали, тыкал нас носом в записи, сделанные в военных билетах. А потом сказал:

– Ладно, я лично каждому выдам по знаку, но попробуйте их не носить.

На следующий день он пришёл в роту с полными карманами «Гвардий», вновь построил нас и лично каждому вручил нагрудный знак, который теперь был для нас особенно ценным. Правда, у меня перед демобилизацией его украли, что, в общем-

то, случалось нередко со многими, и Мирю с Ряскиным где-то раздобыли мне новый.

В немецкий техникум нас привезли на машине. Вышедшая встречать гостей молодящаяся немка, видимо, директор училища, с ярко выкрашенными волосами и в белоснежных брюках, едва мы вылезли из автомобиля, встретила нас лущезарной улыбкой и неожиданным приветствием: «До свидания!». Женщина от волнения перепутала русские слова.

Приехали мы, как оказалось, раньше времени. Помнится, на совместный с немецкими комсомольцами субботник мы пришли строем и с песней, когда немцы уже завершили работу, поскольку долго не могли найти прапорщика, у которого был ключ от склада, где хранились мётлы и лопаты. Зато на праздник приехали почти за час до назначенного времени. Нас, сержантов, посадили за стол в зале, где должно было проходить торжество. Мимо порхали нарядные студентки, накрывавшие столы.

— Жаль, что мы толком не знаем немецкого, — сетовал командир танка Мезанинов. — Ничего кроме «хэндэ хох» девушкам сказать не сможем.

— Не переживай, — перебил его Мирю, — у меня в школе по немецкому пятёрка была.

В это время на сцену вышел молодой человек, проверил звучание микрофона, просчитав до трёх, сказал несколько фраз. Мы, естественно, полубопытствовали у Мирю, о чём речь. Но его знаний языка хватило только для того, чтобы перевести «ай, цвай, драй», и стало ясно, что переводчика у нас нет.

Тем не менее, мы быстро освоились и стали приглашать девушек на танцы. Я дважды танцевал с хорошенькой белокурой немочкой, но едва мы с ней стали друг другу улыбаться и кое как общаться, подошёл Лейко и сказал:

— Так, Андреев, собирай наших и поезжайте в казарму — вам пора.

Вот так-то: всяк сверчок знай свой шесток. А праздник, кажется, ещё не достиг апогея. Стол наш был буквально уставлен блюдами с пирожками, бутербродами и прочими яствами, и немцы всё это собрали, аккуратно завернули и дали нам с собой. Вернувшись в часть после отбоя, мы угостили наряд по роте и всех, кто ещё не уснул.

Поддерживали дружеские отношения и с национальной немецкой армией. Однажды ездили на совместные спортивные

соревнования, проходившие на стадионе какого-то небольшого городка. Выступили неплохо, даже получили в награду большие значки в форме звёзд. А ещё немцы каждого угостили бутылкой своего пива, которое в Союзе, по крайней мере, в провинции, было недоступно. Наверное, это был единственный за всю армию случай, когда я пил спиртное. И хотя некоторые ребята иногда по случаю дня рождения доставали бутылочку шнапса, чтобы угостить друзей, я никогда не испытывал желания его отведать. А Гена Свиринов однажды из-за нетрезвого состояния даже на гауптвахту угодил. Впрочем, это, кажется, был единственный подобный случай в нашей роте.

После спортивных соревнований мы пили пиво и общались с местными жителями. Давали мальчишкам подержать в руках автоматы, и они были в восторге. Доброжелательно относились к нам и другие немцы. И лишь один, навсегда оставшийся в моей памяти пожилой человек стоял и смотрел на нас с такой нескрываемой злобой и ненавистью, что, кажется, готов был убить каждого из нас.

В конце службы я получил от немцев красивый нагрудный знак с изображением золотистого на красном фоне профиля солдата в сильно удлинённой сзади ГДРовской каске (кого награждать, конечно, решали в нашем штабе или политотделе). На пересылочном пункте перед отлётом в Союз я этот знак потерял, а может, его у меня украли. Сохранилось лишь удостоверение к нему.

Если же говорить об отношении командования части к комсомолу, то достаточно вспомнить один эпизод, когда пьяный прапорщик дебоширил в гаштедте. Командир полка, разумеется, устроил ему моральную экзекуцию в своём стиле, со снятием кителя, отрыванием от него погон самим провинившимся и т.п.

— Мы его ещё и по комсомольской линии пропесочим как следует, — подговорился к командиру секретарь комсомольской организации полка.

— Так он ещё и комсомолец?! — воскликнул полковник.

— Так точно! — ответил Лейко.

Командир полка сделал длинную многозначительную паузу, после которой вынес резкое резюме:

— Так, значит, гнать его надо из этого сраного комсомола!

Пожарная команда

Как-то во время летних учений стояли мы, замаскировавшись в небольшой рощице возле большого хлебного поля. Мой механик-водитель Егор сидел на башне и глазел в бинокль, который был закреплён за мной и я его должен был всегда брать по тревоге.

– Горит! – вдруг закричал он. – Комбайн горит!

Я тоже посмотрел. Похоже, горела попавшая внутрь комбайна стерня. Из трактора валил дым, и уже показались небольшие языки пламени. Комбайнёр метался вокруг.

– Сам не потушит, – резюмировал Егор. – Я знаю, я же комбайнёр.

По версии учений, мы были в засаде, и нельзя было демаскироваться.

– Надо у ротного спросить, – сказал я, угадав ход мысли механика-водителя.

– Пока мы будем его искать и спрашивать, комбайн сгорит, – не унимался Егор.

– Ладно, решил я. – Поехали!

БМП выкатилась из рощи и помчалась по уже убранной части поля. При этом её сильно трясло. Из башни высунулся заспанный оператор-наводчик:

– Атака, что ли?

Я отрицательно покачал головой:

– Пожар!

Машина остановилась метрах в двадцати от комбайна. Мы выскочили наружу и стали помогать комбайнёру выковыривать горящую стерню из уборочного агрегата. Языки пламени уже облизывали сам трактор. Пришлось пожертвовать своим огне-тушителем.

Когда закончили, я увидел, что позади нас стоит ещё одна БМП и рядом с ней – ротный, угрюмо взирающий на нашу работу.

– Потушили? – спросил он, будто сам не видел.

– А что, демаскировались? – вместо ответа спросил я.

– Ну, демаскировались, так демаскировались, – ответил он.

– Поехали обратно!

– А что нам за это будет? – спросил я, когда мы шли к машинам.

– Как начальство посмотрит. Могут похвалить, а могут и подзатыльников надавать.

Когда вернулись с учений, к нам в полк приехал военный корреспондент, старший лейтенант. Общаться с ним ротный отправил меня. Я и рассказал ему историю тушения пожара во всех подробностях.

– А механик чего в бинокль смотрел, по заданию или так, балду гонял? – полюбопытствовал он.

– Балду гонял, – откровенно признался я.

Вскоре в армейской газете вышла заметка о тушении комбайна, в которой всё было не так. По версии журналиста, я приказал механику вести наблюдение за полем на случай появления врага. Когда обнаружили пожар, я доложил об этом командиру роты и спросил разрешения приступить к тушению. Ротный организовал пожарную команду и во главе её выехал на тушение пожара.

Недели через две-три в карауле я разводил пост по самому дальнему сектору. У последнего поста проходила железная дорога, и по ней шёл поезд, в одном из открытых вагонов вёзший типографскую бумагу. Эта бумага почему-то загорелась. Я и сменившиеся постовые стали махать машинисту, чтобы он остановил состав, а потом, забросив за спину автоматы, залезли на вагон. Три сильно горящих рулона пришлось сбросить на землю, а два, только начинавших гореть, потушили на месте. После этого в часть снова приехал тот же старший лейтенант из армейской газеты. Он встретил меня обрадовано, как старого знакомого. Я снова ему всё в деталях пересказал.

– Не так, – резюмировал журналист, выслушав мой рассказ.

– Что не так? – не понял я.

– Не так всё было.

– А как?

– Ну какой дурак с оружием и боеприпасами лезет в огонь?! – возмутился он. – Вы сначала отдали свои автоматы и магазины одному оставшемуся внизу бойцу, а уже потом полезли на вагон. И огонь вы заметили ещё на девятом посту.

– Почему?

– Во-первых, потому что с этого поста хорошо просматривается железная дорога, а во-вторых, там есть телефон. Понимаешь?

– Кажется.

– Так вот сначала ты позвонил начкару и попросил разрешения приступить к тушению пожара...

Ещё через несколько недель, когда уже была ранняя осень, во время стрельб нашей роты от трассирующего патрона загорелась трава и огонь пошёл в сторону пункта боепитания. Мы всей ротой потушили его с помощью сапёрных лопаток.

– Иди в штаб полка, – сказал мне ротный через пару дней. – Там, кажется, опять твой друган из газеты приехал. Расскажешь ему, как траву тушили, у тебя это хорошо получается.

Он направил меня к замполиту полка, а тот сказал, что журналист ждёт меня в зале совещаний.

– Опять?! – с разочарованием в голосе воскликнул старлей, увидев меня. – Вы, наверное, сами поджигаете, а потом тушите, чтобы про вас в газетах писали!

– А что плохого в том, что про нас пишут в газетах? – обиделся я.

– А как ты думаешь, сколько можно писать про одну и ту же роту, которая тушит пожары? Вы же не пожарный расчёт!

Журналист был так убедителен, что я даже почувствовал себя виноватым:

– Так получается.

– Ладно, – выпустив пар, успокоился старлей, – рассказывай, как там всё было.

– Да вы, наверное, уже лучше меня знаете, – расстроился я.

– Конечно, знаю! – ответил он, раскрывая блокнот. – Мне нужны только имена, фамилии, должности и звания тех, кто отличился больше других...

Ещё один раз нам пришлось тушить пожар на малом стрельбище, которое находилось недалеко от части и куда мы ходили стрелять только когда, например, в преддверии заступления в караул, не было времени ехать на дальнее.

Из гарнизона мы шли туда по мощённой серым бесформенным камнем дороге среди густых лесопосадок. На полпути пересекали узкую, как во всей Германии, железнодорожную колею, в полусотне метров от которой среди шумящих кронами раскидистых деревьев стоял старый двухэтажный дом. Каждый раз, когда мы проходили мимо, на втором этаже распахивалось окно, из него высывалась пожилая женщина с выкрашенными в белый цвет редкими завитыми волосами и низким, хри-

плым, но при этом довольно громким голосом ругалась отборным русским матом с ярко выраженным немецким акцентом.

Наших солдат это веселило, и они, смеясь, отвечали ей в том же духе. Но последнее матерное слово всегда оставалось за женщиной, потому что она продолжала кричать нам вслед даже тогда, когда мы уже скрылись из виду.

Располагалось стрельбище в небольшом хвойном лесу и было протяжённостью в сотню метров. Там стреляли только из автоматов и пистолетов по небольшим бумажным мишеням, закреплённым на высокой и длинной кирпичной стене, не позволяющей пулям улетать в лес. Трассирующими пулями мы там не стреляли, и, отчего загорелись деревья, сказать трудно. Может, причиной тому были вовсе не мы. По молоденьким двух-трёхметровым елям и сосёнкам огонь, возникший метрах в ста от стрельбища, быстро пошёл в нашу сторону. Мы выломали маленькие, но пышные берёзки и осинки и стали ими сбивать наступавший огонь. Однако занятие это было почти бесполезным. В результате меня и Рясина пожар прижал к обратной от стрельбища стороне кирпичной стены. Мы изо всей силы отмахивались от огня уже отрепавшимися и утратившими половину листвы деревцами. Воздух вокруг раскалился, и, казалось, мы вот-вот испечёмся заживо. К счастью, молодой лес горел недолго. В какой-то момент мы почувствовали, что пламя само по себе пошло на спад. Про этот случай в газете не писали, но именно он, в отличие от других, и был самой настоящей борьбой с огнём, как говорится, не на жизнь, а на смерть.

Борьба

Ещё до армии я увлёкся запрещённым тогда в СССР каратэ. Немного ходил в довольно быстро закрытую милицией подпольную секцию, где толком ничему не успел научиться. Зато, постигнув некоторые азы боевого искусства, стал тренироваться самостоятельно. В учебке записался, было, в секцию самбо, но сержанты нашей роты мне откровенно сказали, что на занятия в ней у меня не будет ни сил, ни времени, и они оказались правы – в командирском батальоне загрузка была максимальной. Поэтому в секцию я почти не ходил.

В Германии, когда у меня уже было какое-то свободное время, я в штабе полка раздобыл армейское пособие по боевому сам-

бо, и мы с Ряскиным и Свириным стали по мере возможности тренироваться на траве за девятым постом, где, как мы считали, нас никто не видит. Но сельский парень из Белоруссии, стрелок и качок Коля Шалабода нас засёк и попросил, чтобы мы брали его с собой. Всё свободное время Коля качал мышцы и накачал их так, что у него шея стала едва ли не шире лица. Оказалось, что у этого парня есть блокнот, в котором были записаны и им же проиллюстрированы приёмы из самых разных видов борьбы и восточных боевых искусств. Коля никогда не читал книги, и, похоже, что ученье в школе ему тоже не очень давалось. Во всяком случае, он любил донимать меня нелепыми вопросами вроде: «Если человек произошёл от обезьяны, то почему сейчас обезьяны не превращаются в людей?». Или ещё лучше: «А где сейчас те обезьяны, из которых люди произошли?». Зато он при всей своей физической мощи был добродушным и безобидным человеком и на едкие шуточки в свой адрес никогда не злился. А ещё нам понравился Колин блокнот, и мы стали брать этого солдата с собой. Правда, тренироваться с ним в паре было не очень интересно. Когда у него приём технически не получался, Коля сильно не озадачивался: просто брал соперника в охапку и, широко размахнувшись, бросал его в траву.

Не обходилось и без лёгких травм. Однажды я хотел показать Свирину железный захват сзади за горло. А Свирин взял да и бросил меня через себя. Утратив почву под ногами, я инстинктивно ещё сильнее сжал руки, и Свирин испытал, как он это сам потом назвал, эффект отрывания головы, после которого несколько минут толком не мог прийти в себя. Потом целую неделю, чтобы посмотреть вправо или влево, он вынужден был поворачиваться всем корпусом. Миров утверждал, что Свирин теперь переживает эффект волчьей шеи, поскольку у волков она устроена так, что они не могут оглянуться назад, не разворачиваясь всем телом. А я переживал, что всерьёз повредил приятелю шейные позвонки, но всё обошлось. Подглядел наши занятия и командир разведроты. Встретил он как-то меня в гарнизоне и говорит:

– Слушай, переходи ко мне. У нас комсомольскую работу никак наладить не могут. Честно говоря, ей у нас никто всерьёз заниматься не хочет. Будешь у нас ротным секретарём.

Я замаялся:

– Да нет, спасибо, если б вы были на БМП, а не на БТРах...

– Ну, я же видел, как вы за гарнизоном тренируетесь, – пустил разведчик в ход свой запасной козырь. – Значит, есть интерес к рукопашному бою! А у нас тебя будет тренировать опытный инструктор – это совсем не то, что вы там кустарщиной занимаетесь.

«Да уж, от разведки не скроешь ничего», – подумал я. Предложение было заманчивое. Но как представил, что мне придётся променять БМП на консервную банку с пулемётом, мне стало тоскливо, и я, не отказав совсем, сказал, что подумаю. Однако о предложении командира разведроты уже на следующий день откуда-то узнал наш капитан.

– Ты что готов бросить свою родную роту, предать друзей и товарищей?! Вот так запросто ни за понюшку табаку! Подумаешь, разведрота! Чем наши ребята хуже? Или, может, тебе наши командиры не нравятся!? Имей в виду, что я сделаю всё, чтобы ты никуда не перешёл!

Я почувствовал, что с моими сержантами-еланцами, да и чебаркульцами тоже, мне прощаться, действительно, не хочется. И перед ротным стало как-то неудобно.

– Да, не собираюсь я никуда переходить! – стал я защищаться. – Я и не обещал ничего!

– Правда? – смягчился капитан. – Ну ладно, молодец! А я по-прежнему буду закрывать глаза на ваши походы за пределы части, в рощу, где вы, борцы доморощенные, бросаете друг друга через бёдра и думаете, что вас там никто не видит.

Маршал Гречко

Летом приехал к нам с инспекцией сам министр обороны маршал Гречко с начальником политуправления Советской Армии маршалом Епишевым и другими высокопоставленными командирами. Поднял он полк по тревоге, и боевая техника выдвинулась в расположенный в лесах запасной район. Да только «Уралы», гружённые боеприпасами, с места не тронулись – они оказались без топлива. На площадках, где стояли машины, были караульные посты, и стоявшие на них часовые потихоньку сливали топливо и продавали немцам. Не исключено, что и прапорщики руку приложили, среди них тоже было достаточно хватких ребят, которые своего не упустят. Пока Гречко со това-

рищи смотрел, как по тревоге выходит наша бронетехника, грузовики с боеприпасами цепляли другими машинами и тягачами да перетаскивали в расположенную за вертолётной площадкой рощицу, где маскировали ветвями – пригодились-таки навыки маскировки!

Имевшимся у нас дешевеньким фотоаппаратом Мирон успел сделать несколько снимков Гречко, и после его отъезда мы оформили стенгазету о пребывании министра обороны в нашей части. На снимках маршал отдавал честь левой рукой и все награды на его мундире были надеты не с той стороны – во время печати неправильно заложили плёнку в фотоувеличитель. На следующий день я увидел, как лейтенант Пойко, стоя перед стенгазетой, отдаёт честь то одной, то другой рукой и, не отрывая взгляда от фотографий, поворачивается то налево, то направо. Он первый и обнаружил наш ляп.

Маршала поразило столпотворение, творившееся на территории полка во время подъёма по тревоге. Смешались в кучу танки, люди...

– А если бы в это время был авианалёт? – спросил Гречко командира полка.

Танкисты «Мёртвой головы» по тревоге бегали из казарм в парк боевой техники по подземным переходам. При отступлении эти хода были затоплены. Наши пытались откачать воду, но так и не поняли, откуда она поступает, а потому бросили эту затею. Теперь же в подвале каждой казармы был закрытый на замок люк, под которым стояла вода. Министр обороны приказал перестроить парк, и в части начались бесконечные строительные работы.

Зимние учения

Зимние учения были труднее летних. Зима в Германии слякотная, зачастую с мокрым снегом, а то и с дождём. Во время очередных учений, проходивших в конце ноября – начале декабря в мотострелковом полку, экипаж БМП спал в машине с работающим двигателем и почему-то угорел. Как это случилось, не знаю, а только был по дивизии отдан приказ никому в машинах не спать. Пришлось ложиться в шинелях на холодную землю. Ночью проснулся я от того, что лицо холодил мелкий морозящий дождик. Я перевернулся на бок, прикрыл лицо локтем и

снова уснул. Второй раз я проснулся, когда уже почти рассвело. Замёрз так, что, кажется, внутри всё льдом сковало. Попытался встать – не могу. Словно какая-то злая сила не пускает. Потом понял: что-то шинель мою удерживает. Расстегнув крючки, выбрался я из неё, и оказалось, что шинель к земле примёрзла. А сам я застыл так, что и пошевелиться было трудно. Стал приседать, прыгать, руками размахивать, пока не отогрелся немного. Затем начал других будить – простынут, думаю. Оказалось, не только меня так приморозило. Стали солдаты подниматься, разминаться да начальство поругивать – вечно у нас одни крайности.

Правда, в тот день довелось мне отогреться как следует. Наш деловой и хваткий во всех отношениях Гена Свирин отыскал недалеко от нашего расположения походную баню, не знаю, для кого приготовленную, и договорился с обслуживавшими её земляками, что мы, то бишь, наша сержантская компания, придём искупаться.

Среди побелевшего от изморози поля стояла большая армейская палатка. В её центре вертикально были установлены металлические трубы с дырочками. В этих трубах жарко горела поступавшая откуда-то солярка. Сквозь дырочки было видно бушующее пламя, да и сами трубы местами раскалились докрасна. По периметру палатки располагались душевые. Было почти как в финской парной, и вода в душевых – тёплая. Вымылись мы, отогрелись и, когда, одевшись, вышли на улицу, погода уже не казалась мрачной и холодной. И настроение сразу стало совершенно другим. Это был настоящий подарок Свирина нашей компании.

Когда полк возвращался с учений, шёл сильный дождь со снегом. Впереди в двадцати метрах толком ничего нельзя было разглядеть. Кто-то съехал на обочину, кто-то въехал во впереди идущий транспорт. Я вылез наружу, сел на броню и стал смотреть вперёд и подсказывать водителю, где быть осторожнее, – сверху-то лучше видно. Под дождём на движущейся БМП я изрядно промок. Одежда стала прилипать к телу. Когда приехали, на въезде в парк была длинная очередь, ведь каждая машина должна была пройти через мойку, чтобы тонны грязи в боксы не тащить. Тут-то и начало меня знобить. Сидеть в машине было совершенно невозможно. Я выбрался наружу и стал прохаживаться вдоль БМП. Но вскоре меня уже трясло, как в

лихорадке, и каждое движение только усиливало внутренний холод. Тут подошёл ко мне незнакомый майор, говорит: «Ну-ка, сбегай, сержант, до поворота, глянь, не идут там из-за леса танки третьего батальона. Только быстро!». Я сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее побежал по дороге, добежал до поворота, не увидел никаких танков и помчался обратно. Когда прибежал, офицера не было. «А куда майор делся, который здесь сейчас был?», – спросил я стоявшего поодаль танкового сержанта. «Ушёл, – ответил тот. – Как только ты побежал, так он и ушёл». «Чего же он меня гонял?» – удивился я, и вдруг осознал, что дрожь меня отпустила.

Наряд по роте

Одним из суточных нарядов для сержантов было дежурство по роте. Ночью, чтобы дежурные сержанты в ротах не спали, дежурные офицеры по штабу полка требовали каждый час, а то и дважды в час бегать к ним на доклады. Это действительно не давало расслабиться и заснуть. В перерывах между докладами я в ночное время сидел в ротной канцелярии, расположенной в нескольких шагах от тумбочки, рядом с которой стоял дневальный. Обычно я что-то читал или конспектировал. Иногда удавалось почитать и днём. Например, на привалах во время занятий, на маршах, когда приходилось долго стоять в колонне и чего-то или кого-то ждать, и совсем немного – в свободное время в казарме или ещё реже – в гарнизонной библиотеке.

Она располагалась в солдатском клубе, была неожиданно богата книгами и имела просторный, хотя и мрачноватый на вид читальный зал. В выходные я иногда урывал время, чтобы посидеть в его тиши. Скажу дневальному, чтобы в случае чего за мной в клуб послали бойца, и иду читать. В библиотеке работала интересная женщина лет тридцати, и была она очень интеллигентной, начитанной и симпатичной. В читальном зале редко бывало больше одного посетителя. Постепенно чтению я стал предпочитать общение с библиотекарем. И ей, кажется, было интересно поговорить со мной о литературе и просто о жизни. Часто мы болтали с ней по два часа кряду, пока за мной не прибежал кто-нибудь из роты, и между нами сложились очень тёплые отношения.

Общение с библиотекаршей в значительной мере компенсировало мне нехватку женского общества.

Ещё немало доводилось читать, конспектировать и писать во время моего пребывания на полигоне. Я тщательно и не без интереса прочёл и детально законспектировал «Материализм и эмпириокритицизм» В.Ленина, перечитал «Войну и мир» Л.Толстого, «Как закалялась сталь» Н.Островского, чудом оказавшийся в солдатской библиотеке двухтомник У.Черчилля «Вторая мировая война», а также переведённый на русский язык сборник прозы молодых французских писателей. Из него больше всего запомнился рассказ Клер Галуа «Шито белыми нитками». Из классиков поразил меня своими рассказами Томас Манн. Но более всего удавалось почитать ночью именно во время дежурства по роте.

Бывало, что дежурный по части гонял на доклад только до полуночи, а потом доклады отменял – видимо, сам отдыхал. Однажды зимой, ближе к утру стало меня клонить в сон, и чтение не спасало. Дай, думаю, пойду, пообщаюсь со знакомым сержантом, дежурившим на втором этаже, где обитала авторота. Неспешно поднимаюсь по лестнице и вдруг вижу под самым потолком человека, замотанного в одеяло. С меня тут же вся сонливость слетела, и даже в жар бросило – показалось, будто повесился кто-то прямо над тумбочкой дневального. Но тут из одеяла высунулся дневальный солдат и объяснил: «Холодно. А здесь как раз дымоход от печки расположен и стена тёплая». Вот он поставил на тумбочку табурет, взгромоздился на него и грелся. Сержант спал. Им на втором этаже хорошо было: если в казарму зашёл проверяющий, то дежурный первого этажа докладывает ему ситуацию. А дневальный второго этажа, услышав это, будит своего дежурного.

– Смотри не грохнись, – сказал я солдату и стал спускаться к себе.

– Ещё ни разу не падал, – ответил он мне вслед.

Примерно через полчаса зашёл в казарму дежурный по части. Я начал ему докладывать. И в это время на втором этаже раздался страшный грохот – дневальный всё-таки рухнул со своей баррикады, отделавшись крупным испугом и мелкими ссадинами.

В другое моё дежурство днём в казарме с проверкой также появился дежурный по части. Это был невысокий худощавый

майор с узким вытянутым лицом, ужасно напомнивший мне «скрипача», которого я видел в компании ребят с нашей улицы незадолго до отъезда в армию. В первый момент даже показалось, что это он – я так и представил майора в мятой шляпе и со скрипкой.

И докладываю о ситуации в подразделении, о том, что за время моего дежурства никаких происшествий не случилось, а он меня не слушает, смотрит по сторонам и шумно втягивает носом воздух. Потом останавливает мой доклад жестом руки и говорит:

– Иди за мной!

Продолжая нюхать воздух, словно ища что-то по запаху, он направился к подвалу, спустился туда, подошёл к большому железному шкафу с электрооборудованием и нарисованным на дверце черепом, пронзённым молнией, открыл его – а там стоит большой котёл. В нём занимавшие вторую половину первого этажа сапёры завели брагу.

И она как раз созрела, забурлила, издавая незнакомый мне тогда запах.

Я и чувствовал, что в казарме запахок какой-то странный, ходил, во все углы заглядывал: не оставил ли кто-нибудь где-нибудь грязные портянки. А майор сразу смекнул и нашёл – тонкое обоняние у человека. Сапёры, естественно, собственность свою не признали, и вечером того же дня состоялась моральная казнь нашего подразделения.

– Командир мотострелковой роты! Выйти из строя! – командовал комполка на построении части. – За ним становись замполит роты! Старшина и комсомольский секретарь, взять котёл с брагой, за замполитом становись!

Я и исполнявший в то время обязанности старшины Гена Свиринов под всеобщее веселье танкистов подняли за ручки увесистый котёл и пристроились за замполитом.

– Мотострелковая рота! – продолжал комполка. – Для захоронения зелёного змия! На свалку! Медленно и печально! Шагом марш! Оркестр! Играй похоронную!

Командир полка любил подобные публичные наказания. И командовал при этом звучно, неспешно, с чувством, с толком и с расстановкой акцентов, любясь процессом экзекуции, как собственным произведением искусства. Каков сценарий! Какова режиссура! Какой драматизм!

Оркестр грянул похоронный марш, и мы медленно под смех всего полка двинулись к свалке. А после отбоя пришли к нам сапёры.

– Отдайте, – говорят, – наш котёл.

– Фигушки! – возмутился наш командир и все, кто был рядом – Мы из-за этого чана с брагой такой позор пережили! Так хоть котёл себе оставим!

Словом, не отдали. Потом на ученьях на костре готовили в нём раздобытую где-то солдатами картошку с грибами, собранными в лесу. И при этом уже весело вспоминали похороны браги.

Прапорщик

В дежурство того же майора, нашедшего в подвале чан с брагой, случилось в нашей казарме и самое настоящее несчастье. Сидел я в канцелярии и занимался оформлением документов, тогда как раз шла замена комсомольских билетов и персональных учётных карточек. Вдруг где-то рядом раздался глухой звук, похожий на пистолетный выстрел. Я на всякий случай выглянул в коридор и увидел, как дежурный сержант-сапёр штык-ножом суетливо ковыряет замок в двери каптёрки.

– Что ты делаешь? – подошёл я к нему.

– Тихо! – шепнул он и, приложив ухо к двери, на мгновение замер.

– А что там?

– Не знаю, – ответил сержант и снова принялся ковырять замок. Лицо у него при этом было хмурое и очень бледное.

Наконец замок поддался, дверь отворилась, и мы увидели лежавшего на полу каптёрки молодого прапорщика – старшину сапёров – с простреленной головой. Висевшие в ряд солдатские парадки были забрызганы кровью и мозгами. Прибежал дневальный. Дежурный сержант начал звонить по телефону, а мне стало нехорошо, и я вышел на улицу.

Стоя у входа в казарму, я увидел, как из расположенного напротив штаба полка выбежал знакомый майор с красной повязкой на рукаве и, придерживая одной рукой болтавшуюся на ремне кобуру с пистолетом, помчался к нам. Перед входом он перешёл на шаг. Я отступил, пропуская его, и коротко отдал честь. Он лишь угрюмо кивнул в ответ и, поравнявшись со мной,

тихо сказал:

– Детей наберут, а молока не дают...

Прапорщик был совсем молодой, можно сказать, юный. А бойцы ему достались трудные, особенно деды. Ротный капитан постоянно орал на них так, что было слышно в соседних казармах, и в бессильной злобе обзывал гадами и обезьянами. Солдаты от этого не становились дисциплинированнее и исполнительнее, а лишь наполнялись ненавистью к своему командиру и частенько умышленно делали ему всякие гадости. Молодого прапорщика сапёры-деды вообще ни во что не ставили. Кто-то из нашей роты был случайным свидетелем, как прапорщик жаловался своему ротному, что не справляется с работой и хочет перейти в другое подразделение или вообще уволиться из армии.

Не можешь?! – разозлился ротный. – Вон видишь ту сосну с толстой веткой внизу? Пойди и повесься на ней!

Вешаться прапорщик не стал, а прибег к помощи штатного Макарова.

Гарнизонный хор

Довелось мне как-то петь в гарнизонном хоре и даже в его составе выступить на сцене оперного театра, расположенного недалеко крупного города. А причиной тому стала всё та же наша любимая «Взвейтесь, соколы орлами!», которую мы, сержанты Еланской учебки, привезли в Германию и сделали строевой песней нашей мотострелковой роты. Командир, когда мы ему эту песню исполнили, был просто заворожён. Однако осваивать её в подразделении, в значительной части состоявшем из призывников с Кавказа и из Средней Азии, оказалось довольно сложно. Во-первых, некоторые из них не очень понимали её содержание и плохо запоминали текст. Во-вторых, непривычна была для них непростая манера её исполнения. Мы, было, уже отчаялись, но ротный загорелся и не отступил. Однажды накануне строевого смотра даже ночью заставил тренироваться. И, в конце концов, рота запела почти так же, как и наша бывшая, еланская:

*«...Там едва заря настанет,
Строй пехоты закипит,
Барабаном в небо грянет,
И штыками заблестит!»*

На смотре мы прошли по плацу перед стоявшим на трибуне комдивом, стараясь выложиться по полной. Надо сказать, что в строевой подготовке мы превосходили и танкистов, и артиллеристов, и зенитчиков, не говоря уже о тыловых подразделениях. А тут ещё и старинную солдатскую песню выдали. Вдруг нам показывают, что мы должны пойти на второй круг и исполнить ещё раз. Неужели, думаем, что-то напортачили? Проходим второй раз, и снова нас пускают на очередной круг. Идём в третий раз. «Ах, молодцы!» – наконец восклицает комдив. Понравилось!

И теперь, когда мимо нашей казармы шёл строй танкистов, вяло и нестройно исполнявший песню «Не плачь, девчонка» или «Шли танкисты с танкодрома», капитан Давин открывал настежь окно и торжествующе кричал:

– Этот стон у вас песней зовётся?!

А вскоре на базе нашей роты решено было создать гарнизонный хор, который выступит перед немецкой общественностью на концерте, посвящённом Дню нашей победы. Набрали человек двадцать наиболее голосистых солдат, которых обязали ходить в Дом офицеров на репетиции. Но многие из них стали сачковать – шли якобы на репетицию, а на самом деле – в кино!

Пожаловался концертмейстер ротному, тот мне и говорит: «Вот ты – комсомольский секретарь, и все эти песни-пляски – твоя работа. Будешь водить хористов на репетиции, и чтоб не один не сбежал». И стал я с нашими певцами ходить на репетиции. Посижу в зале, подожду, пока они напоятся, и веду обратно. Смотрел, смотрел на меня концертмейстер и однажды сказал «Идите сюда, товарищ старший сержант». Я подошёл, он предложил мне сначала спеть «Ме-ми-ма-мо», а потом куплет из песни. Я спел. «Сойдёт, – сказал он, – становитесь в строй. Чего зря сидеть?». И стал я петь в хоре про «неба огненного стяг», о Ленине, что «такой молодой!» и о юном октябре, который впереди. И ещё несколько песен в таком же духе.

Девятого мая в оперном театре в ожидании своего выхода на сцену наши ребята в парадных мундирах с начищенными до солнечного блеска пуговицами слонялись по театральному закулисию, рассматривая сценический инвентарь. В одном закутке было окно. Я остановился возле него и стал смотреть на улицу. Рядом со мной находилась группа немцев, которые что-то

неспешно меж собой обсуждали. Метрах в пятнадцати у самого выхода, ведущего в узкий коридор, стояла статуя, изображавшая древнегреческого атлета. Наш солдат, неспешно прогуливавшийся мимо, оценивающе осмотрел её, потом приложил ко лбу атлета ладонь и, с усилием оттянув средний палец, отпустил атлету звонкий щелбан, крикнув при этом от удовольствия. В ГСВГ такие щелбаны назывались калабашками. На них солдаты часто спорили или играли в какие-нибудь азартные игры. Некоторые в свободное время ставили перед собой табуретку, на которой подолгу тренировались отрабатывать этот удар, чтобы он получался как можно больнее. Увидев столь неуважительное отношение к театральному инвентарю, немцы замолчали и посмотрели на солдата с удивлением и настороженностью. Тот, обнаружив, что на него глядят, поспешил удалиться.

Но буквально через десять секунд появился другой наш хорист и проделал со статуей то же самое. Скульптура, видимо, была пустая внутри, и удар получался очень звонкий: «Бам-м-м-м!». Немцы удивились ещё больше. Третий солдат уже прошёл, было, мимо, но вдруг резко обернулся, словно забыл что-то, несколько секунд внимательно посмотрел на атлета и тоже влепил ему «калабашку». Атлет слегка покачнулся. Он, хотя и был с накачанными мышцами, но в сравнении с бившими его солдатами выглядел маленьким и беззащитным, словно школьник-пятиклассник, и его было жалко. Кто-то из немцев рассмеялся, другие быстро заговорили меж собой, видимо, обсуждая увиденное и косясь на меня. Мне стало неловко, и я ушёл. Вскоре объявили наш выход.

В зале и на сцене царил торжественная обстановка. Мы пели от души, кажется, сами удивляясь, как славно у нас получается. Немцы бурно нам аплодировали. Но главные их аплодисменты сорвали, конечно, не мы, а выступавшая с сольным номером продавщица из расположенного в гарнизоне кафе. Продавщица была стройная, хороша собой, держалась на сцене, как настоящая артистка, и пела замечательно. Немцы провожали её овациями и, по рассказу концертмейстера, не верили, что она всего лишь работница нашего общепита.

После концерта мы уехали не сразу, офицеры ещё общались с немцами, и один полный, пожилой немецкий актёр пригласил меня, Свирина, Ряскина и Терёхина, оказавшихся рядом с его гримёрной, к себе на пиво. Он повёл нас в небольшое по-

мещение, где стоял стол и десяток стульев, туда же по его заказу принесли большие кружки с пивом. Правда, из-за проблем с языком общение свелось в основном к разглядыванию театральных программ, из которых мы узнали, что немец побывал на гастролях в Союзе, Чехословакии, Болгарии и Монголии. Когда пиво закончилось, на одной из программ актёр написал, сколько марок мы ему должны. Тут возник некоторый конфуз. Посчитав имевшиеся у нас деньги, мы поняли, что их не хватит, чтобы расплатиться с гостеприимным актёром.

– У нас, если угощают, то за счёт хозяина, – тихо заметил Тёрёхин, но немец этого не понял или сделал вид, что не понял.

– Ждите меня, – сказал Ряскин, – я у своих ребят займу.

Уход Ряскина артиста насторожил, но мы, как могли, объяснили немцу, что всё в порядке. Вскоре Виталья вернулся, и мы распрощались с немцем с чувством глубокого разочарования.

Игра в карты

Однажды в воскресенье мы с Геной, Васей и Виталей, увидев, что офицеры нас покинули, а солдаты заняты написанием писем и бытовыми делами, оставили молодых сержантов следить за порядком и отправились за пределы гарнизона. Расположившись недалеко от самого дальнего, девятого поста, возле лесополосы, решили перебраться в «дурака». Там валялась старая приплюснутая по вертикали цистерна от какого-то водовоза. В центре её, где раньше располагалась крышка, зияла дыра. Расположившись в ней, можно было удобно играть в карты – хочешь – стой на дне цистерны, высываясь из неё по пояс, хочешь – сядь, свесив ноги в железную бочку. Свири́н стал с торца цистерны, а Ряскин и Тёрёхин – справа и слева от меня. Так что всем было удобно. Мы заигрались, потеряв счёт времени. И вдруг из-за плеча Геннадия я увидел спускающегося с поросшей лесом горки командира роты.

-- Ротный! – сказал я и, держа в руке веер из карт, присел в цистерне.

Ребята метнулись, было, прятаться, но поздно – капитан их уже увидел.

– Так, – сказал он, подходя. – Я думаю, где это мои сержанты? А они здесь, в картишки режутся. Карты сдать, и шагом марш за мной!

Затем наступила тишина. Я, выглянув из цистерны, увидел уходившего большими шагами Давина, за которым цепочкой тянулись Сви́рин, Ряскин и Терёхин. И стало мне как-то не по себе: играли вместе, а отдуваться им предстоит без меня. Сунул я оставшиеся у меня карты в нагрудный карман, вылез наружу и, догнав ребят, пристроился позади цепочки.

– Уйди! Он тебя не видел! – оглянувшись, зашипел Терёхин, отгоняя меня взмахом руки.

– Нет, я с вами, – прошептал я.

– Да уйди ты! – не унимался Василий, пытаясь прогнать меня взмахами рук.

Но я не отставал. Так и прошли мы вслед за стремительным ротным по территории гарнизона. Широко шагая, капитан вошёл в казарму, а за ним всё в той же последовательности – Сви́рин, Ряскин, Терёхин и я. Остановившись возле тумбочки дневального, ротный, наконец, обернулся и, увидев меня, обрадовано воскликнул:

– Очень кстати здесь комсомольский секретарь! Ты знаешь, чем сейчас занимались вот эти твои друзья (это было его любимое слово)?! За девятым постом в карты играли! Вот вещественное доказательство!

И он, вытащив из кармана неполную колоду карт, потряс ею в воздухе. Я машинально потянулся, чтобы достать остальную часть колоды, но в последний момент стусевался и лишь застегнул пуговицу на кармане.

– Небось, на деньги играли?! – дожимал капитан.

– Да нет, не на деньги... – начал, было, я.

– Наверняка на деньги! Не заступайся! – прервал он меня. – Посмотри-ка, они ещё и ржут! Весело им! Короче так: на ближайшее комсомольское собрание в повестку дня – вопрос о поведении этих сержантов!

И, резко развернувшись, он вошёл в канцелярию. Вопрос на комсомольское собрание я, конечно, выносить не стал. Думал, если спросит, так и скажу:

– Как же я буду разбирать их на собрании, если я с ними тоже играл!

Но вскоре мы выехали на крупные учения, а они всегда всё списывали. За время учений столько всего происходило, и было так много новых ярких впечатлений, что по возвращении уже не помнились никакие казусы, случившиеся ранее, а если

и помнились, то казались чем-то далёким и незначительным. А потому про нашу игру в карты никто больше не вспоминал.

Бруствер

Ещё раз мы с Ряскиным и Свириным проштрафились, когда, зная, что ротный в казарме появится не скоро, решили без его разрешения, которого он тогда не дал бы, сходить в кино в гарнизонный дом офицеров. Уже почти дошли до него, и тут из-за угла выходит наш капитан. В то время в гарнизоне меняли водопроводные трубы и всюду были вырыты траншеи. Не сговариваясь, мы прыгнули в одну из таких траншей и побежали. Думали, ротный нас не увидел. А он на следующий день сказал нам:

— Знаю я, что любите вы по окопам бегать, и хотел дать вам задание вырыть окоп подлиннее, да в части рыть негде, а на полигон мы в ближайшие дни не едем. Поэтому даю вам задание сделать бруствер на огневом городке. Собрались мы, было, на огневой, а Ряскин говорит:

— Да бросьте вы! Что нам больше делать нечего? Есть у меня в отделении исполнительный боец, на все руки мастер — Примаков, он этот бруствер не глядя сложит.

Позвал Ряскин Примакова, говорит:

— Ты бруствер сложить можешь?

— Конечно, — ответил тот. — Что я бруствера никогда не видел, что ли?

И решили мы, пока Примаков будет выполнять нашу работу, ещё раз сходить в кино. Ближе к вечеру вызвал нас капитан Давин в канцелярию и спрашивает:

— Так вы, значит, бруствер сложили?

— Так точно! — отвечает Ряскин, — уверенный в своём бойце.

— Ну, пойдёмте посмотрим, — сказал капитан, надевая фуражку.

Идём мы за ним и шёпотом переговариваемся.

— Неужели подвёл твой Примаков? — спрашиваем мы со Свириным у Ряскина.

— Не может быть! — уверен тот. — Раз сказал, что сделал, — значит, так оно и есть.

И, действительно, бруствер ладненький такой получился, как в учебных пособиях. Только странное в нём что-то. В следующую секунду поняли: поставлен он задом наперёд по отношению к мишени.

— Кто из вас, — спрашивает ротный. — изобразит мне позу, из которой можно поразить мишень, лёжа к ней задом?

Ладно, пришлось работу переделывать, но ещё и опозорились как!

Каменщик

В гарнизоне решили построить монумент памяти погибшим солдатам. Хотели сделать это своими силами, без лишних финансовых затрат. Поэтому во всех подразделениях стали спрашивать, нет ли какого-нибудь Кулибина, который взялся бы почти из ничего памятник соорудить. Совершенно неожиданно эту работу вызвался сделать наш сержант Панченко и, как ни удивительно, сумел построить кирпичную стелу, к которой потом прикрепили звезду и надпись. Тут выяснилось, что наш увлекавшийся фотографией замполит мечтал сделать небольшую пристройку к солдатскому клубу, где разместилась бы фотолaborатория. И неожиданно открывшийся талант Панченко пришёлся очень кстати: делать пристройку замполит поручил именно ему. Тот перестал ездить на стрельбы, ходить в наряды и на занятия и превратился почти в гражданского человека. Только и видно было, как он возится с раствором и кирпичами. Судя по всему эта новая роль ему нравилась.

Приехали мы как-то с полигона, до обеда ещё было не меньше часа, и я решил пойти проведать Панченко. Тот сидел возле кирпичной кладки и неспешно покуривал сигарету.

— Слушай, как это у тебя получается стены выкладывать? Где ты этому учился? — любопытствовал я.

— Так я же по профессии каменщик! — довольно ответил он.

— Кирпичник молодой! — вырвалось у меня, и я покатился со смеху.

— Перестань, — насупился Вовка, — я и так из-за этой дурацкой песни в учебке никому не рассказывал о своей профессии. — Задрознили бы.

— Ладно, не буду, — сказал я, стараясь делать серьёзное выражение лица. — Сам не знаю, что это на меня нашло. Вообще-то

песня, действительно, нелепая. А про каменщика, между прочим, есть хорошее стихотворение у Александра Блока:

«Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты здесь строишь? Кому?..»

– Вот ему, – сказал Панченко, указав на приближающегося замполита.

Капытин спросил, как дела, посмотрел на сложенную стену и неудовлетворительно покачал головой:

– Она же у тебя неровная, выпирает животом!

Я тоже присмотрелся: действительно, не очень ровная.

– Ну, выправляй – сказал замполит и ушёл.

– Давай я буду тебе кирпичи подавать, – тут же предложил я, – быстрее выйдет.

– Да не торопись ты, – осадил меня Панченко. – Успею. Посидим, поговорим, я тебя толком неделю уже не видел.

Проболтали мы с ним битый час, а тут и замполит вернулся. Лицо у него стало красное, глаза поблескивающие – видно, где-то уже успел принять на душу. Остановился, фуражку на брови надвинул и, почёсывая затылок, стал снова осматривать кирпичную кладку. Ну, думаю, сейчас начнёт возмущаться. А он посмотрел, посмотрел и сказал:

– Ну, вот! Теперь совсем другое дело!

И снова ушёл. Мы с Панченко прыснули со смеху.

– А ты хотел кирпичи подавать, – с укоризной сказал Вовка. – Никогда не надо спешить. Многие проблемы, если ими не заниматься, решаются сами собой...

Портфель

Собрались наши экипажи ехать на полигон. Едва уселись в грузовик, подбегает замполит роты и кричит:

– Стой! Стой! Сделаем крюк, довезём меня до автобусной остановки – я там час назад портфель забыл!

– Час назад – это много, – сказал рядовой Игнатюк. – Сто раз уже ушёл ваш портфель.

– Да типун тебе на язык! – забрался в кузов замполит. – Поехали! Может, и не ушёл ещё – здесь всё-таки Германия.

Каково же было наше удивление, когда все увидели, что портфель замполита преспокойненько стоит на лавочке остановки.

– Вы откройте, – посоветовал – Игнатюк – а то, знаем мы эти штучки: снаружи всё на месте, а внутри ничего нет.

– Да не пугай ты меня! – торопливо открывал портфель Капытин. – Всё на месте!

На радостях он решил ехать с нами на полигон и показать нам класс вождения БМП.

– Это ещё что, – уже в кузове, сдвинув фуражку на затылок, возбуждённо говорил он. – Вон, видите, велосипед возле дома стоит? Цепи нет, замка нет. А он стоит зараза, и хоть бы что! И, если какой-нибудь наш балбес его не возьмёт, сутки стоять будет! Нет, трое суток! Неделю! А почему? А потому что в Германии за кражи раньше руки рубили. Вот и у нас так надо: украл что-нибудь – и сразу: хрясь топором, хрясь! – горячился замполит, рубя перед собой пространство кулаком. – Так он, гад, всю жизнь помнить будет, потому что руки у него, как у ящерицы, не отрастут.

Солдаты внимательно и с неподдельным любопытством смотрели на замполита.

– Ну, это я, конечно, утрирую, то есть преувеличиваю, – слегка остыв, сказал Капытин, надвигая фуражку на глаза.

Солдаты понимающе закивали головами.

– Хотя, конечно... – замполит безнадёжно махнул рукой и больше не стал говорить на эту тему ничего.

Продавщица

В гарнизоне я любил заходить в книжный магазин. Там работала симпатичная продавщица. Мы с Ряскиным познакомились с ней сразу после приезда в часть, осматривая местные достопримечательности и зайдя глянуть, что в местном книжном продают. После этого я изредка покупал какие-то книги, и мы с продавщицей часто подолгу говорили о литературе или о чём-нибудь другом. Однажды она попросила меня помочь ей в подсобке книги переложить. Я помог, и она стала ладошкой стряхивать с меня какие-то нитки от верёвок, которыми были связаны картонные пачки. Она делала это так долго и старательно, что я успел погладить её кончиками пальцев по волосам и по щеке. Она посмотрела на меня чуть увлажнившимися глазами и улыбнулась. В это время в магазине хлопнула дверь.

– Кто-то пришёл! – вздрогнула девушка, и мы с ней вышли из подсобки. Перед прилавком стоял Ряскин. Увидев нас вместе, он весь как-то сжался, а потом стал вести себя как обычно.

Но буквально через несколько дней наша с ним дружба дала трещину. Я вдруг начал его раздражать, и он по каждому поводу стал мне грубить, вызывая недоумение не только у меня, но и у наших друзей-сержантов. «Да в чём дело?! – наконец не выдержал я. – Хотя бы объясни, какая муха тебя укусила! Чего ты бесишься?». Ряскин, кажется, только и ждал от меня ответной грубости. «А ничего!» – крикнул он и вцепился руками в мою одежду. Я в ответ тоже захватил его рукава. И мы стали с ним пытаться свалить друг друга с помощью подсечки, но это нам обоим не удавалось, только наcostыляли друг другу по ногам хорошенько. Тут уже Сви́рин не выдержал:

– Вы, идиоты, я вам сейчас обоим в глаз дам, – пригрозил он и изо всей силы толкнул нас обоих так, что, запнувшись за бордюр, мы вместе завалились на газон. – А ну-ка прекращайте!

Это был пик нашей ссоры. После этого Ряскин как-то по-утих, кажется, ему было даже неловко за себя. И наши отношения постепенно вернулись в прежнее состояние. О прошлой ссоре мы никогда друг другу не напоминали, и я так и не спросил, из-за чего он на меня злился. Подсознательно я стал избегать заходить в книжный магазин, и, когда однажды всё же зашёл, продавщица спросила, куда это мы с моим другом запропались. Оказалось, что Ряскин там тоже не появляется.

Сержантский пост

Однажды на дальний пост завезли какие-то секретные снаряды (судя по ящикам, в которых они хранились, это были реактивные заряды к установкам залпового огня), и было приказано выставить там часовыми сержантов. На него определили еланцев, в том числе и меня. Поскольку в Германии я ходил в караул разводящим или даже помощником начальника караула, стоять на посту было уже непривычно, но интересно. Первые смены прошли без происшествий. Территория поста была обширной, но при этом охрана её была простой – ходи себе по кругу вдоль колючей проволоки по тропинке, вытопанной в траве часовыми. Ночью пост освещался фонарями, а за его пределами сгущалась тьма.

Самая трудная смена – та, что ближе к утру, когда очень хочется спать, чему способствует тишина и однообразное хождение. Нередко часовые засыпали на посту. В этой связи вспоминается, как в караулку ночью пришёл наш ротный. Он тогда был дежурным по части, а я помощником начальника караула.

– Стоит у вас сейчас на посту кто-нибудь с фамилией, начинающейся на букву «хэ»? – неожиданно поинтересовался ротный.

Я заглянул в постовую ведомость.

– Стоит, – говорю, – на восьмом посту – Халилов.

– Пойдём на этот пост, – оживился ротный. – Он там спит.

Начкар тихонько рассмеялся, а я, удивившись, забросил за плечо автомат и вышел вслед за капитаном.

– Откуда у вас такая информация? – спросил я уже на улице. – Кто вам сказал, что он спит?

– А все, у кого фамилия на букву «хэ», спят на постах, – уверенно ответил ротный.

Тут и я начал потихоньку посмеиваться.

– Пойдём-пойдём, увидишь! – ничуть не сомневался в своей правоте капитан.

И что бы вы думали? Пришли мы на пост, а часовой спит. Впрочем, это случалось не так уж и редко. А однажды часовой спал на посту не один. В границах этого поста находился гарнизонный магазин, в котором накануне распечатали какой-то объёмный товар, а большие фанерные ящики из-под него, выставили на улицу. Разводящий со сменой пришёл на пост, а часового нет. Стали искать, заглянули в ящик – а он там с женщиной.

На своём сержантском посту я отчаянно сопротивлялся наваливавшемуся на меня сну. Главное – не дать себе закрыть глаза. Это мне удалось. Тогда сон стал накладываться на окружающую реальность. Я видел пост, фонари, колючую проволоку. И в то же время, впадая в оцепенение, начинал различать человеческие голоса и проходившие сквозь ограждение силуэты людей. При этом я вполне осознавал, что они существуют лишь в моей засыпающей голове. Кажется, это называется «состояние изменённого сознания».

И вдруг погасли все фонари. Сон с меня как рукой сняло. Я, встрепенувшись, остановился и осмотрелся по сторонам. Однако вокруг была только непроглядная тьма. Я бросил взгляд в сторону гарнизона, но и там не увидел ни одного проблеска света.

«Ничего, – подумал я, – сейчас глаза привыкнут и начнут что-нибудь различать». Действительно, вскоре стало заметно, что небо светлее окружающей меня местности и на его фоне смутно вырисовываются чёрные зубья сосен. А ещё немного погодя я увидел вытопанную в песчаном грунте тропинку, которая тоже выделялась на фоне тёмной травы. Я неспешно двинулся вперёд, тщательно вглядываясь и вслушиваясь в окружающий мрак и почему-то стараясь передвигаться как можно тише.

Неожиданно тропинка впереди оборвалась, растворилась в темноте, из чего следовало, что на ней появилось что-то тёмное. Я остановился, но разглядеть ничего не мог. Тогда я подумал, что если присесть как можно ниже и посмотреть под углом вверх, то на фоне неба можно будет что-то разглядеть. Я так и сделал. На фоне неба прорисовались чёрные зубцы, но не острые, как вершины сосен, а какие-то тупые, почти квадратные. Медленно передвигаясь вприсядку то влево, то вправо, я определил, что стоящий впереди объект – не плоский, как забор, а объёмный, то бишь, имеет определённую глубину и представляет собой нечто совершенно несуразное.

Был случай, когда ночью на один из наших постов забрела корова и часовой с перепугу её застрелил. Но это явно не корова и на лошадь. Разве что верблюд? Но если это что-то живое, то почему оно так неподвижно? А если оно неживое, то кто его сюда притащил, ведь я прошёл не один круг по посту, и ничего такого здесь не было. И если это кто-то здесь поставил, то где этот кто-то? Я покрутил головой по сторонам и, замерев, снова прислушался. «Не пора ли передёрнуть затвор?» – подумал я и щёлкнул предохранителем.

Тут из темноты послышался глухой, протяжный и вкрадчивый, но в то же время узнаваемый голос:

– Андреев, это ты? Не стрельни случайно.

Это наш разводящий – сержант старшего призыва Янкевич. С ним было четверо сменных часовых нашего сектора. Я потерял счёт времени, и мне казалось, будто до смены ещё как минимум полчаса. А смена-то уже и пришла. Часовые сгрудились возле разводящего и застыли, как неживые, образовав странный объект с прорисовывающимися на фоне неба зубцами-головами.

– Какого чёрта вы тут притаились?! – вспылil я, поднимаясь в полный рост и ставя автомат на предохранитель.

– А ты почему не кричишь «Стой! Кто идёт?!» – парировал Янкевич.

– Да потому что никто не идёт!..

Впрочем, надо было, наверное, мне что-нибудь спросить у того, что стояло на тропе. В конце концов, когда какой-нибудь солдат в нашем гарнизоне не отдавал честь проходящему мимо офицеру или подходил к нему не по форме, иной из офицеров мог приказать солдату двадцать или тридцать раз правильно подойти и по уставу обратиться к столбу, а потом отойти от него как положено. Солдат строевым шагом подходил к столбу, отдавал честь и вопрошал:

– Товарищ столб, разрешите обратиться?!

Потом делал паузу и спрашивал:

– Разрешите идти?

И после того, как столб его отпускал, солдат снова отдавал честь, говорил «Есть!», поворачивался кругом через левое плечо и отходил строевым шагом. Так и здесь можно было сказать нечто вроде: «Товарищ неизвестный объект, позвольте вас спросить...». Смешно. Хотя тактически, может быть, и верно.

– Ну и напугал ты нас! – сказал один из сменённых часовых по пути в караульное помещение. – Темнотища! Часового не видно и не слышно. А у самой земли что-то движется к нам зигзагами. Ужас! У меня даже мурашки по спине...

– А вы меня как озадачили! Стоит невесть что на дороге!.. – отвечал я.

Тут на нас напал смех, и мы хохотали, не переставая, почти до самого караульного помещения.

Лесной караул

Не помню, за сколько километров, но довольно далеко от нашей части был лес, где наш караул, охранял секретные объекты, а именно: подземные бункеры, сделанные для наших штабов на случай войны. Там был необычный пост, на территорию которого, обнесённую колючей проволокой, через специальную калитку разводящий запускал часового, затем вешал на неё замок, ключ от которого уносил собой. Таким образом, уйти с поста было непросто. Был там ещё маршрут, по которому ходили по два человека, проверявших печати на бункерах.

Расположенный в лесу караул чувствовал себя довольно вольно, потому что никакой одинокий проверяющий между делом туда не забредёт. С проверкой обычно приезжали несколько человек, непременно на машине, которую было далеко слышно, а в тёмное время при включенных фарах и далеко видно в тихом безлюдном лесу. Поэтому нередко ночью там спали все, включая постовых и бодрствующую смену. Однажды весь лесной караул вырезали. Когда именно это было, уже никто точно не знал, но напоминанием об этом событии в лесу стояла старая караульная избушка с пустыми глазницами окон, вся обмотанная колючей проволокой. В первый мой лесной наряд она произвела на меня мрачное впечатление. Ночью мне приснились какие-то жуткие люди, влетающие через окна в караулку. В помещении было темно, из наших никого не было, в комнате начкара враги душили лейтенанта, а в пирамиде не оказалось ни одного автомата. Проснувшись, я надел шинель, взял свой «калашник» и вышел на улицу. Часовой у караулки Харасумов подтверждал теорию ротного о том, что все солдаты с фамилией на букву «Х» спят на посту. Я потормошил его за плечо.

– Ой, чуть не уснул! – подскочил он.

– Здесь когда-то вырезали весь караул, – многозначительно напомнил я ему. – И тебе, спящему, голову отрежут.

Часовой виновато запереминался с ноги на ногу, а я направился в сторону леса.

– Куда? – спросил он меня вслед.

– Пройдусь вокруг, – ответил я.

Я отошёл от караулки ровно настолько, чтобы во мраке леса можно было видеть исходивший от неё свет. Идти дальше было жутковато, да и заблудиться ничего не стоило. Присев на землю, я прислонился спиной к дереву и, затаив дыхание, минут двадцать вглядывался и вслушивался в окрестные чащи. Потом замёрз и, стараясь не наступать на хрустящие ветки, прошёлся вокруг караульного помещения.

– Стой, кто идёт?! – бодрясь, спросил часовой.

– Свои. Всё нормально, – ответил я.

– Только холодно, – добавил часовой.

– Так не спи, а то замёрзнешь, – сказал я, поднимаясь по ступенькам.

Из комнаты начкара в помещение бодрствующей смены вышел разбуженный окриком часового лейтенант в накинута на плечи шинели.

– Что там? – спросил он.

– Просто решил осмотреться, – ответил я.

– Страшновато здесь в первый раз? – подбадривающе подмигнул лейтенант.

– Неуютно, – ответил я, – ставя автомат в пирамиду.

– Ну, вообще-то правильно, молодец, – похвалил лейтенант, вошёл в свою комнату и, не закрывая за собой дверь, прямо в наброшенной на плечи шинели повалился на кушетку.

Эта прогулка успокоила меня, и оставшуюся часть ночи в положенное для сна время я уже не просыпался. А днём на природе было просто чудесно, и уже во второй раз я поехал в этот лес с желанием.

Капитанская дочка

Однажды к командиру одной из рот, расположенных в нашей казарме, пришла дочь-девятиклассница. Она то ли забыла, то ли потеряла ключ от дома. Её появление сильно взбудоражило солдат и вызвало целый поток остроумных и комментариев. Послышались скабрёзные шуточки. Я узнал эту девочку. Ещё прошлой весной в гарнизонной школе проводилась популярная в то время военно-спортивная игра «Зарница». А накануне там проходили специальные занятия. Их проведение доверили мотострелкам. А поскольку мотострелковая рота у нас была одна, четверым нашим сержантам это дело и поручили. Мне досталось вести разведподготовку. Поскольку этот предмет в учебке мы тоже проходили, то мне не стоило большого труда рассказывать школьникам о том, как пользоваться планом местности, как маскироваться, как вести наблюдения, чтобы линзы бинокля не блестели на солнце, выдавая наблюдателя и т.п. На «Зарнице» мне дали восьмой класс, преобразованный во взвод. Игра там проходила, конечно, гораздо интереснее, чем когда-то в моей школе. Ведь проводить её помогал весь гарнизон. В моём взводе школьников была и эта девочка, дочь капитана Мылкина, худенькая, черноволосая, очень милая и какая-то тихая, задумчивая с большими внимательными глазами. Теперь она уже окончила девять классов и заметно повзрослела.

Недовольный её визитом, отец вывел её на крыльцо, дал ключ от квартиры и отчитал за то, что она явилась к нему вопреки его строгому запрету приходить в казарму.

«Я тебя ещё раз прошу у меня в казарме не появляться!» – строго сказал он. Капитан Мылкин был человек насколько интеллигентный, настолько и экспрессивный. Однажды ночью он будучи начальником караула зачем-то решил зайти домой. И застал там свою красавицу жену со спорторгом части. Оружие у капитана, естественно, было при себе, и он глазом не моргнув пальнул из пистолета вслед бросившемуся бежать старлею. Пуля попала в закрывавшуюся за ним дверь. Не знаю, насколько правдива эта история, но её, кажется, знал весь гарнизон.

Когда Мылкин отправлял домой свою дочь, я с кем-то из сержантов стоял у входа. Дело шло к вечерней поверке, и во всех подразделениях царило расслабление, которое всегда наблюдается после очередного напряжённого дня. Вдруг Мылкин подзвал меня к себе и сказал:

– Слушай, Андреев, я знаю, что ты настоящий комсомолец, и потому хочу доверить тебе очень важное дело.

Я насторожился: почему это командир другого подразделения, решил мне что-то поручать? Но тот вдруг перешёл с официального на приятельский тон:

– Слушай, старший сержант, не в службу, а в дружбу – проводи до дома мою дочь Лизу, – и он движением руки указал на девушку. – Тут много оболтусов. Не хочу, чтобы к ней кто-нибудь пристал. А ты, я думаю, джентльмен.

До домов офицерского состава ходу было минут десять. Миновав казармы, мы пошли по пустынной дорожке, тянувшейся вдоль гарнизонного кладбища. Вечер был тёплый, тихий.

– Я Вас помню, – сказала она, слегка улыбнувшись и стрельнув глазами из-под пушистой чёлки.

– Я Вас тоже.

– А я думала, мы Вам все были на одно лицо. И вообще Вы были такой серьёзный сержант!

А сам такой молоденький!

Мы рассмеялись.

– А Вы, оказывается, ещё и настоящий комсомолец и джентльмен!

Я смутился.

– Ну, так... мелкий комсомольский секретарь, хотя, честно говоря, не люблю это занятие. Вообще-то я просто командир БМП.

– Ну, Вы ещё и скромный! Красавец, комсомолец, по значку вижу, что спортсмен и большой скромник! Хотя последнее, может, и не очень хорошо.

И она снова стрельнула из-под чёлки пронзительным и, как мне показалось, насмешливым взглядом.

Тут я окончательно растерялся и стал злиться. Я думал, что отвожу домой девочку-школьницу, которая должна воспринимать меня как солидного взрослого мужчину. А девочка ведёт себя совсем не по-детски и даже, кажется, подтрунивает надо мной. Я хотел ответить что-нибудь такое... Такое умное и значительное. Но ничего не придумал и промолчал. Воцарилась затяжная пауза.

– Вот мы и пришли, – сказала девочка, останавливаясь метрах в двадцати от подъезда.

– До свидания, – сказал я.

– Ну вот, сразу «до свидания». А что Вы вдруг загрустили? Обиделись что ли? Ну, извините, я не хотела...

Она обняла меня за плечи и одарила некрепким, но долгим, нежным и очень чувственным поцелуем.

Потом она отстранилась и внимательно с лёгким смущением посмотрела мне в глаза.

– Ну, я пошла?

– Спокойной ночи, – сказал я, ощущая, как у меня на губах медленно тает её поцелуй.

– Что ж, спасибо, что проводили.

Она развернулась и не спеша, совсем не по-школьному покачивая бёдрами, направилась к подъезду. У самого порога она обернулась, движением головы откинула чёлку, на секунду задержалась, будто ожидая, что я ей ещё что-то скажу, и скрылась за дверью.

«Всё правильно, – глубоко вздохнув, подумал я. – Девочка несовершеннолетняя, да и папа у неё – чуть что – сразу стреляет».

Конфликт

Было у нас в роте несколько грузин – люди они каждый сам по себе душевные, к тому же пели хорошо и делали это часто. Я любил пообщаться с ними и даже выучил на грузинском языке пару куплетов «Сулико». Они ко мне тоже хорошо относились.

Вот только службу эти парни не любили и всегда искали повод, чтобы не пойти в наряд или не поехать на занятия. Один из них даже стал симулировать сумасшествие. Как-то безо всякой причины, дико крича, он запрыгнул на спину своему сержанту и прокусил ему ухо. Или во время маршброска он вдруг начинал с воплями срывать с себя всё и бросать в разные стороны, а потом падал на землю и продолжал кричать. Его земляки всем, включая меня, внушали: «Он же совсем сумасшедший. Как он может служить? Демобилизовать его надо». Только вот медики и отцы-командиры в сумасшествие этого солдата никак верить не хотели. Лишь один из грузин, уса́тый пулемётчик Цитаридзе, всегда и на стрельбы, и на марш-броски, и в наряды ходил без выпендрёжа, но при этом постоянно недовольно ворчал, перемешивая русские маты с грузинскими ругательными словами. Но, в общем-то, он был парень ничего и стрелял из пулемёта на «отлично».

Пока нам не прислали прапорщика, обязанности старшины в роте чаще исполнял Свирин. Он и наряды расписывал. И стали грузины на него давить: не ставь, мол, наших в наряды, а то плохо тебе будет. Однажды уже после отбоя, когда я только заснул, тихонько разбудил меня молодой боец, дневальный Тенгешев.

– Там, – говорит, – наши грузины привели своих земляков и в канцелярии со Свириным разбираются.

Я подскочил, штаны натянул, сунул ноги в сапоги без портянок, остальное надевал уже на ходу, только ремень надеть не успел, так и заскочил в канцелярию, держа его в руках. Грузины сгрудились перед столом, а Свирин, весь насу́пленный, стоял за столом у окна.

– В чём дело?! – возмущённо спросил я. – Что здесь происходит?

Моё появление в планы грузин не входило, и они даже как-то сконфузились.

– Не хотят ходить в караул, – коротко объяснил Свирин.

– Как это не хотят? Старшина обязан ставить всех, – обратился я к грузинам. – Как он будет объяснять офицерам, почему у нас грузины не ходят в караул? И вообще, почему узбеки, азербайджанцы должны ходить, а вы нет?! Вы что хотите, чтобы у нас тут какие-то разборки на национальной почве начались? Да особый отдел нам всем головы поснимает! Так что старшина будет ставить в наряды всех, и ничего вы ему не сделаете!

То ли моя короткая речь оказалась убедительной (особенно в части упоминания особого отдела), то ли грузины не рассчитывали на большой скандал с широкой оглаской, но самый старший из них по возрасту вдруг перевёл разговор в шуточный тон, а потом и вовсе на другую тему. Поболтав о том, о сём, все мирно разошлись, и грузины Свирина больше не прессинговали.

Я об этой ночной истории надолго забыл, а Свирин, похоже, нет. Однажды я простыл и чувствовал себя ужасно. Ночью почти не спал, а на следующий день мы работали в боксах, готовя технику к учениям. Со времён учебки я привык, что к тем, кто просится в санчасть, явно или в душе относятся как к сачкам, а потому старался никогда туда не отпрашиваться. Весь день я думал только о том, как бы дотянуть до вечера. Рассчитывал, что за ночь отлежусь, а там уже легче будет. И вдруг на вечерней поверке командир, оглашая наряд по роте, назначает меня дежурным. Как же я дотяну до утра?

И вдруг Свирин говорит:

– Разрешите мне вместо него?

– Почему? – уточнил ротный.

– Он болен, – ответил Свирин.

– Разрешаю, – сказал командир.

После проверки я подошёл к Толику:

– Спасибо. Как ты узнал, что я болен?

– А ты на себя в зеркало посмотри. – ответил он. – Я на тебя весь день поглядываю. Ты даже сумку командирскую в боксе забыл. Она у меня – зайди, заberi.

Я был удивлён такой внимательностью с его стороны. Свирин хотя и был своим парнем, всё же отличался некоторой холодностью, вовсе не был сентиментальным. И вдруг! Уже позже, вспомнив историю с грузинами, я соотнёс её с этим его расположением ко мне.

Разведподготовка

Как-то по расписанию у нас была разведподготовка. Взводный Цыбулов, который повёл роту на это занятие, знал, что в последние дни на нас свалилось множество нарядов. Мотострелки чаще всех в полку ходили в караулы, а в наше дежурство по разгрузке пришли вагоны с мукой, и потом, сразу после них – ваго-

ны с углём. С разгрузок в часть мы вернулись поздно ночью. Наш ужин в столовой давно остыл. А есть после тяжкого физического труда хотелось ужасно. Как назло среди ночи куда-то запропастился наш каптёрщик, так что переодеться не получилось. Свирин махнул рукой: пойдём так. Но идти в рабочей одежде было невозможно. Она пропиталась углём и мукой, которая, смешиваясь с потом, превратилась в чёрное тесто. Этим тестом были покрыты и наши волосы, и всё тело. Сбросив рубашки, мы, наскоро обмывшись в умывальнике холодной водой из кранов, по пояс раздетые, строем направились в столовую. Дежурный по столовой на это просто не обратил бы внимания: ему главное – быстрее убрать со столов. Но в это время с проверкой пришёл какой-то высокий чин из интендантской службы. Там же находился и прапорщик, завстоловой. Он заметался на крыльце, замахал на нас обеими руками, давая понять, что нам лучше уйти, но было уже поздно. Увидев появившегося рядом с собой проверяющего, прапорщик заволновался:

– Это что такое! Вы почему в таком виде! Безобразие!

– Спокойно, товарищ прапорщик! – ровным голосом остановил его интендант. – Эти люди просто перепутали столовую с баней. Так ведь? – почти ласково обратился он к стоявшему впереди строя полуголому Свирину.

– Так точно! – серьёзно ответил тот.

– Ну вот, всё выяснилось, – продолжил офицер. – Так что идите, товарищи, в баню! А потом оденьтесь и приходите сюда.

Про баню это, конечно, был трёп: кто нас среди ночи туда пустит? А может, интендант просто фигурально выражался. Зато ещё раз подтвердилось, что худа без добра не бывает: благодаря проверяющему нам подогрели ужин, что в подобных случаях было событием почти невероятным.

Собственно, эту историю я рассказал, чтобы было понятно, насколько мы устали в тот день и как поздно спать легли. К этому стоит добавить, что накануне мы вернулись из караула.

А на следующий день по плану была разведподготовка. Так вот, командир взвода, который вёл это занятие, войдя в положение солдат, завёл роту в лес и сказал:

– Тема сегодняшнего занятия: «Маскировка в лесу». Всем замаскироваться так, чтобы в течение двух часов никто не смог вас обнаружить.

Многие сразу же уснули. А я лежал на спине, глядя снизу на верхушки деревьев, в которых меж листвой поблёскивали осколки солнечной позолоты и ярко-синей небесной эмали. И было так тихо, спокойно и приятно, что засыпать было просто жалко. Я поднял с земли упавший с дерева, может быть, по вине какой-нибудь неосторожной птицы, ещё совсем зелёный листок и поднёс его к глазам. От падавшего на него солнечного лучика листок, кажется, светился изнутри, и в нём были хорошо видны множество крупных и мелких прожилок – там шла своя, не видимая нам жизнь. И я, как никогда ранее, ощутил временность всего происходящего со мной и окружающими и ценность каждой минуты, каждого мгновения, каждой мелочи, в которой бьётся хотя бы микроскопическая жизнь. Этот момент запомнился навсегда, и часто, когда мне было почему-либо плохо, я вспоминал этот тонкий, полупрозрачный листок, и мне становилось легче.

Гранатомётчик

В сентябре, на втором году службы в нашей роте наконец объявился гранатомётчик по фамилии Афонин, числившийся в моём отделении, но никогда мною не виденный. В начале службы его прикомандировали к какому-то армейскому подсобному хозяйству, располагавшемуся в другом населённом пункте, и он там ухаживал за свиньями. В преддверии дембеля его вернули родному подразделению.

– Кто мой командир? – спросил он, появившись в роте.

Афонин оказался весёлым и общительным разгильдяем, совершенно не знавшим службы. В первый же выезд на стрельбище он во время стрельбы гранатомётчиков с колена пытался пальнуть из перевернутого задом наперёд гранатомёта. Я тогда как раз был старшим на этой огневой точке.

– Стой! Не стрелять! – заорал я, бросившись к нему.

– Что случилось?! – подхватился Афонин, продолжая держать гранатомёт на плече.

– Как что?! Гранатомёт наоборот перевернул!

– Тьфу ты! – выдохнул Афонин. – Так бы сразу и сказал, а то орёт, я даже испугался.

– Афонин! – я никак не мог отойти от пережитого стресса.

– А ты представь себе, как другие испугались!

При этом я имел в виду не только себя. Всех, кто стоял за огневой линией позади моего гранатомётчика, как ветром сдуло.

– Ты что за два года гранатомёта в глаза не видел? – уже спокойнее спросил я.

– Почему? Видел, когда его за мной закрепляли. И даже в руках подержал.

Тут и ротный подоспел:

– Гони ты в шею этого свинопаса! – закричал он. – Он два года не стрелял и пусть ещё два месяца не стреляет! На хрен нам такой боец! Чего ты его на огневую выпустил?! Ты спросил, умеет ли он стрелять?!

– Так ведь, старослужащий... – начал оправдываться я.

– Видели мы таких старослужащих! В свинарнике!

– Да я особо и не просился на эту вашу огневую, могу и не стрелять, – обиделся Афонин.

– В наряд! На кухню! – перебил его ротный. – В посудомойку!

– Гранатомёт разряди, – сказал я Афонину, – или нет, дай лучше мне...

– А ты идёшь дежурным по кухне! – обернулся ко мне капитан. – Расскажешь там ему, как надо гранатомёт держать. Пусть на черпаках тренируется. Хорошо ещё, что никто из начальства не видел этой нашей концертной самодеятельности.

Перед дембелем Афонин успел побывать с нами на учениях. Из гранатомёта, правда, пострелять ему так и не довелось, зато он оказался прекрасным знатоком грибов и большим умельцем по части их приготовления. Поскольку большую часть передвижений осуществлялась нами по просёлочным лесным дорогам, у Афонина было достаточно возможности, чтобы проявить эту свою способность. В пути то и дело происходили какие-то пробки и заторы, в которых колонна нередко простаивала минут по двадцать. Я в этих случаях выбирался на броню, садился на башню, доставал из противогазовой сумки какую-нибудь книжку и читал, пока резко усиливавшийся шум двигателей впереди не возвещал, что колонна трогается с места. Тогда я начинал осматриваться по сторонам, ища глазами Афонина среди лесных зарослей и беспокоясь, что он может отстать. Тот же, находясь где-нибудь в сотне метров от просеки, тоже на слух улавливал начало движения колонны, и, когда наша машина уже трога-

лась, нёсся к ней вприпрыжку, прижав к себе полную каску грибов так, чтобы не вытрясти из неё содержимое. Вскоре грибами было завалено всё внутри машины.

– Мне уже дурно от одного их запаха, – жаловался один из стрелков.

Зато на привале мы объедались жареными грибами, ещё и делились с соседями и офицерами, а я звал к нам своих друзей – еланских и чебаркульских сержантов.

После учений стал к нам в роту захаживать оперуполномоченный особого отдела капитан Метлицкий. Он буквально ходил по пятам моего гранатомётчика, пытаясь уличить его в том, что он на своём прежнем месте службы продал немцам какие-то стройматериалы. А тот стоял на своём: «Не видел я никаких стройматериалов. Не знаю ничего!». И лишь в последний день перед отправкой домой после прощального визита оперуполномоченного у него вырвалось:

– Да ничего ему не обломится! Не докажет он ничего!

Впрочем, случаев продажи немцам разного армейского имущества в ГСВГ было множество. Как-то приехали на стрельбы по движущимся мишеням, а мишени не движутся. Оказалось, электродвигатели с них поснимали. Немцам попасть на наши стрельбища было проблематично, да и ни к чему. Наши ребята, работавшие на полигонах, сами откручивали эти движки и по дешёвке, за пару бутылок водки немцам отдавали. А те использовали их на дачах для полива грядок с помощью самодельных электронасосов.

В связи с этим вспомнился случай, как я, будучи дежурным по столовой, случайно услышал разговор прапорщика-завстоловой с заместителем командира полка по тыловому обеспечению. Накануне наш комдив получил очередное звание, и по этому поводу в части намечался банкет. Вот зампотыл и просил прапорщика, чтобы на банкете были серебряные вилки и ложки, «как в прошлый раз».

– Нет у нас больше серебряных вилок и ложек, – угрюмо ответил тот.

– А куда они делись? – удивился зампотыл.

– Так ведь в прошлый раз наши офицеры со своими жёнами, уходя, рассовали всё серебро по карманам. Я метался, кричал: «Товарищи! Товарищи! Положите обратно!», но меня все только посылали подальше...».

Так что же можно было спрашивать с нашего Афонина и с других солдат?

Мирон

Как я уже говорил, наши еланские и чебаркульские сержанты образовали в роте дружную команду, которая реально и определяла всё в подразделении, и деды с этим смирились. Только сержант из Ивано-Франковской области Мирон Грыцюк, также приехавший из Елани, где был с нами в одном учебном взводе, так и не стал полноценной частью нашей компании. Его мы вроде бы и считали своим, но не во всём доверяли.

В учебке он был тихим, малозаметным, и если запомнился, то только тем, что всё время был каким-то полусонным. Помнится, я попал вместе с ним в наряд по роте. Ночью он должен был сменить меня на посту возле тумбочки. Я с трудом растормошил его. Он открыл глаза, посмотрел на меня недоумённо и спросил:

– Витя, то ты? А шо случилось?

– Тебе пора «на тумбочке стоять» (так принято говорить в армии), – сказал я ему. – Ты в наряде по роте.

– А-а, – протянул он и вроде бы стал подниматься.

Я быстрее побежал на место, поскольку в подразделение может зайти какой-нибудь проверяющий. Жду, жду – нет его. Снова бегу к его кровати, а он спит. Снова растормошил его, посадил, он проснулся и опять:

– Витя, то ты? А шо случилось?

И так четыре раза. Дневальному положено было спать два часа, из них полчаса я будил Мирона и с тех пор старался вместе с ним в наряд не попадать.

Когда мы приехали в Германию, из нашей новой роты ещё не успели отправиться в Союз заканчивавшие службу деды, которых там все называли не иначе как свирепыми. И вот прибыли мы в казарму вечером, деды стали нами интересоваться – кто да что. И тут Мирона как понесло. Весь напыжился, стал всячески цену себе набивать и перед дедами похваться да прислуживаться. Тем это понравилось, они налили ему чарочку водки и стали Мирона подзадоривать. «Вот, – говорят настоящий сержант, сразу видно. Этот тут всем жару задаст! А ну-ка, сержант,

покажи, как ты умеешь подчинённых драть. Погоняй-ка роту по подъёму-отбою». Мирона ещё больше понесло.

– Рота! А ну-ка, слушать меня! Я тут с вами шутки шутить не собираюсь. Вы ещё узнаете, что такое настоящая служба. Рота, отбой!

Все бросились раздеваться и укладываться в постели.

– А вы? – спросили деды нас, молодых сержантов из Елани и Чебаркуля.

Мы сбились в одну кучку:

– Нас уже тренировали, – сказал Свирин.

– Ты смотри, какие борзые сержанты приехали из учебки! – возмутился один из дедов, видимо, самый свирепый. – Ваше счастье, что у нас уже нет времени на ваше воспитание!

– Ну, постоит пока...

Деды снова увлеклись наблюдением за отбоями и подъёмами.

– А ну-ка, рота, подъём! Время пошло! Кто будет не успевать, тот пожалеет, что попал служить в эту роту! Шевелись! – кричал Мирон

– Драться будете? – спросил Ряскин двух чебаркульцев, с которыми мы ещё не успели толком познакомиться.

– Нас только двое, – сказал маленький, кривоногий с острыми чертами лица сержант (это был Мирон). – А вас мы ещё не знаем.

– Мы вас тоже ещё не знаем, – ответил мудрый Свирин, – но уже на вас рассчитываем.

– Это дельный разговор, – сказал, протянув Свирину руку, другой чебаркулец, белобрысый, среднего роста, слегка неуклюжий, с крупными чертами лица и большим носом, оказавшийся сержантом Терёхиным.

Словом, пока деды развлекались, всё более и более раззадоривая Мирона, у нас уже сложилась своя спетая компания. В конце концов Мирон устал гонять роту, и деды, оставив его, занялись своими делами. О нас они, кажется, тоже забыли. Мирон же с грозным видом, выпячивая грудь и стараясь делать низкий голос, ходил по расположению и цеплялся к солдатам.

– Шо ты на меня так посмотрел, – пристал он к гранатомётчику-узбеку. – Я не люблю, когда на меня так смотрят. Может, ты думаешь, шо ты сильно умный. А ты знаешь, шо я могу?

Мы своей группой стояли в коридоре.

– Слышь, Мирон, пойд-ка сюда, – попросил его Панченко.

– Шо там такое?! – грозно спросил, Мирон, но подошёл.

Я постарался смягчить ситуацию и приятельским тоном сказал:

– Мирон, может, хватит уже выпендриваться? Ну с чего тебя вдруг понесло? Ты бы видел себя со стороны!

– Так шо, вы мне будете мешать наводить порядок в роте? – деланно удивлённым тоном спросил Мирон. – Я не посмотрю, шо мы с вами были в одной учебке. То вообще ничего не значит.

– Парни, смотрите, какого гада мы с собой привезли! – возмутился Панченко. – Можно я ему врежу один раз?

– Но-но-но, – сказал Мирон. – Смотри, а то тебе тут сейчас врежут – мало не покажется!

– Может, он не гад, а просто пьяный? – спросил маленький сержант из Чебаркуля.

– Он просто пьяный гад! – заключил Панченко. – Как мы его там не разглядели?

– А как бы мы его разглядели, если он там всё время спал на ходу? – включился в разговор Свирин.

Видя настрой остальных сержантов, Мирон несколько поутих, и все, включая его, стали укладываться спать.

– Только очень крепко не спите, – предупредил Гена Свирин.

Наверное, из-за этих его слов я долго не мог уснуть, потом раза три просыпался, прислушивался к разным шумам и даже выходил в коридор и заглядывал в умывальник.

Однако ночь прошла спокойно. А утром деда дружно уехали на дембель. Мирон же проспался и сдуслся, словно воздушный шарик. Он стал разговаривать с каждым из нас заискивающим голосом и всячески изображать своего в доску парня. Мы, конечно, были незлопамятные, но, как говорится, осадок остался. А солдаты старались всё время припоминать ему этот вечер. Часто они морально издевались над ним, а некоторые считали своим долгом сделать ему какую-нибудь пакость. Даже со своим отделением отношения у Мирона не сложились. Бойцы подставляли его перед начальством где только могли. Например, офицер спросит солдат: «Вы почему в таком неряшливом виде?» или «Почему вы так плохо отстреляли?».

А солдаты отвечают:

– Так у нас командир – сержант Грыцюк!

Наше елано-чебаркульское сообщество решило, что мы не должны давать его в обиду, поскольку он всё-таки один из нас. Но за всеми не уследишь. К тому же и сами мы, чего греха таить, над ним иногда подтрунивали.

Как-то на учениях во время атаки он перестал выходить на связь. Командир на ротной волне сделал переключку – все отозвались, а Мирон нет. Долго не могли его вызвать. А у него возникла проблема с настройкой радиостанции. Вместо голоса ротного всюду в его радиостанции звучали немецкие голоса. Тут он на мгновение прорвался в эфир, и все услышали только обрывки фраз:

– ... Кругом немцы! Немцы кругом!..

Хотя и не любили мы Мирона, но все заволновались.

– Наверное, что-то случилось! – кричал Ряскин.

– Да вижу я его! Что с ним может случиться? – отвечал ротный.

– Он сказал: «Немцы кругом!» – волновался Вася.

– Ну, ясный хрен, мы же в Германии, – отвечал ротный. Радиостанцию не может настроить, кретин! И вообще, хватит засорять эфир пустой болтовнёй.

С тех пор у нас стало модной шуткой: подкрасться к Мирону, когда он по своему обыкновению где-нибудь задремлет, наклониться к его уху и тягучим потусторонним голосом сказать:

– Ми-ро-он, просни-ись, не-е-мцы кругом, кругом немцы!

Перед дембелем он через знакомых солдат, служивших на складе, пытался заменить старую шинель на новую. Так ему подсунули женскую, которая отличается только тем, что застёгивается на другую сторону и что у неё выточки на груди. Мирон сразу на это внимания не обратил и, спохватившись лишь в последний момент, пытался её срочно обменять. На складе же ни в какую на обмен не соглашались, и чем всё закончилось, я так и не узнал, поскольку уехал домой раньше его.

Из этой истории я для себя сделал простой вывод: не подличай, когда за тобой сила, тогда, если ты окажешься в слабой позиции, возможно, и тебе не станут делать гадости. По крайней мере, ты сможешь по праву на это рассчитывать.

Последние дни

И вот приближается демобилизация. Многие солдаты и сержанты всё свободное время проводят за подготовкой к отправке домой. В первую очередь жесткими железными щётками начёсывают шинели, после чего они выглядят новее, ушивают парадные брюки и кителя, начищают до блеска ременные пряжки, кокарды и гвардейские значки. А ещё оформляют дембельские альбомы. В особом почёте те, кто умеет хоть как-нибудь рисовать или просто перерисовывать и раскрашивать. Купленные в гарнизонных киосках альбомы с надписью на обложке «На память о моей службе в ГДР» украшаются яркими, покрытыми лаком изображениями гвардейских значков, танков, БМП, сочетаемыми с крупными аббревиатурами «ГСВГ». Помещаемые в них фотографии чередуются с приобретёнными в магазинах красивыми открытками с видами немецких городов и переводными картинками с изображением красивых женщин.

У меня на всё это времени как-то нет. Нет и ощущения скорой демобилизации. Почему-то я всё свободное время занят наглядной агитацией, какими-то комсомольскими мероприятиями, готовлю к сдаче дела. Получил направление от политотдела дивизии на поступление в университет.

Спыхватываюсь я уже за неделю до отъезда, увидев на стене казармы график отправки демобилизованных по республикам и областям СССР. Наскоро оформляю альбом, пренебрегая непрофессионально и оттого грубо и аляповато сделанными иллюстрациями, но не отказываясь от переводок с красавицами. Ну, а виды германских городов – это необходимая часть оформления. От них сразу веет воспоминаниями.

Взял железную щётку, стал начёсывать шинель – она у меня ничего, вот только на учениях у костра слегка огнём прихватило, осталось небольшое пятно. Но под воздействием щётки оно медленно исчезает.

– Не стоит возиться, – говорит сержант младшего призыва азербайджанец Гидаят. – Какой размер?

– Сорок восьмой. А что?

– Я тебе новую на складе достану.

Я упираюсь – да зачем она мне, что я в ней на гражданке ходить собираюсь? Но Гидаят, улучив момент, когда я отхожу в

сторону, сдёргивает мою шинель с гладильной доски и быстро направляется к выходу.

– Сафаров! – окликаю я его вслед. Но он, не оглядываясь, уходит, и я уже не пытаюсь его остановить.

– У меня земляки на складе работают, – довольно говорит он, возвратившись через полчаса и положив новенькую шинельку на спинку моей кровати. – И у них с этими шинелями нет никаких проблем, особенно если принести взамен старую, которую можно списать. Как раз по тебе!

Я примеряю: шинель точно по мне, что, впрочем, не удивительно, мы с Сафаровым примерно одного роста и телосложения, и, видимо, он примерял на себя. «Что ж, в конце концов, я её не украл и не отобрал у молодого солдата, как делают многие деды», – успокаиваю я себя.

Конец октября. Последние денёчки в Германии, тёплые, но не жаркие, солнечные, но не слепящие. Солнце такое ровное, спокойное, как на картинах у Нестерова – набор репродукций которого я приобрёл как раз перед отправкой в армию. В лесах свежо.

Мы с еланскими сержантами вызвались ездить в грузовике, искать камни, используемые в качестве бута для фундамента нового бокса, который после приезда маршала Гречко превратился в полковую ударную стройку, и на неё бросили всех, кто не в наряде. Ездим по просёлочным дорогам, где камни обнаружим – в кузов. Работа спокойная, а главное – не в гарнизоне, без присмотра офицеров и на природе, среди чудных осенних лесов. А воздух такой свежий, прозрачный, наполненный запахом хвои и листвы. Чувствуем себя почти как на гражданке. Но вот и последние стрельбы. Через пару дней первые из нас уже отъезжают.

– Вася, – по-дружески говорит ротный Терёхину, – там у нас десяток солдат на стройку попросили. Иди-ка ты лучше с ними бригадиром. При твоей невезучести чего доброго ещё и в последний день с тобой что-нибудь приключится. А тебе домой лететь.

– Может, и вправду так лучше, – легко соглашается Василий. Ехать на стрельбы ему явно не хочется.

Последние патроны, получаемые на пункте боепитания. Последние улетающие вдаль трассера. Последние падающие на желтеющую траву гильзы и медленно лежащиеся вдали много-

страдальные мишени. Вот и всё... Мы возвращаемся в часть незадолго до обеда.

– Пойдём, проведем нашего прораба, – шутит Виталий.

Мы идём на стройку, находим там наших солдат.

– А где сержант Терёхин? – спрашиваю я молодого бойца.

– В санчасти, – отвечает тот. – Его ударило по голове крюком подъемного крана.

В санчасти Василий встречает нас с головой, забинтованной вокруг лица.

– Удружил ротный, – с грустной иронией говорит он. – Лучше б я пошёл стрелять.

– Что ты! Что ты! – машет на него руками Виталий. – Бог с тобой!..

Василий уезжает первым из нас. Мы провожаем его на построении отъезжающих у штаба части. У него всё ещё перебинтована голова.

– Возвращаюсь, как с войны, – виновато улыбаясь, говорит он. – Но главное, жив остался! Ничего меня не берёт!

Мы смеёмся и тискаем его за плечи. Всем жаль расставаться с нашим невезучим другом и с его грустным юмором.

Возвращение

Но вот пришёл и мой черёд покидать Германию. Никогда я не вёл дембельского календаря, не делал зарубки на ремне, более того, никуда ехать особо не хотелось, разве только чтобы увидеться с близкими и друзьями. Предлагали мне отправиться по направлению части то в школу прапорщиков, то в военное училище. Но меня всё не покидала мечта поступить на исторический факультет.

Последнее построение у штаба полка в числе ребят, вместе со мной отбывающих в Донбасс. Наличие запрещённых вещей и фотографий у нас проверял некто Гопкевич, один из худших солдат нашей роты, сачок и разгильдяй, успевший оформиться на сверхсрочную службу и переодевшийся в офицерскую шинель с погонами младшего сержанта. Он смотрит на меня, вспоминает, как я гонял его за чрезмерную хитроумность, и чувствует себя барином.

– Ну что, – говорит Гопкевич, – запрещённые к вывозу фотки есть? Доставай альбом.

Альбом пришлось достать. И вот свехсрочник с ехидной насмешкой пролистывает его и пытается выковыривать из него обычные снимки, на которых нет ничего секретного. И в душе у меня закипает.

– Домой приеду, ребятам в часть напишу, они тебе голову оторвут, – тихонько говорю я ему.

Гопкевич вкладывает на место уже вытащенные фотографии и возвращает мне альбом.

– Ну, счастливо, – уже по-доброму улыбаясь, говорит он и пожимает мне руку.

Дальше всё происходило как-то быстро, и мало что запомнилось. В памяти хорошо сохранился лишь пересылочный пункт. Там нас разделили по авиарейсам. Отправляли ребят домой по регионам. Но началась какая-то путаница. Нашу группу, в которую входили ребята из Донецкой и Луганской областей, почему-то определили на Казанский рейс. В этой группе, состоящей из восьмидесяти человек в разноцветных погонах, я был один в старшинском звании, и сопровождавший нас капитан назначил меня старшиной рейса. А я уже было расслабился, почувствовал себя свободным человеком. Но тут пришлось периодически всех строить, проверять наличие людей по списку, водить их на кормление в столовую и получать сухие пайки на дорогу. Это было сложно. Во-первых, потому что невозможно так сразу всех своих запомнить в лица. Во-вторых, ребята уже отслужили, были самыми настоящими дембелями, и им не хотелось кому-то подчиняться. Но мне повезло, что в этом рейсе оказались хорошо знакомый по учебке Лебеда и ещё несколько человек из Еланских лагерей. Эти ребята сохранили в Германии красные погоны, поскольку служили в расположенном недалеко от нас мотострелковом полку, негласно носившем название «китайский» из-за большого числа служивших в нём призывников из Средней Азии. Они быстро уgomонили тех, кто пытался выпендриваться, и все, хотя и без особого энтузиазма, стали мне подчиняться. Я то и дело бегал среди огромной массы дембелей, многократно выкрикивая:

– Казанский рейс! Казанский рейс!..

Потом был аэродром, где мы сутки просидели у взлётной полосы, ожидая отправки.

Вспоминали учения, разные случаи на них.

– А мы ничего такого не видели, – грустно сказал солдат с голубыми погонами. – И даже автомат за всю службу всего два раза в руках держали.

Стоял ноябрь, и ночи уже были холодными, а зажигать костёр было нельзя. Чтобы согреться, несколько человек стали стучать по чемоданам, словно по барабанам, а другие начали танцевать в задаваемом этим стуком быстрым ритме. Потом устроили состязания, кто кого перетанцует. Втянулись в танц-марафон и остальные. В итоге всех перетанцевал небольшого роста, внешне выглядевший взрослее других усатый парень из Макеевки. Даже после того как все остальные «отвалились», он как заведённый продолжал плясать ещё минут пять. «Барабанщики» и те выбились из сил.

Утром ребята начали бузить. Некоторые призывали выйти на взлётное поле и не давать самолётам разгоняться. Я уговаривал их потерпеть ещё немного, потом бежал к сопровождающему офицеру, объяснял ситуацию, просил ускорить отправку, он шёл к командованию аэродрома и приходил с утешительными новостями. Так повторялось раза три. Потом у некоторых незнакомых мне солдат и сержантов терпение лопнуло.

– Пошли на поле! – вновь начали агитировать они.

– Займём самолёт, сядем в него, и пусть попробуют нас оттуда вытащить! – кричал отчаянного вида парень-артиллерист.

Самые решительные двинулись на взлётку. Я стал перед ними, широко расставив руки:

– Стойте! – закричал я. – Подождите! Давайте ещё раз поверим, и если нас не отправят, тогда мы все пойдём на поле.

– Ты за себя боишься? – спросил кто-то. – Ты же наш старшина!

– За всех боюсь, – ответил я.

Бывая в комитете комсомола и политотделе дивизии, я урывками слышал, что не так давно наши самолёты бомбили свой же корабль из-за того, что там взбунтовалась команда. Тогда говорили, что корабль хотели угнать в страны НАТО. Но потом оказалось, что боевое судно шло в Ленинград и его команда требовала предоставления возможности в прямом эфире обратиться к гражданам Советского Союза. Вспомнив об этом, я подумал, что, если мы перекроем поле, а тем более займём самолёт, с нами церемониться не станут. А главное, ради чего

всё это? Сутками жил я на полигонах в снег и дождь и теперь ради возвращения домой вполне мог бы и здесь потерпеть. Наверное, и большинство солдат думали так же. Но сложившаяся вдруг сплочённая группа тех, кто больше не хотел ожидать, начинала брать верх. И тогда я сказал им про корабль.

Некоторые не поверили и стали говорить, что это очередная армейская байка и что все дембеля-моряки, наверное, на гражданке будут рассказывать, что эта история произошла на их флоте и чуть ли не на их корабле. Лебеда и другие ребята из Елани, которые знали, что я зря трепаться не буду, попросили рассказать подробнее. Но подробнее я и сам ничего не знал. Многие снова начали звать на поле.

И вот, когда уже стало казаться, что у меня кончились все аргументы, появился сопровождавший нас капитан и сообщил, что наш рейс отправляют. Самолет летел в Казань через столицу. В Москве проходили таможенный досмотр. И тут ребята снова взбунтовались: «Зачем нам лететь в Казань? Мы туристы что ли?!» В итоге всем выдали на руки отобранные ранее документы и отпустили восвояси. Интересно, что, несмотря на тщательный досмотр таможенников, некоторые умудрились провезти с собой порнографические снимки, а один – даже финский нож.

Ошибочно считая, что все поезда на Украину идут с Киевского вокзала, я и ещё человек семь дембелей на метро направились туда и там выяснили, что нам надо на Павелецкий, с которого скоро отходит поезд на Донецк. Время поджимало, и мы наняли стоявший у вокзала микроавтобус. Попросили таксиста провезти нас через центр Москвы. И я впервые увидел нашу столицу, пусть даже в тёмное время. Мы проехали мимо Кремля и Дома Пашкова, который я сразу узнал по картинкам в учебниках истории. Собственно, больше ничего от той поездки и не запомнилось.

На Павелецком до прихода нашего поезда оставалось ещё немного времени. Мы наконец остановились и осмотрелись. И теперь в глаза резко бросилась разница с Германией. На вокзале было много безвкусно и неряшливо одетых людей с угрюмыми лицами. Возникло ощущение какого-то серого колорита. В углу зала ожидания лежал пьяный бомж. И какое-то тягучее щемящее чувство пронзило вдруг меня. Раньше я никогда не замечал этой тоскливой серости даже в моём маленьком провинциальном городке.

В поезде, помимо нас, оказалось ещё человек пятнадцать-двадцать ребят с пресловутого Казанского рейса. Мы оккупировали ресторан и стали отмечать наше возвращение. Мне не хотелось после двух лет разлуки явиться к родителям с тяжкого бодуна, и я, выпив пару рюмок за компанию, ушёл спать. Однако ночью меня разбудили. В купе, где спал я один, стояла слегка полненькая симпатичная проводница лет сорока с седым мужчиной, тоже одетым в железнодорожную форму.

– Товарищ старшина, – сказал мужчина, – там, в ресторане, ваши ребята напились и безобразничают: столы двигают и пляшут так, что вагон качается. Если они не прекратят, на ближайшей станции мы вызовем милицию.

Мне захотелось сказать, что никакой я не старшина, что служба моя кончилась, что я просто еду домой и мне нет никакого дела до того, кто и что делает в ресторане. Но тут же подумалось, что ребят могут ссадить с поезда и забрать в милицию, а среди них были и парни из нашей еланской учебки. И я, молча надев китель, пошёл в ресторан. Там гулянье было в разгаре: одни плясали под громко включенную музыку, другие курили или шумно общались, перекрикивая друг друга, кто-то уже сидел на столе. Пытаться всех их перекричать или командовать ими было бы глупо. Понаблюдав пару минут, я заметил, что всё празднество вертится вокруг макеевского плясуна, который на фоне других казался почти трезвым. Подойдя, я тихо сказал ему на ухо:

– Сейчас будет станция. Там проводники собираются вызывать милицию. Нам нужны проблемы с милицией?

Парень быстро сообразил что к чему, прошёлся по ресторану, что-то сказал одним, другим, третьим, и все постепенно уgomонились, стали расставлять на место столы и усаживаться за них. Вернувшись в своё купе, я вновь попытался уснуть, но снова пришла полненькая проводница и стала мне рассказывать, что у неё очень хорошая дочь, а непьющих женихов у них в посёлке нет и хорошо было бы, если бы я приехал к ним в гости познакомиться. Я вроде как пообещал и даже адрес записал, но впоследствии, разумеется, никуда не поехал – что у нас в городе девчонок мало?

Едва мне удалось погрузиться в сон, как наступило утро, и оказалось, что я подъезжаю к своему городу. Многие дембеля уже успели сойти с поезда, из тех, кого я хорошо знал, осталось

четверо, в том числе и Петя Лебеда. Они проводили меня в тамбур. Я смотрел сквозь стекло на бегущие вдоль поезда деревья и железнодорожные строения, на мост, который в такой же пасмурный осенний день я, кажется, совсем недавно проезжал в другую сторону, и вместо ожидаемой радости испытывал только успокоение – вот и завершилось моё путешествие в другое измерение.

Новая жизнь

В моём городе ничего не изменилось. Абсолютно! Словно и не было этих двух лет. Те же тихие, малолюдные улицы. Те же тополя вдоль дорог, те же унылые дома, в основном довоенной и сразу послевоенной постройки. Тот же увитый диким виноградом длинный бетонный забор двухэтажной районной больницы. Я зашёл к маме на работу и попросил, чтобы её позвали. Она спустилась ко мне в холл со второго этажа и, молча обняв меня, тихо заплакала.

Мама рассорилась с отцом и в последнее время жила у бабушки. Но дома и она, и отец сделали вид, что ничего не произошло, так что об их ссоре я узнал только когда помогал маме переносить обратно её вещи.

Спустя несколько дней после возвращения я последний раз в своей жизни сходил на танцплощадку, где было уже мало знакомых и преобладали девочки и мальчики 15-17 лет.

Потом я прошёл собеседование в госуниверситете для поступления на стационарное подготовительное отделение (нулевой курс), после которого путь на факультет был открыт. Чувствовал, что отвечаю лучше других, но в списках поступивших себя не обнаружил. Как я потом узнал, из-за того, что истфак считался идеологическим факультетом, на нулевой курс негласно принимали только членов КПСС с двухлетним партийным стажем, и выпускники подготовительного отделения потом становились идеологическим костяком факультета и опорой его руководства.

Сходил в свою ремонтно-прокатную базу, и понял, что возвращаться в неё мне не хочется, как не хочется вообще возвращаться к тому, что уже пройдено. Получил сразу две повестки в милицию – в райотдел и в линейный отдел на железной дороге.

Уговаривали идти к ним на работу. В райотделе мне не понравился беседовавший со мной офицер, поучавший:

– Не надо быть слишком интеллигентным, потому что все люди – сволочи, такие же, как и мы.

Не понравился мне и неопрятный, расхристанный вид участковых, живо напомнивших мне киношных махновцев. И работать там я отказался. Зато в линейном отделе на меня хорошее впечатление произвёл и подтянутый внешний вид милиционеров, и дисциплина, и добрая атмосфера, которая там царила. И стал я постовым милиционером на вокзале. Меня должны были отправить на курсы в учебный центр УВД в Тулу, но эта отправка почему-то затянулась.

Главным преступлением на вокзалах была кража багажа. Там я на всю жизнь запомнил, что в дороге в этом плане надо быть предельно внимательным – не выпускать из вида свои вещи и не доверять случайным людям.

Был в линейном отделе капитан, который обожал разыгрывать спящих транзитных пассажиров. Подойдёт потихоньку, спрячет багаж где-нибудь поблизости, потом будит спящего и говорит:

– Товарищ, не спите, а то у вас вещи украдут

Человек, естественно, сразу смотрит, где его багаж – а багажа-то и нет. Было в линейном отделе много хороших ребят. Один из них – бывший десантник Саша. В одно дежурство он пытался задержать двоих типов, вскрывавших товарный вагон. Они забежали в самый тёмный закуток товарного парка, затем развернулись и бросились на него. Мужики оказались крепкие, и у одного из них был нож. Трудно бы пришлось Саше. Но вдруг из-под вагона вылез железнодорожник-обходчик и своим увесистым молотком дал по спине тому, что был с ножом. В то время встречалось ещё много людей, которые помогали милиции.

Мне за короткое время этой службы довелось догонять парня двухметрового роста. Его задержали на вокзале для проверки, поскольку он показался дежурному подозрительным. Но парень изловчился удрать из дежурной комнаты. Я в то время ещё не успел получить обмундирование и дежурил в гражданской одежде. Поэтому беглец, остановившийся в сотне метров от вокзала, подпустил меня довольно близко и бросился бежать в последнюю секунду, да так бежал, что, поскользнувшись на льду, со всего маха рухнул на землю. Я запрыгнул на него сверху

и ткнул ему в лицо служебное удостоверение. Тот в первое мгновение попытался сбросить меня, но, увидев документ, попросил засвидетельствовать, что не оказывал сопротивления.

В другой раз во время ночного дежурства задержание не проходило так легко. Подошёл ко мне местный бомж, и сказал, что если мы не будем в эту ночь выгонять его из вокзала на холод, то он покажет парней, которые обчищают карманы спящих пассажиров. И показал. Я с напарником подошёл, чтобы задержать их, но те оказали ожесточённое сопротивление. Кто-то из пассажиров позвал дежурного офицера, сообщив ему о происходящей в зале ожидания потасовке. Да ещё среди пассажиров оказался сотрудник ОБХСС в гражданской одежде, который ехал в командировку с какой-то проверкой. В итоге, уголовников-рецидивистов скрутили и отвели в дежурную комнату.

Любили постовые и подшутить над ворами. Помню, двое милиционеров, с которыми я дежурил, где-то нашли большой старый чемодан, набили его кирпичами доверху и, выбрав пассажира поздоровее, попросили оказать помощь милиции – поставить чемодан где-нибудь недалеко от выхода. Первое дежурство чемодан так и простоял. А во второй раз один вор на него клюнул. Выволок он чемодан из вокзала и потащил через перрон да через рельсы. Мои коллеги отпустили его подальше и уже издали стали кричать: «Стой! Стой!». Вор, видя, что расстояние уже приличное и можно попытаться уйти с добычей, заторопился. Споткнулся через рельс, упал, поднялся, снова схватил чемодан и, надрываясь, вновь пустился наутёк. Мы хохотали, а народ на перроне не мог ничего понять и потому тоже смеялся.

Так я проработал целый месяц или всего лишь месяц. И вот однажды ночью снится мне сон, будто я иду по университету. Там огромные залы, как во дворце, и широченная лестница. Спускаюсь я по этой лестнице, потому что меня не приняли в университет и мне надо ехать домой. А навстречу бегут по ступенькам радостные студенты и студентки. Проснулся я, и так тоскливо мне стало!

На следующий день из университета мне пришло короткое письмо: «Просим срочно явиться в деканат подготовительного отделения», которое я долго хранил, а куда оно делось потом, не знаю. В деканате рыженькая секретарша с романтическим именем Элеонора сказала, чтобы я шёл на занятия в такой-то корпус и в такую-то аудиторию, а после них подошёл к ней для

оформления в общежитие. Оказалось, мне помогла рекомендация политотдела дивизии, где среди прочего, говорилось, что я окончил партийную школу комсомольского актива. Словом, решили меня принять, несмотря на то, что я не был членом партии. Из милиции меня не отпускали и обещали отправить на учёбу в следственную школу. Но отец морально поддержал меня, сказав:

– Ты хотел на исторический? Принял решение? Вот и не отступай, отпускают – никуда не денутся.

Я и настоял на своём. Так я стал слушателем подготовительного отделения, которое, окончил с одними пятёрками, перейдя на первый курс. С поступления в университет началась у меня новая жизнь, не похожая на предыдущую.

А из прежней жизни я вынес главное: ничего на этом свете не бывает просто так, всё приносит свои плоды, каждый сделанный шаг влияет на судьбу. Не надо выпячиваться, подличать, лезть напролом и ходить по людям, ибо у любой медали есть обратная сторона, которая однажды даст о себе знать. Но и отсиживаться в закутках не стоит. И если ты, не кривя душой и не ища обходных путей, терпеливо и настойчиво делаешь, что должно, то рано или поздно получаешь свой шанс воплотить себя во всём, что тебе по силам.



СЕРГЕЙ КОЗЛОВ



Сергей Сергеевич Козлов родился 28 мая 1966 года в г. Тюмени.

Окончил исторический факультет Тюменского государственного университета (1990). Служил в армии. Первый рассказ «Параллели» напечатан в 1989 году в областной газете «Тюменский комсомолец». Рассказы и повести печатались в областной периодике, в еженедельнике «Литературная Россия»; в журналах «Врата Сибири», «Лукич», «Мир Севера», «Наш современник», «Приключения и Фантастика», «Сибирское богатство»; в коллективных сборниках и альманахах, в антологии «Литература Югры: 1930-2000. Кн. 2» (2002). Член Союза писателей России с 1999 года.

Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы (2004). Живет в Ханты-Мансийске.

Преподаватель кафедры журналистики Югорского университета, главный редактор газеты «Новости Югры». Лауреат премии газеты «Литературная Россия» за лучший рассказ 1999 года. Дипломант конкурса им. Алексея Толстого.

С декабря 2011 года – сопредседатель Югорского отделения Союза писателей России.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО РУССКОГО НЕБА

В такую ночь, кажется, вся Вселенная открывается. Глянешь в небо, и голова кружится. Звезд высеяно – и больших и малых – цветов разных и сияний всяких. И все это не просто мерцает-светит, а еще вроде как дышит, движется что-то там. Будто в механизм часов Господа Бога заглянул. Вращаются шестеренки галактик, цепляют друг друга, и сияет весь этот мудреный мир какой-то удивительной радостью творения. Сияние показать можно, движения отдельные описать, а объема не передать. Слов не хватит, потому как дух захватывает. И никакого чувства хаоса, напротив – размеренность и предначертанность во вселенском устройстве. В глазах рябит... Но важно – увидеть ту, главную звезду – Вифлеемскую. Ночь-то рождественская... А на земле топчется с ноги на ногу всего-навсего бречное тело, запрокинув голову в чарующее ночное небо, душа же будто соединилась невидимым лучом со всей этой звездной кутерьмой. И скользит душа по лучу и теряется в мириадах миров, в завихрениях туманностей, и непонятно, то ли она за взглядом, то ли взгляд за ней едва поспевает. Ночь же пронизанная, будто примороженная, а не привороженная даже вселенской тайной, ширится и объемлет маленький человеческий мир, наполняя его чудесами для тех, кто умеет видеть и слышать небо. Для тех, кто очень в них нуждается, для тех, кому в эту ночь не хватает любви и заботы.

Вдруг две маленькие, как крупинки, звезды сорвались с разных частей неба и ринулись вниз по наклонной к центру горизонта, столкнулись на середине пути и превратились в небольшую, но очень красивую вспышку.

– Вау! – воскликнул Ильяс, который никогда ничего подобного не видел. – Вау, – повторил он, как человек современный, и добавил, как учил его дед: – Хвала Аллаху, господу миров!

Несмотря на свое бедственное состояние, Ильяс не мог не восхититься увиденным. Он даже забыл, что смотрел в ночное небо от великой печали. Идти ему в этом чужом северном городе было некуда, даже добраться до аэропорта, где можно было

встретить земляков и получить хоть какую-то помощь, было не на что. Можно было радоваться, что прораб, выгоняя его с работы накануне праздника, милостиво швырнул ему хотя бы паспорт. И чужей город, сияющий не только окнами и огнями реклам, но и огромными белоснежными сугробами, никуда не звал его. Поэтому у Ильяса появилось время смотреть в небо. Много времени... А обида шептала ему, что теперь он вправе забрать честно заработанные деньги там, где они плохо лежат. Надо только хорошо подумать. Найти такое место или такой карман. И пусть потом кто-нибудь другой рассказывает про кризис и про то, что хозяин стройки вдруг разорился...

– Вы тоже это видели? – фразу произнес мужчина, который будто из-под земли вырос рядом.

Прежде чем ответить, Ильяс внимательно посмотрел на него: статный, седой, без головного убора, в длиннополом черном пальто и дорогих лаковых ботинках... Явно из тех, кто не думает, из какого кармана достать деньги. Точнее – электронную карточку.

– Видел, – сухо ответил Ильяс.

– Мне кажется, вас что-то печалит, раз вид такого удивительного неба не радует вас, – вкрадчиво и очень вежливо предположил мужчина. Но именно эта вежливость раздражала Ильяса. Более того, он из-за нее мог считать себя хозяином положения.

– Вы у каждого гастарбайтера спрашиваете, как у него дела? – иронично поинтересовался Ильяс.

– Нет, конечно, я редко бываю на улице.

– Много работаете? Офис-мофис?

– Не только поэтому, – уклончиво ответил мужчина и вдруг представился и протянул руку: – Меня зовут Илья Сергеевич.

– Ильяс, – он вынужден был протянуть руку в ответ.

– Ух ты, – удивился мужчина, – мы тезки. Просто у вас вариант арабский.

– Ну да... – сам удивился Ильяс и позволил себе немного оттаять.

– Так в чем же Ваша проблема? – участливо спросил Илья Сергеевич.

– Мировой финансовый кризис, – начал издали Ильяс, но Илья Сергеевич не дал ему договорить и задал другой вопрос.

– Вы очень хорошо, почти без акцента говорите по-русски. А возраст... Ну Вы точно не в СССР родились.

– Точно. Просто у меня отец был учителем русского языка. Его Ильхом зовут. Он был очень хороший человек.

– Был?

– Да, он умер.

– Извините.

– Ничего. Он давно умер. Я старший сын, должен заботиться о семье, и вот я приехал сюда, а тут случился этот проклятый кризис.

– Вам не заплатили и выставили на улицу в рождественскую ночь, – догадливо продолжил Илья Сергеевич.

– Точно.

– М-да... Не по-христиански...

– Да это вообще не по-каковски!.. – дал волю возмущению Ильяс. – Я просил денег хотя бы на билеты!..

– Вы позволите мне помочь вам? – перебил его Илья Сергеевич.

– Позволить? – переспросил Ильяс. – С чего бы вам это делать? – Он посмотрел на Илью Сергеевича с таким недоверием, что тот очень смутился.

– Беда нашего времени в том, что мы уже перестали доверять добру. Это страшно, – печально сказал куда-то себе под ноги Илья Сергеевич. – Мы в добре видим подвох! Последние времена... Явно последние... Но, – оживился он вдруг, – в рождественскую ночь должны происходить чудеса. Должно совершаться добро. Понимаете?

– Понимаю, – криво ухмыльнулся Ильяс, – прораб так и сказал: с Рождеством тебя, чурка...

– Не обижайтесь на него. Он просто недалекий человек. Вы ведь тоже как-то между собой называете русских?

– Валенки... иваны,.. – начал вспоминать Ильяс. – Кляты мурики! – это хохлы так говорили, которые с нами работали.

– Ну вот, – облегченно вздохнул Илья Сергеевич, – знаете, моя соседка Валентина Петровна – очень добрая старушка, она приготовила мне рождественского гуся, есть немного вина... Сама она побежала на службу в храм.

– А Вы? – спросил Ильяс. – Вы не пошли в храм? У вас же праздник... Мы Ису почитаем, как пророка.

– Если Христос узнает, что я вместо того чтобы пойти на службу, помогал человеку, Он не обидится.

– Даже если этот человек мусульманин?

– Человек – вот главное. Пойдемте ко мне, – запросто предложил Илья Сергеевич, – через интернет можно заказать вам билет на самолет...

– Вы что – дадите мне денег?

– Конечно, Вы же вернете, – удивился недоверию Илья Сергеевич, – Вы же тезка. Разве не так?

– А-эм,.. – Ильясу вдруг стало стыдно, он увидел этого пожилого статного мужчину насквозь. Илья Сергеевич располагал к себе без всяких объяснений, просто потому что был добр от природы. Ильясу стало стыдно, что он отнесся к нему с недоверием.

– Какое удивительное, какое глубокое и какое насыщенное сегодня небо, – Илья Сергеевич восхищенно шептал, запрокинув голову. – У ангелов много работы.

– Вы в это верите? – Ильяс тоже обратил взор к небу.

– Ну... У меня даже выбора нет.

– Как это нет?

– Ну... у каждого человека есть данный Богом выбор: верить или нет. А у меня нет. Я просто верю и все.

– Вы что, их видели? – грустно улыбнулся Ильяс.

– Как вас, – спокойно ответил Илья Сергеевич, – понимаю, – опередил он недоумение гастарбайтера, – я выгляжу, как сумасшедший. Очень жаль...

Ильясу снова стало стыдно. Он вспомнил, что в Фергане его ждет младший брат и младшая сестра, ждет бабушка, ждет Чинара... Младшие тоже верят в чудеса, от этого они немного счастливее, чем Ильяс, чем бабушка, вся жизнь которой это только труд и ничего более. И вот Ильяс не сможет сделать для них маленькие чудеса: хотел всем привезти подарки. А теперь стоит под холодным сибирским небом, пылится в него вместе с добрым, но явно сумасшедшим пенсионером, которого сначала принял, чуть ли не за олигарха. Странные и разные эти русские. Были такими большими и сильными, и что с ними стало? На что они себя растрастили? Почему половина русских продолжают считать себя великим народом, а другая половина спивается и заискивает перед Западом? Какая половина победит или останется? Или, как говорил мулла, через какое-то время русских

останется столько, что можно просто будет прийти на то место, где они были. Они с настороженностью смотрят на нас, мы – на них. Отец говорил, что когда-то у него был русский друг и этот друг был самым верным. Но его убили на улицах Ферганы... За то, что он был русским. А здесь – на этой улице – запросто могут убить Ильяса. Но вот стоит пожилой мужчина, и в глазах его светится добро. У него серые глаза... А у Чинары – голубые. Удивительное сочетание. Сама она бронзовая, волосы – бархатная смоль, а глаза – голубее неба! Может, где-то в прадедах у Чинары есть вот такой сероглазый Илья Сергеевич. У него, наверное, в юности глаза тоже были светлее и ярче, но потом их затянуло пеленой прожитых лет. У отца были такие же... Уже не карие, а похожие на пересохшую почву.

– Я верну Вам деньги. Прорабу все равно придется с нами рассчитываться. У нас все было по закону. Договор, карточка миграционная... Хотите посмотреть мой паспорт?

– Зачем? Чтобы поверить? – улыбнулся Илья Сергеевич.
– Не надо. Мы не в банке.

* * *

Квартира Ильи Сергеевича оказалась маленькой, но уютной. Две комнаты и кухня, стены которых превращены в стеллажи для книг. Тут не нужны ни водоэмульсионка, ни обои – тут со всех сторон корешки книг. Даже на кухне есть книжная полка.

– Вы все это читали? – восхищенно спросил Ильяс.

– Нет, очень хотел бы, но просто не успел и уже не успею.

– Отец тоже много читал... На русском... – шагая вдоль стеллажей, Ильяс нечаянно налетел на инвалидное кресло-каталку, которое стояло у кровати в спальне. – Извините, зазевался.

– Да ничего страшного. У меня как раз к вам просьба. Можете?

– ? – обратился во внимание Ильяс.

– Хочу передвинуть кровать к окну. Там хоть и дует, но зато видно небо.

– Конечно, помогу, – Ильяс тут же взялся с одной стороны за спинку кровати. – Туда двигать?

– Туда.

Они быстро и легко переставили кровать, как просил Илья Сергеевич.

– Ну, а теперь нас ждет гусь, которого запекла Валентина Петровна. Очень добрая у меня соседка. Очень. Если б не она, я, наверное, с голоду бы умер. Прибирает, готовит, стирает... Как за ребенком за мной смотрит.

– Моя бабушка тоже помогает одинокому соседу, – добавил Ильяс.

– Время такое. Все торопятся. Пожилые люди предоставлены сами себе.

– У нас не так. Мы уважаем старших, – твердо возразил Ильяс, – а соседу бабушка помогает не потому, что его дети бросили или мало ему помогают, а потому что ей самой так хочется.

– Ну и, слава богу, – улыбнулся Илья Сергеевич. – Вы немного вина выпьете или ислам запрещает?

– Немного можно. Ночью Аллах не видит, у меня друзья так шутят. Они современные люди.

– А вы, Ильяс?

– А я?.. Не знаю... – Ильяс по-прежнему бродил вдоль книжных стеллажей и все больше думал об отце. После его смерти книги вынесли в сарай. Старые книги с пожелтевшими страницами. На место книжных шкафов поставили современную мебель, новенькую аудиоаппаратуру. Удачная халтура в Москве тогда подвернулась. Строили торговый центр. «Да, странная нынче экономика, – подумал Ильяс, – магазины строим, а заводы не строим. Что будет продаваться в магазинах?»

Илья Сергеевич между тем включил компьютер и стал искать в сети заказ авиабилетов.

– А Вы кем работаете или работали? – спросил Ильяс.

– Я писал книги для детей.

– Писатель?

– Ну... можно так сказать.

– И много написали?

– Как посмотреть. Ну... вон... на той полке...

– А почему для детей? Детей любите? – Ильяс развернул одну из книг, бесцельно полистал.

– Люблю. Как же детей не любить. Они же ангелы.

– О! У меня младший брат такой ангел, – усмехнулся Ильяс, – шайтан, а не ангел. Только и успеваю его из неприятностей всяких вытаскивать. – Он подошел к столу, за которым сидел Илья Сергеевич, и увидел фотографию в рамке: молодой Илья

Сергеевич с красивой женщиной и двумя мальчиками. Скорее всего, погодками. У женщины были голубые глаза, как у Чинары. Не голубые даже, а почти бирюзовые. Но женщина была блондинкой.

– Это Ваша семья?

– Да.

– Они куда-то уехали.

– Да. – Илья Сергеевич неотрывно смотрел на экран ноутбука.

– На нем пишите?

– Ага, если Валентина Петровна не против.

– Как не против? – удивился Ильяс.

– Она за моим режимом следит. Чтобы не переработал.

– А-а-а...

– Ну вот, билет на завтра, до Ташкента. До Ферганы от нас не летают.

– Ничего, там я доберусь. – Ильяс стоял рядом, покусывая нижнюю губу в нерешительности, ему хотелось сказать что-нибудь очень теплое Илье Сергеевичу, но он не находил слов, да и не решался.

– А сейчас – за стол! Полночь скоро, праздник. Сейчас начнут запускать фейерверки. Те, которые от Нового Года остались. Глупо у нас в стране получается. Рождество после Нового Года...

– Илья Сергеевич, – наконец-то решился Ильяс, – я обязательно верну Вам все деньги. Может, не сразу, но обязательно верну. Вы хороший человек. Таких сейчас не бывает. Мой отец был таким...

– Это самые лучшие слова, которые ты мог сказать мне, – Илья Сергеевич опустил взгляд, потому что на глаза у него навернулись слезы.

– Я верну. Правда.

– Я знаю. Пойдем за стол. Думаю, тебе лучше приехать сюда уже в апреле. Кризис-то надуманный. Все уляжется. Весной работы будет больше.

– Я так и поступлю. Вы хоть и сумасшедший, но мудрый, – улыбнулся Ильяс, – простите...

– Да ничего.

– Я просто думаю... Вот как на Вас со стороны посмотрят. Подобрал какого-то первого встречного на улице, не русского, да еще дал ему кучу денег на билеты...

– Ах! Чуть не забыл! – спохватился Илья Сергеевич. – Вот, – он взял с полки книгу и вынул конверт, который лежал между книг. – Тебе нужны будут подарки твоим близким... – И торопливо упредил недоумение, от которого Ильяс потерял дар речи: – Бери-бери. Здесь не так много. Гонорар за последнюю книгу. Тебе сейчас нужнее. У меня еще пенсия. И Валентина Петровна. Бери же...

– Что скажут Ваши близкие?... – Ильяс покосился на фотографию.

– Ничего не скажут. Точно.

– Храни вас Аллах! – теперь уже на глаза Ильяса выступили слезы.

– И тебя храни Бог, – улыбнулся Илья Сергеевич. – Пойдем, если мы сейчас не съедим гуся, Валентина Петровна будет меня с самого утра ругать. Там еще и пюре... А вино у меня крымское. Настоящее. Каберне. «Массандра». Друзья прислали.

Они просидели до самого утра. Запеченный гусь с золотистой корочкой, пюре, зелень и красное вино окончательно расположили их друг к другу. Ильяс рассказал о своей семье, о Чинаре. О том, что они мечтают пожениться, но нужно заработать десять тысяч долларов на свадьбу. Меньше не получится. Нет, калым теперь уже пережиток. Калым может быть у богатых. Простые люди хотят счастья своим детям, и так же, как в России, родители жениха и невесты складываются на свадебные расходы. Но свадьба обязательно должна быть пышной. Шумной. Гостей должно быть много. И должны быть важные, именитые гости. А Чинара... Она такая стройная и немного высокая. Как немного высокая? Ну... немного выше, чем принято. Кем принято? Откуда стандарты? Ну, на Западе она была бы топ-моделью, а на Востоке надо быть чуть меньше... Чуть-чуть... Может, поэтому на нее еще никакой олигарх-бай глаз не положил...

Илья Сергеевич в основном слушал, спрашивал и задавал такие вопросы, что Ильясу самому было интересно на них отвечать. И, когда Ильяс хотел задать какой-нибудь свой вопрос, хозяин дома опережал его на долю секунды, и приходилось уступать старшему. После семейных историй Ильяс рассказывал о древнем Самарканде, Коканде, об Улутбеке и его деде – хромом

Тимуре. О том, какой красивый весенний праздник Навруз... За беседой они даже не заметили, как пролетело время, и, когда зазвонил телефон (диспетчер сообщила, что такси ждет у подъезда), они с удивлением заметили, что за окном огромными хлопьями летит снег. Весь мир удивительно обновился.

– Русская зима, настоящая, пушистая... Я в Европе работал, там нет такой, даже если есть снег, – сказал Ильяс.

– Да, – согласился Илья Сергеевич.

– Вы мне забыли дать свой мобильный телефон.

– Ах да, – смущенно спохватился Илья Сергеевич, как будто и не собирался этого делать.

Он черкнул на блокнотном листе цифры, имя и протянул его Ильясу.

– Если долго не буду отвечать, значит – в больнице, – пояснил он.

– Я все равно приеду и отдам долг. А они, – Ильяс неопределенно кивнул за окно, – отдадут мне. Я полгода не за «доширак» работал.

Когда Ильяс вышел из подъезда на улицу, он оглянулся, надеясь, что его новый старший товарищ смотрит в окно. Но за стеклом никого не было. Он глубоко вздохнул удивительно свежий воздух и посмотрел на небо, откуда падали вчерашние звезды. Мириады звезд. Ему нужно было сказать несколько слов небу, и он сказал, специально ломая русский язык акцентом:

– Папа, какой тебе большой рахмат за то, что ты заставлял меня учить русский. Какой рахмат тебе, отец! Принимай гостей лучше, чем собственного отца... – пришла в голову пословица. – Нет, так не бывает, – он еще раз оглянулся на окна Ильи Сергеевича. – Пока есть разум, узнавай людей... – вспомнил он вслух еще одну древнюю пословицу – и сел в такси, за рулем которого оказался его земляк.

– На ташкентский торопишься? – спросил таксист.

– Уважаешь язык, уважаешь народ, – ответил вдруг отцовской пословицей Ильяс, отчего земляк настороженно на него покосился, но потом быстро перевел в понятное для себя русло: – У русской девочки Рождество праздновал?

Ильяс не стал ему отвечать. Спросил, сколько стоит такси до аэропорта. Земляк с широкой улыбкой назвал двойную цену... «Как брату», – сказал он.

* * *

В этот город Ильяс вернулся, как и говорил ему Илья Сергеевич, в апреле. Даже не потому что так он посоветовал, а потому, что так сложилось. Почти четыре месяца он изо дня в день звонил своему старшему товарищу из далекой Сибири, но телефон был отключен. А потом позвонил тот самый прораб, извинился за грубость в рождественский вечер, сослался на то, что и сам тогда остался без зарплаты, но теперь обещал, что постепенно все выплатят, а бригаду надо собрать снова. Документы для договоров он уже готовит. «Ты же мастер, Ильяс», – уважительно сказал прораб в конце разговора.

Когда Ильяс спустился по трапу на летное поле, он снова увидел снег. Снежинки летели огромными хлопьями, словно вырезанные из салфеток, и падали плашмя на голые бетонные плиты. Было промозгло и зябко, отчего казалось, что сейчас даже по сибирским меркам не апрель, а ноябрь. А дома уже отцвел урюк... По внешним признакам Ильяс заметил, что город уже успел оттаять после долгой зимы, но вот она вернулась снова, будто что-то забыла. «Как они здесь живут?», – спросил он сам себя, одновременно задаваясь вопросом о том, что нужно пообещать Абдураимову Ильясу, дабы он согласился провести остаток своих дней в Сибири. Он согласился бы переехать сюда лишь по одной причине: если б здесь жила Чинара. «Чинара – восточный платан, – вспомнил, как над именем его любимой задумался в ту ночь Илья Сергеевич, – Это дерево в Древнем Египте считалось воплощением богини неба Нут». «Красивая богиня?», – спросил тогда Ильяс. «Как небо», – улыбнулся Илья Сергеевич. «У нее золотистые волосы, немного выются..., только глаза голубые», – сообщил Ильяс. «Небо в золотой оправе», – тут же нашелся писатель. Ильяс так и сказал Чинаре при встрече: «Ты мое небо в золотой оправе...». Ей очень понравилось. «Ты не начал писать стихи?»

И теперь, вспоминая ночной разговор, Ильяс почувствовал, как в душе у него что-то дрогнуло, ему захотелось сделать что-то доброе и значимое для Ильи Сергеевича. Он подхватил сумку и ринулся на стоянку такси. Почти не удивился, что оказался в той же машине, что в январе везла его в аэропорт. Земляк не вспомнил его, потому повторно дал визитку с телефоном (если вдруг понадобится такси) и рассказал местные новости.

У подъезда Ильяс остановился, посмотрел в окна. Они показались ему серыми и безжизненными. Какое-то недоброе предчувствие скользнуло в душу. Потом он долго и настойчиво звонил в дверь, но никто не открывал. Уже собрался, было, уходить, как приоткрылась дверь напротив, и в проеме показалось настороженное лицо старушки.

– Чего шумишь? Видишь, нету там никого...

– Не вижу. Дверь ведь не открывают. А Вы – Валентина Петровна, – догадался Ильяс.

– Откуда знаешь?

– Мне Илья Сергеевич про вас рассказывал, а гуся Вы готовите замечательно.

– Гуся? Какого гуся? – подпрыгнули седые брови.

– Мы на Рождество с ним ели. Он в храм из-за меня не попал.

– В храм?

– Да, он помог мне очень. Мне надо ему долг отдать.

– В Рождество, говоришь, – прищурила старушка белесые глаза, стараясь внимательнее рассмотреть гостя. – Где он тебя нашел-то?

– На улице, в двух кварталах отсюда. Мы на небо смотрели. Вместе... А потом мы еще кровать двигали...

– Кровать! Ой, Господи! Сколько же он меня, дуру старую, просил... Небо хотел видеть. На небо, говоришь, смотрели... очень это на него похоже. А во что он был одет?

– Темное такое длинное пальто. Шарф белый. И ботинки лаковые.

– Ух! – всплеснула отчего-то руками Валентина Петровна, а потом закрыла лицо ладонями и заплакала.

Ильяс теперь окончательно почувствовал беду и помрачнел. Он не решался ничего говорить, просто стоял и ждал.

– Пойдем-ка, – позвала старушка за собой в свою квартиру. – Как хоть тебя зовут-то?

– Ильяс. Я тезка Ильи Сергеевича.

– Заходи-ка, Ильяс. Заходи. На кухню пойдем, чай будешь?

– Зеленый, если можно.

– Я и сама зеленый уважаю. И Илья Сергеевич любил.

– Почему любил?

– Ты это... ты садись... садись...

По щекам Валентины Петровны теперь уже безостановочно текли слезы. Она и не пыталась их скрывать. Дрожащей рукой зажгла конфорку, поставила чайник. Села напротив.

– Ильяс, послушай, сосед мой умер в Рождественскую ночь.

– Когда я уехал? – испугался Ильяс.

– Тут не все просто... Тут чудо, понимаешь?

– Понимаю, он мне про это чудо всю ночь твердил. Говорил, в рождественскую ночь должны быть чудеса.

– Господи!.. – снова всхлипнула Валентина Петровна. – Всем соседям я говорила, что он, как праведный Иов. Он ведь неходячий был, понимаешь?

– Как неходячий?

– Да так, еще после аварии в восьмидесятом! У него вся семья тогда погибла, а он выжил. Вот только неходячим остался.

– Это... на фотографии?.. Семья?..

– Значит, ты точно у него был, раз фотографию видел.

– Красивая белокурая женщина и два мальчика. И он – молодой еще.

– Оленька, Саша и Володя... Я их всех знала. Илья Сергеевич потому детские книги и писал, что как бы для сыновей. Понимаешь?

– Понимаю, – у Ильяса в горле стоял комок. Такой большой и такой угловатый, что проглотить его было невозможно. Он проталкивал слова еле-еле, где-то по самому краю: – Но ведь он пришел туда сам... Мы видели, как упали две звезды...

– Да верю я тебе. Не поверила бы, никогда бы к себе не пустила. Ты как про кровать сказал, сразу все поняла. Мы же утром, когда пришли его проведать, с праздником поздравить, он и лежал на кровати. Долго гадали, кто же передвинул-то. Я-то боялась, что дует от окна. На пластиковые все денег не хватало. Рамы старые, деревянные, ветер гуляет, а ему простудиться – легко. Понимаешь?

– Понимаю.

– А он все просил. Видеть, говорит, хочу, Петровна, небо... А я дура старая!

– Он мне денег дал. На дорогу... На подарки...

– Это он, я знаю, – шептала сквозь слезы Валентина Петровна, – он и моему сыну на машину дал. Просто так. Похороните, говорит, только рядом с моими, землю я выкупил. А так, мол, зачем мне деньги. Понимаешь?

– Понимаю, – снова повторял Ильяс, но ничего не понимал, кроме одного – ему почему-то хотелось плакать вместе с этой старушкой.

– А пальто-то... Он тогда в нем и ехал. Гололед был. Из больницы его в этом пальто привезли... В ботинках этих лаковых. И он сказал мне: «Убери это все. Выброси». А я не выбросила! – Валентина Петровна засеменила к шкафу в прихожей и достала оттуда знакомое пальто: – Берегла! Нафталин, химчистка, гладила... Под полиэтиленом оно висело. Ты не мог этого знать. Понимаешь?

– Нет, – наконец-то сказал Ильяс и заплакал. Он достал из кармана тот самый конверт. – Вот, деньги. Я должен ему отдать. А это, – он достал из большой спортивной сумки огромный букет красных роз – для его жены. А тут еще зелень, мумие привез, подарки... Я должен ему отдать! Я обещал! Если это был не он, то – кто? Ангел, что ли? Он мне все время говорил, повторял – у ангелов в рождественскую ночь много работы. Рассказывал, как ангелы пришли не к царям, а к простым пастухам, потому что у тех не было гордыни... Потому что это радость для всех, а не для сильных мира всего.

– А он и жил, как ангел, – Валентина Петровна вдруг успокоилась, только говорить стала тихо и смиренно, – удивительной доброты был человек. Ему с каждым днем делалось хуже, а он становился добрее. Другие так обозлятся – почему так со мной, за что? А Илья Сергеевич только добрее становился. Расстраивался лишь последнюю неделю: ребятишки дворовые колядовали, а он на коляске не всегда успевал двери открыть, чтобы конфет им дать... И книжек... Гусь-то правда понравился? – спросила она вдруг как о чем-то очень важном.

– Очень!

– А я переживала. В храме стою, думаю, как он там один...

– Вы мне могилу покажете. Надо цветы увезти. Я такси закажу.

– Да покажу, милый, покажу...

– Может, он в последнюю ночь встал?

– Врачи сказали, что еще до полуночи сердце остановилось. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в небо. И телевизор включенный был за спиной...

– Не, телевизор мы даже не включали. Разговаривали. Долго разговаривали.

– Видишь, не все совпадает...

– Все. Совпадает все. Потому что такого человека больше нет.

– Это точно, – печально согласилась Валентина Петровна.

– А еще говорят – чудес не бывает. Он верил.

– Он сказал, что у него выбора нет. Только верить.

– И тебе сказал?

– Сказал... Он говорил, что любовь – это чудо. Что рождение детей – это чудо. Что моя девушка похожа на богиню неба... Поэтично так сказал. Ее Чинара зовут...

– Чинара? – встрепелась старушка.

Валентина Петровна быстро встала и направилась в комнату, оттуда вернулась с книгой, которую открыла на первой странице, где от руки был автограф.

– Вот, а я тут гадала, кому это. Думала, дереву, что ли подписал?

– Я хотел попросить у него книгу на память... Постеснялся...

– Значит, это тебе, – улыбнулась она сквозь слезы. – В руках у него была.

«Чинаре и ее детям. Дотянуться до русского неба», – прочитал Ильяс.

ОТЦЫ

Александру Смирнову

– Папа! – они крикнули оба – в один голос – пожилому мужчине, идущему по другой стороне улицы.

Разница была в том, что у одного отец уже давно умер, а у второго он был еще жив. Разница была в том, что второй только что выпрыгнул из дорогого авто, чтобы подняться по ступенькам банка на работу, а первый бежал по заданию редакции в тот самый банк без всякой надежды взять интервью у второго. Разница была в том, что первого звали Сергей, а второго Александр, и отцы у них были совсем разные люди...

– Отец! – снова повторили они в голос, и старик на той стороне улицы оглянулся. Оглянулся не потому, что обращались к нему, а лишь – чтобы узнать, кто там кричит на другой стороне улицы.

Разница была в том, что ни первый, ни второй, ни Сергей, ни Александр не признали в оглянувшемся мужчине своего отца, который еще миг назад казался им отцом настолько, что первый готов увидеть в мертвом живого, а второй поверить в то, что старик совершил путешествие в три тысячи километров, не предупредив об этом сына.

Старик на той стороне улицы некоторое время смотрел на двух озадаченных мужчин, затем повернулся в нужном ему направлении и снова стал наскрипывать снегом под ногами нехитрую песню походки пожилого человека. На слух это были две ноты – ми и ля. Правой ногой он ступал уверенно, и она звучала твердо: ми, а левую – немного подволакивал, и она растягивалась в ноту ля. Ми-ля, ми-ля – и получалась иностранная песня про милю. Видимо, все свои русские версты старик уже прошел и теперь выхрамывал иностранные мили. А может, это от иностранных лекарств, которые он принимал, чтобы продлить шаг больной левой ноги?

Очень скоро шелест шипованных по-русски автомобильных покрышек заглушил немудреную песню из двух нот, потом и сам старик затерялся в перспективе улицы, а двое мужчин так и продолжали стоять, глядя на то место, где он оглянулся. Потом, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Их разделяло небольшое расстояние.

– Мне показалось: это мой отец, – объяснил Александр.

– Мне тоже, хотя мой умер двенадцать лет назад. Просто...

– Сергей подыскивал слова. – Мороз, глаза слезятся, но очень похож.

– Удивительно, – Александр сделал несколько шагов навстречу и протянул руку: – Александр.

– Сергей.

– Может, выпьем по чашке кофе? Не каждый день встречаешь человека, который... – Теперь Александр потерял нужные слова.

– Вместе с тобой называет одного человека отцом, но не приходится тебе братом, – пришел на выручку Сергей.

– Точно! Как в какой-нибудь дурацкой загадке типа – сын моего отца, но не мой брат.

– М-да...

– Так как насчет кофе? У меня тут уютный кабинет. – Александр кивнул на банк.

– Вице-президент этого заведения должен был рассказать мне о новых условиях кредитования... – задумался Сергей.

– Ну так расскажу, только сначала кофе. Как-то у меня не проходит... вот здесь... – Александр постучал себя ладонью по груди.

– И у меня что-то ноет...

– Бывает же...

После второй чашки кофе в респектабельном кабинете, где лакированное дерево спорило с кожей, разговор пропитался запахом «маракажу» и сквознячком из приоткрытой двери в прошлое.

– Отец любил ходить со мной в книжный... особенно в букинистический, потому что там... – говорил Сергей.

– ... можно было купить редкие, дефицитные книги, – подхватывал Александр.

– Он никогда не жалел денег на книги, – в голос продолжили они и замолчали, глядя друг на друга также, как совсем недавно на площади.

– Ты под одеялом читал? – попытался найти разницу Сергей.

– Читал, – безнадежно отмахнулся Александр, – квадратная батарейка и лампочка – вот и все нехитрое освещение.

– Уф-ф-ф... – соглашался Сергей.

– Мой отец любил открывать для меня природу. Показывал мне...

– То – что незаметно с первого взгляда...

– Точно, – уже улыбался Александр, догоняя в лесу подростка. – Он еще любил петь. Пел так...

– Будто у него голос оперного певца. А еще птиц передразнивал...

– Было пару раз...

– Да нет, чаще, ты просто забыл. – Сергей уже настаивал, будто они говорили об одном человеке, хотя уже давно сверили описания, имена, профессии и выяснили, что отцы были совершенно разными людьми, но абсолютно похожими отцами.

– Эх! Если бы я мог так увлечь своего сына в книжном магазине! – сетовал Александр.

– Да куда там! Против телевизора и компьютера да при нашей беготне... Утром вышел на работу, оглянулся – а уже вечер.

– Да-а... В детстве день тянулся...
– Особенно, когда ждешь отца с работы...
– Или из командировки...
– Ну правильно, он же привезет что-нибудь. Безделушку какую-нибудь, но привезет.

– Да... Мой-то немного мог себе позволить. Я очень велосипед хотел. А это ползарплаты... даже больше. Он однажды взял меня, и ничего не говоря маме, повел в магазин.

– И купил два велосипеда! На всю зарплату. Сказал: будем ездить вместе...

– В лес...
– И на дачу...
– Рано утром...
– Рано утром...
– Велосипед – мечта такая... Наверное, так в прошлом о коне мечтали, как советские мальчишки о велосипеде.

– А нынешним сразу «Ауди» или «Бээмвэ» подавай.
– Мой – человек старой закалки.
– А мой – до последнего верил в социализм.
– Мой – до сих пор верит.
– При этом – у него сын топ-менеджер...
– Тьфу, слово какое неприятное... Ему наплевать, какая у меня должность, ему человек важен. Он вообще начальству не кланялся, не заискивал никогда.

– И мой тоже. Добрый был, но перед начальством не заискивал. Многие его доброту за слабость принимали.

– Может, это время сделало их такими? Эпоха?
– Может, это они делали эпоху?
– Они делали эпоху, а не деньги, потому и дни были длиннее...

– Я один в один так же подумал.
За окном пошел снег, и стало тихо. Молчание умеет лишать память. Красноречивое молчание – не парадокс, а слова, которые необязательно произносить. Но его нельзя затягивать, потому что оно становится неловким. И тогда на ум приходят необязательные слова.

– Может, еще кофе? – спросил Александр. – Может, коньяк?

– Может... кофе... Коньяк всё смажет. Банально – коньяк.

– Я тоже так подумал, просто предложил на всякий случай.

– Я вот подумал, – Сергей опустил глаза и тяжело вздохнул, – мне кажется, я предал отца... И теперь только в храме могу попросить у него прощения.

– Другая женщина?! – то ли спросил, то ли догадался Александр.

– Ну да, – горько ухмыльнулся Сергей. – Любишь же одинаково – и отца, и мать. Семья для ребенка священна. Но...

– Мать любишь немножко больше, потому что она тоже нуждается в защите. Она ближе, пока ты маленький, – подсказал Александр. – Я тоже застал своего отца с другой женщиной. Представляешь, ехал на подаренном им велосипеде по лесу и услышал его голос. Он пел.

– Оперным голосом.

– Ну да.

– Пел для другой женщины.

– Точно. У них был небольшой пикник на поляне. Я сначала наблюдал за этим со стороны, как говорят из кустов... Сразу все понял.

– А потом стало стыдно подглядывать – и ты вышел, – Сергей нерадостно улыбался.

– И я вышел. Отец посмотрел на меня печально, но не растерялся и налил мне выпить. В первый раз в жизни...

– Сначала ты решил ничего не говорить матери, чтобы не разрушить семью.

– Да. А главное – он не просил ни о чем.

– Ну да... Не просил. Он просто понимал, что мы, – Сергей говорил так, будто они оба дети одного отца, – еще не готовы все понять, все понять так, как надо. Только я долго жил с таким камнем на душе. Вроде, кажется, отвлекся, забыл. Ведь главное, понимаешь, что он любит мать и никого больше.

– Но это чувство обмана... Оно не дает покоя. Ты чувствуешь, что мать предана, ты изначально, можно сказать, автоматически на ее стороне. И потом всегда случится этот момент, эта откровенность между матерью и сыном, когда можешь рассказать всё, все свои тайны...

– И чужие... Он тебе говорил потом, что ты его поймешь только, когда повзрослеешь, когда у тебя будет свой сын?

– Говорил...

– Самое обидное, что ты-то уже его давно простил, а мать заберет с собой свою обиду на тот свет. Глупо как...

– По-мальчишески...

– Да уж... по-мальчишески. До по-отцовски еще дотянуть надо...

– Отец научил меня чему-то такому, чему не смог научить бы никто другой.

– И это не гвозди забивать, не шины велосипедные накачивать...

– Даже не за себя постоять...

– Не в технике разбираться, не в баню ходить...

– Даже не цели добиваться... Как же это назвать?

Они искали нужные слова, но Вселенная напряженно молчала, посыпая землю снежной манной, она тоже слушала. Ей хотелось знать, чему же такому может научить сына отец. Такому, что очень трудно высказать. Такому, что знает каждый, но оно неуловимо. Как та же снежинка. Поймал на ладонь – хотел сказать – ан нет, уже растаяла. А еще через минуту и капля влаги испарилась...

– Как же это назвать? – морщил лоб Александр, рыская мыслью в прошлом и будущем. – Чему нас научили отцы?

– Мужскому взгляду на жизнь, – несмело сформулировал Сергей.

Они какое-то время помолчали, пробуя выражение на вкус, и снова в один голос определили:

– Точно!!!

Всё. Определение есть. И чувство у обоих было такое, будто они только что доказали теорему Ферма или, скорее, нашли триста шестьдесят восьмое доказательство теоремы Пифагора. Нет, пожалуй, сформулировали саму теорему, которая доказательств уже не требовала...

– Твой отец водил тебя на рыбалку? – спросил Александр.

– Да и по дороге рассказывал...

– Истории из своего детства...

Оба на минуту снова переглянулись, продолжения не требовалось. Но вдруг Сергей глубоко вздохнул и совершенно безнадежно спросил:

– А ты водил своего сына на рыбалку?

– Нет. Всё только собирались.

– И мы... до сих пор собираемся.

Молчание стало грустным и густым, вырвалось за окно, и снег перестал падать. Сжатое время за стеклом выдавило из себя сумерки и свет из уличных фонарей. За пластиковыми окнами может быть только сжатое, ультрасовременное время, какой бы тавтологией это ни звучало. Сергей бессмысленно глянул на часы, всё равно не помнил о работе.

– А в книжные магазины мы все-таки ходим.

– И мы ходим. Только вот выбираем не то, что хотелось бы...

– Нам с тобой, – подхватил Сергей. – Представляешь, мой сын до сих пор не осилил все русские сказки. Зато всякой импортной лабуды если не прочитал...

– То накупал, – поддержал в свою очередь Александр.

– Правда, и я хорош... Не пою ему русских песен, военные песни не пою... А помню, шли с отцом и вместе горланили «По долинам и по взгорьям»... А еще потихоньку пели «С чего начинается Родина». И мама подхватывала.

– А у меня и голоса нет такого, как у отца, – посетовал Александр.

– Для этого не голос, для этого чувство надо. А нынешняя эпоха, если ее вообще можно так назвать, она бесчувственная. Притерлось всё, нивелировалось, душу не царапает, сердце не саднит. Время быстро меняющихся картинок. Как будто каналы в телеящике переключаешь. И странное получается сочетание: взрывы, катастрофы, наводнения, боль человеческая во всё ускоряющемся режиме, а параллельно этому шоку тянется серое, безликое равнодушие...

– Хорошо ты сказал, – задумчиво покивал Александр.

– Придет Христос, скажет: раздай всё, иди за мной... Сколько человек пойдет?

– А увидят ли вообще?

– Правда, знаешь, был тут один проблеск. Купил я сыну фильм «Белый Бим черное ухо». И совсем неожиданно для меня он сел его смотреть... Через минут сорок слышу из другой комнаты – плачет. Навзрыд. Пришел к нему, сел рядом... и тоже заплакал.

– О! – вспомнил о своем Александр. – А мы еще «Хатико» смотрели. Та же история...

– А потом я своего посадил силой смотреть «Батальоны просят огня». Он сначала упирался. Потом прижался ко мне, спрашивает: «Папа, а война она, правда, такая?».

– И что ты ответил?

– Ответил, что хуже. Он после этого фильма решил солдатом стать. Правда, ненадолго.

– Нет, а мой о защите Родины и не думал даже. Упустил я где-то... Для меня, говорит, вся Земля – Родина. И не хочу, говорит, быть пушечным мясом за чье-то право грабить и обманывать других.

– С одной-то стороны, правильно говорит, – рассудил Сергей.

– Но Родина всё равно есть!

– Есть... Тут надо уметь разделить – Родину и государство. Не одно и то же. Хотя, – Сергей исподлобья взглянул на Александра, – те, у кого есть средства, всегда могут свалить куда-нибудь, если здесь что-то начнется.

Александр посмотрел на собеседника с укором. Мол, не давал я поводов так о себе думать. Но вслух сказал другое.

– На заре ново-русского капитализма я тоже так мыслил. А теперь смотрю на то, что происходит, и сомневаюсь, что будет где-то такое место, куда можно будет свалить, если что-то начнется... Этого упакованные дебилы не понимают. Да и будут ли в этот момент что-то решать деньги? Или даже право владеть чем-то?

– Ты прав, – почти извинился Сергей, – если земля загорит под ногами, то в этот раз это будет вся Земля...

Оба посмотрели в окно, словно там уже можно было увидеть приближающееся пламя Апокалипсиса. Но за окном лежал только что выпавший снег. Тихий, чистый и ждущий весну.

Звук колокола разбудил задремавшее небо, и в нем проклюнулись первые звезды. В недалеком храме начиналась вечерняя служба.

– А я давно своему отцу за упокой молебен не заказывал, – вспомнил Сергей.

– А я своему за здоровье... Вот что! – спохватился Александр. – Поехали и сделаем это прямо сейчас!

– А кредиты? – устало вспомнил Сергей.

– Главное – там кредит не растратить, – Александр многозначительно кивнул за окно – в сторону подсвеченной прожекторами колокольни.

– Интересно, а наши сыновья за нас молебен закажут? Помянутся? – вопрос Сергея заставил их замереть, остановиться. Быстрое время тоже замерло. Ему интересен был ответ. Но наступающие сзади мгновения уже напирали, время скользнуло дальше: мало ли какие нелепые вопросы волнуют людей.

– Интересно, это мы плохие дети у наших отцов или наши дети стали хуже по отношению к нам? – вопросом на вопрос ответил, наконец, Александр.

Долго думать не пришлось, ответ пришел сам.

– А может, все мы стали неблагодарными детьми по отношению в Единому Отцу? – спросил у суеющего человечества Сергей.

Когда они вышли на улицу, то, не сговариваясь, посмотрели на то место, где увидели похожего на своих отцов старика. И!..

Он стоял на том же месте. Беспомощный и растерянный. Он явно что-то искал в сгущающихся сумерках. Точнее, не искал уже, а отчаялся найти. Постоял еще несколько секунд, развел руками и двинулся дальше, внимательно глядя себе под ноги.

– Что-то случилось, отец? – спросил Александр, когда они догнали его на другой стороне улицы.

Старик удивленно оглянулся, смерил взглядом двух мужчин и почему-то смутился.

– Да вот... случилось... Билет на самолет потерял. К сыну лететь собирался. И вот... – он безнадежно посмотрел на свежий снег под ногами. – Пошел еще внукам подарков купить... И где-то все обронил. Билет... Деньги... Пенсионное вот... Может, пенсионное дома оставил? – спросил он свою память. – В общем... хотел на Рождество... повидаться.

Александр и Сергей переглянулись.

– Самолет когда? – спросил Сергей.

– Утром завтра. До Москвы, потом до Донецка.

– Паспорт-то, отец, не потерял?

– Не, я вот... отдельно его ношу. В целлофане... У меня тут карман застегивается. На молнии.

– А внуков-то много? – как будто совсем о неважном спросил Александр.

– Четверо. Две внучки и два внука.

– Ого! – позавидовали в голос недавние собеседники.

– Ну тогда поехали в «Детский Мир», – Александр указал рукой на служебную машину, что ожидала на другой стороне улицы.

– Зачем в «Детский Мир»?! – даже испугался старик.

– Подарки внукам покупать...

– Вы это... вы откуда, ребята? – еще больше испугался старик. – Зачем вам это?

– Мы из СССР, – ответил Сергей первое, что пришло на ум.

– Отец, помнишь книга такая была – «Тимур и его команда». Так вот, мы тимуровцы, состарились, конечно, но еще работаем, – он улыбнулся, увлекая старика к машине.

– Так это... билеты-то... – уже нерешительно сопротивлялся четырежды дед.

– Да ерунда – билеты. Восстановим. Не восстановим – так новые купим. – Александр решительно вел деда к машине, взяв его под локоток.

– Так я вот... на Рождество хотел... Думал, до следующего могу и не дожить... – лепетал старик. – У меня вон нога совсем отказывает. Волоку уже. Не, стойте, я не могу так, ребята, я же вам отдать не смогу...

– Вот что, отец, – у самой машины Александр вдруг стал строгим и решительным. – Вы нам уже все отдали. Наша очередь.

– Кто – мы?

– Отцы.

– «Отцы и дети» у Тургенева читал? – иронично вмешался Сергей.

– Да не помню уже, – окончательно растерялся дед.

– Вот и неважно. Всё равно Тургенев всё неправильно там написал. Внукам-то сколько?..

– Оле – старшей – двенадцать, Коле – десять, Саше – шесть... – старик даже не заметил, как оказался в салоне автомобиля.

– Слушай, отец, – Александр вдруг замер, – ты не будешь против, если мы сначала заедем в храм. Мы с Сергеем собирались за своих отцов молебны заказать.

– Да я... тоже... за своего свечку поставлю, – смиренно ответил тот.

Александр закрыл за ним дверцу, сел рядом с водителем, машина исполнительно рывкнула двигателем и сорвалась с места.

Яркая звезда на Востоке мигнула ей вслед. Может быть, она и была Вифлеемской...



ТАТЬЯНА СМЕРТИНА



Татьяна Ивановна Смертина – известный русский поэт. Родилась на вятской земле. Окончила школу в селе Сорвижи Кировской области и Литературный институт имени А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор около 700 публикаций в центральной периодике и более 30 книг поэзии. Татьяна Смертина – автор книг переводов поэзии с персидского, таджикского, башкирского, марийского языков. Лауреат Всероссийской Есенинской премии; лауреат Всероссийской премии Н.Заболоцкого; лауреат премии Ленинского комсомола; лауреат премий: «Литературная газета», «Литературная Россия», журналов «Смена», «Крестьянка», «Мир женщины» и других. Стихи Татьяны Смертиной переведены на иностранные языки.

Живёт в Подмосковье.

Нет пустот, Земля несется
По овалу в звездный вой.
Потерял подкову Солнца
Космос черный вороной.

Вот она, подкова Счастья,
В ней земное Бытиё:
Мотыльки вокруг запястья
Иль планеты вкрут нее?

Даже солнечная нитка,
Сквозь березняка стволы
На снегах рождает слитки –
Ослепительно белы!

Не лепи себя из мрака –
С ним сольешься навсегда.
Света чистая отвага
Душу вынесет туда,

Где иные измерения
Без предательских затей,
Где невинные моления
Преступления сильней.

Избы есть, а нет деревни:
Умерла еще одна.
Под резьбою этой древней
Кем-то взломана стена.

Липа вещая упала
В золотые ковыли.
Сколько жарких сеновалов
Здесь остыло без любви.

Посижу в потёмках грешных,
Словно молча помолюсь.
Вспомню циников насмешки
Про берестяную Русь.

Им-то что! Они практичны.
Им не видеть то, что я.
Дом их там, где так привычны
Баксы, виллы, векселя.

Тоже им порой несладко,
И у них свой суд и крест.
Я сама оплачу бабку
И кончину этих мест.

И засну на лавке млечной,
Свесив шали до земли.
Может, бабке станет легче
В той заоблачной дали.

А проснусь – откуда силы?
Гнев страшится лишь любви.
С неба шепот торопливый:
«А теперь иди, живи!»

Сегодня к Вам имею склонность.
Легка прозрачная рука.
Медлительных пионов томность
Тревожит Вас издалека.

С плеча – прозрачный нимб сорочки,
Я – утоплюсь, но в кружевах –
И эти вензельные строчки,
Как вздох в летальных облаках.

И пусть я там, где электрички
Путями всё перечеркнут,
И пусть я там, где две технички
Асфальт у бутиков метут;

Я Вам свое оставлю счастье,
Хоть облик Ваш, увы, не свят.
Сел мотылек мне на запястье,
Кровавый, как в Москве закат.

Пытаюсь нечто возродить,
Что не украсть и не убить.
Кольчугу меряю и латы,
Кто честь имеет – те и святы.

Какая странная стезя,
По ней – не надо и нельзя?
Опять наткнулся на чей-то нож?
Но если все туда, где ложь...

Но если все... Зачем пионы
Теряют головы? И стоны
Ломают странно небеса?
И млечно зыблется роса?

Вся эта жизнь – что странный морок.
И кто свершил ужасный клон?
Я чувю: Дантес распылён
По кулуарам группировок...

Заман ветров и хвойных стонов.
Метель волос и синий взор.
Молчанье белых анемонов
Сквозь бледно-лунный монитор.

Явлюсь в реальности неявной,
И ваша кончится стена.
И вас сведет с ума печально
Подола легкая волна.

Закат ушел в рябин багрянец!
Разрез листвы иль рысий взгляд?
Клавиатуры странный танец,
И океан, что капля, сжат.

Смешаю отсветы Вселенной
С водою в кадке. И мой взор
Качнет вам душу белой пеной
Сквозь анемонный монитор.

Когда в бездонных мглах и светах
Блуждает мраморная мысль
И странной кажется планета
И все конфликты из убийств,

Тогда предчувствие Иного
Нас неосознанно томит:
Как мысль, душа – за гранью слова! –
В те мглы и светлы полетит...

Забудем всё? Ничто не жалко?
Одно лишь знаю: чуть вздохнув,
Легко качнется вслед фиалка,
Лиловость сонную прогнув.

Бродит по комнате золотом Солнце,
Всё проверяет, ползет в ноутбук.
Сквозь занавеску чеканные кольца
Катятся, царски, за тёмный сундук.

Нынче решила – не буду под вечер
Думать о том, как заезжий валет
Рысь подстрелил и забор изувечил,
Что окружал наш былой сельсовет.

Этим забором топить будет печку...
Солнце и печка! Он полон собой.
Но почему не случилась осечка?
В сердце уходят волненья волной.

В дверь ему стукну: «Брусники не надо?»
В банку насыплет, и дрогнет рука.
Рысьим резну его солнечным взглядом –
Пусть леденеет, как в зазимь река.

Пусть запирает покрепче ограду,
Мыслит о нас без особой любви.
Нынче во сне попадет он в засаду:
Выйду, прицелюсь... Да, ладно, живи

Речные лилии

Изысканный, нежно-нервный,
С пальцами, как сам Паганини,
Потративший всё, что было,
На лилий туманных букет,
Прости, что меня ты встретил,
Что странно тебе улыбнулась...
А больше за что? Не знаю...
Не знаю, но ты прости!

Ох, мы бы с тобой – лилейно
Пропели все лунные песни,
И мы бы с тобой – я знаю!
Друг друга спалили дотла!
Поэтому – будь счастливый,
А может – навек несчастный
С другою! Увы, с другою.
Ей лилии не нужны.

Сомнения

Прозрачно-алое кружилось лето,
Мне посвятил ты несколько сонетов,
Мерцал и плыл сгорающий закат...
А я с другим брела сквозь буйный сад.

Земных виол моя касалась шаль,
И было мне твоей печали жаль,

Я призрак в ней, какой-то полубред,
 Сплошное наваждение и запрет.
 Наверно, так. И легкая строка
 Ужель заманит? Вдруг? Издалека?

И что-то мне доказывал другой,
 Пока срывала огненный левкой.

Плутоний

Истории ход куда-то идет:
 Там стёрто – «налево», «направо».
 Толпа до сих пор истошно орет,
 Рыдая, орет: «Варрава!»

Россия распята. Чёрная боль.
 Чернобыля призрак. Сгораем!
 Разрез Фукусимы.
 Золота роль.
 Быть разуму? Нет? – Не знаем.

Мутация душ. Распад ДНКа.
 Рождение – закат: суть планеты.
 Ни рыб, ни русалок – сохнет река.
 Дерутся и делят сети.

Не вечные мы, как вечные тут,
 Но сами себя и накажем:
 Плутоний, Плутон, плутание, плут –
 Из этого петлю вяжем.

Что Вы вечно – про меня!
 То любовно, то кляня.

Так я думала о Вас,
 Не сводя ледовых глаз
 С нимба мраморной Луны!

Вы в тот миг удивлены:
Почему скользнул бокал
С георгиновым вином
И у Ваших ног упал,
Брызнув красным серебром!?

Даже мне – немного жаль
Ваш искусственный хрусталь.

Разочарование

Танец легкий, лебединый,
Словно день, целует ночь.
Все расколоты рубины
Наших чувств! Как ни пророчь,
Всё скользит куда-то мимо,
Всё прошло и не сбылось!
И летит печальный иней
В красоту венчальных роз.

И летят мои изгибы
В холод шёлка роковой.
Лишь сердечные ушибы
В мире вечны под луной.

Овалы гнул речной туман,
Реал вещей ушел в обман,
И перевозчик – очень странно! –
Был так похож на Челентано
И так смотрел – почти в упор!
Что я смущаюсь до сих пор.

И мы молчали целый час.
Средь отуманенной реки
Плескались вёсла, что зверьки;
Из вольных волн почти на нас,

Метался жемчуг белой стаей,
И тихий вечер таял, таял...

Потом мы лодку вброд тащили
И расставались тоже странно:
«Прощай, хозяин! Как туманно...»
«Прощай, однако! Вместе плыли...»

Мои следы замёл туман,
И наш закончился роман.

Колокольчики

В депрессии мир виртуалом казался:
Не видеть бы всех! Никого! Никогда!
В мобиле звонок твой в тот миг не раздался,
И даже луч солнца упал не туда.

Потом колокольчики падали в душу
И синью рыдали среди трав и веков.
А дуб на поляне ветра свои слушал –
Прозрачные стоны в кольчуге листов.

Мобильная связь, как сердечные связи,
Разорвана вновь, каждый в чем-то палач.
Резной колокольчик, да что там? Да разве
Услышат твой нежный и ангельский плач?

Вот здесь и засну я, как в поле метельном.
И остро сомкнется концами осот.
Всё вечно по сути и сущью – мгновенно,
И лишь колокольчик прощанье поймет.

Сегодня венец – из тяжелой рябины:
Рябиновый жемчуг, туманов крыла.
За ельником – церковь, молений глубины,
Виднеются крыши родного села.

Резные кусты убегают в еловник,
А там пирамиды царей-муравьев.
На старом пенёчке, что на выгнутом троне,
Опята рассыпали золото снов.

А вот и чащоба, здесь лилии света
Слегка прорезаются сквозь темноту.
И спелая ягода сгасшего лета
В черничнике зябнет, глядя в высоту.

Душою замру и замедлю движенья,
Почуяв Божественный времени ход.
И хвоя плеснет роковые виденья
О снежных цветах, что никто не сорвет.

Вы мне не нравитесь совсем,
И даже с вьюгой хризантем,
И мармелад я Ваш не ем!
Поверьте, всё – напрасно.
Вы мне – не тот,
Я Вам – не та,
Но Вы всё ждете у моста,
А там стоять опасно.

Вчера купили мне билет
На «Клеопатру», на балет,
Чтоб изучать сквозь полусвет
Мой профиль Клеопатры.
Портрет мой – в сотовом у Вас,
Но ничего не сблизит нас,
И биты Ваши карты.

Мне с Вами – лютая тоска,
Я в том призналась Вам слегка,
Мои не трогайте шелка,
Побойтесь суицида.
Прошу, не надо так мечтать,
Меня глазами измерять,
Для Вас я – Антарктида!

Княжеский мотылек

Тропой лесною шла с тобой не раз,
И странный мотылек метался между нас,
Мне опускаясь плавно на плечо.
Я с ним когда-то – сжатая парчой! –
Была счастливой в жизни той – иной...
Был тот же лес и тихий летний зной,
Дыханье князя, малахитный взор,
И земляники
солнечный
узор...

А нынче ты целуешь пряди мне,
И я – с тобою, но в твоём огне
Не тают льдины, разве что – слегка.
И всюду тень лесного мотылька

Кружится вновь, касается щеки
Да так, что ночью снятся мотыльки!
Но мне никак не сдвинуть времена,
Хоть я – с тобой, а, кажется, – одна...
Лежим в траве, где лютики волной...
А мотылек – всё кружит надо мной....

Тень огня

Не верю сумасшедшим я ни капли.
Не верю, что они сошли с ума.
Сойти с ума на свете невозможно!
Пока со света тихо не сойдешь.

Так, «Химию» открыв, я думала об этом,
На формуле химической застряв.
Я потому её не понимаю
И ничего запомнить не могу,

Что я не верю в атомов устройство.
Не верю я, что мир устроен так.
Ведь если так – то всё уж очень просто,
Как нить одна, что спутана в клубок.

И я зажгла костёр в еловой чаще,
И по огню моя блуждала мысль.
И не сгорала, а цветы рождала,
Которыми Луну я подожгу...

Огонь Небесный и земной едино создан?
Или земной – лишь тень Того огня?
На вихрь углей смотрела долгой синью,
Едва вздымая черноту ресниц...

Волчица из кустов за мной следила
И думала о волчьем, о своём...
Наверно, мы – из клеточки единой...
Но в общей клетке с именем Земля.

Но это Кто – Сверкающий! – над нами?
Вот это мучает наш разум и страшит.

Я и Ты

Здесь времени и гибели запрет,
Здесь вечный, яблоневый цвет
Сквозь квантовую синь и фиолет
Сплетаёт нежных линий белизну,
Венечно уплывая по челу
В туман весенний, в прошлую печаль,
Где я и ты – мой юный государь
Ночных страстей, коленей, диких снов,
И яблоневых стонов и цветов...

Целуй! Целую... Падает мой шёлк...
Летит во мрак Вселенной лепесток...

Суть

Корабль опустился на черное дно.
Те всплыли, кому и всплывать не дано.
Не помню, там был или нет капитан?
Но юнга – там был, как нарцисс и туман.

Земля вдруг исчезла вокруг и навек.
Повтор Атлантиды – забвенья набег.

А те, кто там всплыл
И орал: «Мы – сильны!»,
Мгновенье сидели на троне волны.

Ты знаешь, что это такое?
Когда душа скользит по бритве,
Среди друзей – подобно битве! –
Хранить спокойствие простое.

И плач такой, что гаснет разум,
Упрятать в персик в тонкой вазе
И грызть его, склоняясь бледно,
Так суицидно и победно!

Прослыть царицей синеокой,
Но в дверь ломиться, словно Хари,
Сжигая локти в чёрной мари,
Как на Солярисе далёком.

И понимать одно ночами:
За дверью – царство вечной боли,
Но все же биться – день! годами! –
Ломая жизнь свою, не боле...

И чуют вечно: счастье – в этом!
Других путей – не понимаю.
И верить: там, в пресветлом свете,
Свершится то, чего желаю...



НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Зачем явился в мирозданье?

Сыну и дочери

Я вам ничем не интересен:
Я не люблю ни ваших песен,
Ни ваших танцев, ни гримас
Пренебрежительных, ни фраз
На языке, почти нерусском,
И мысли все мои – о грустном.

И пусть не шибко я умён,
Но жизнь я вижу без прикрас:
Опять распалась связь времён,
Не навсегда ли в этот раз?

Про это

Я не хочу писать про это,
Кричу я Музе: «Отвяжись!»
Но к жертве требует поэта
Не Аполлон, а наша жизнь.

Ведь мы спиваемся все, братцы.
Не клевета это, не глум.
Последний шанс за ум нам взяться,
Пока не пропит напрочь ум.

О, сердце бедное поэта
И дух, утративший покой!
Я не хотел писать про это,
Но Бог водил моей рукой.

А может, спаивают нас?
Но это уж другой рассказ.

Много чувств сиюминутных,
Постоянно лишь одно:
Мы уже идём на дно,
Но с надеждой в душах смутных.

А вдруг на дне нас ждёт не ад,
А легендарный Китеж-град?
О, как отрадна мысль нам эта,
Ещё не знающим ответа...

Рассказ приятеля

Случилось это, как во сне:
Она во мгле полуподвала
Меня так нежно называла,
Что становилось страшно мне.

Ведь я к такому не привык.
Как объяснить всё это людям?
Как повернулся их язык
Назвать случившееся блудом?

Нет, это, милые, не блуд.
Здесь и не пахнет даже блудом.
И плоть, и дух мои зовут
Со мной случившееся чудом.

Со мной такое в первый раз,
Теперь я словно полон света.

«Не от лукавого ли это?» –
Я думал, слушая рассказ.

С чего ни в чём не виден толк,
Который был от века?
С чего зафлажен я, как волк,
Правами человека?

С чего картавит Третий Рим?
С чего нам свет не светит?
С чего впустую говорим?
Хоть кто-нибудь ответит?

Ответа нет. Одни молчат,
Постичь сей мир не в силах.
А те, кто смог постичь, лежат
Давно в своих могилах

Жизни прожитой осадок –
Муть и больше ничего.
Сомневаюсь, что остаток
Жизни высветлит его.

Потому, что, как и прежде,
Жизнь идёт в моей душе,
Есть в ней место и надежде,
Но на дальнем рубеже.

За горами лжи и мести,
За долиной скулежа.
Оттого и не на месте
Себя чувствует душа.

Писать о звёздах – тратить дни.
А сколько их осталось, дней?
Пишу о людях, ведь они
Намного ближе и родней.

Мы все-то, в общем, неплохие.
Есть свои плюсы и в прохвостах,
Но попадают такие,
Что лучше б я писал о звёздах.

А сам-то я не из таких?
Всё-всё, заканчиваю стих.

Обращение к Богу

«Мир занят блудом и собой
И на Тебя взирает косо.
Но Ты, пожалуйста, не бойся.
Не бойся, я всегда с Тобой,» –
Сказал я это в тишине
И мысль по свету полетела:
«Господь нуждается во мне,
Не только я в Нём». Вот в чём дело!
Вот от чего душа запела

Любовь и страсть – две разных вещи.
Любовь глядит светло, а страсть глядит зловеще.
С обеими встречался взглядом,
Но глаз не отводил, по чьей, не знаю, воле.
И обе по душе, трубя, прошли парадом,
А бедная душа лишь корчилась от боли.

Зачем явился в мирозданье?
Зачем пришёл на этот свет?
Стихи? Смешное оправданье,
Ну, а другого просто нет.

Так отчего с тяжёлым вздохом
Бреду по собственной судьбе?
Больше положенного Богом
Дерзнул я думать о себе.

– Ничего о себе не оставила, –
Говорю я тебе не в укор.
Сердце дрогнуть, прощаясь, заставила,
И тоскует оно до сих пор.
Жизнь с годами щедрее на грубости.
Как дела? Говорю: ни-че-го.
И, шалея от собственной глупости,
Возвращения жду твоего.

Я избегаю встреч случайных.
Я обхожу тебя, как храм
Обходит грешник изначальный.
Но светом глаз твоих печальных
Мне светит солнце по утрам.
Нет, я от грусти не стенаю.
Для продолжения пути
Своё я детство вспоминаю
И крестик... на твоей груди.

Я прежде жил, как истукан.
Пришла она и без огласки
Во мне открыла океан
Дремавшей нежности и ласки.
И я – да что там говорить! –
Стал просыпаться даже раньше,
Чтоб чай покрепче заварить
Моей усталой Магелланше.

Все женщины очень разные,
Особенно в жаркие ночи:
Одна молчалива, как птица,
Другая пылает, как зорька.
А есть та, которая снится.
Которая снится. И только.

Эта осень похожа на ту,
Когда мы повстречались с тобою.
Так же падали листья в саду,
Не отдельно, а целой гурьбою.

Ты сказала мне вечное «да»,
С неба дождик пускался раскосый.
И со щёк твоих капали слёзы,
А я думал сначала – вода...

Весна ещё весной осталась
Везде: и в поле, и в лесу.
Но больше всех её досталось,
Взгляните, детскому лицу.

Когда цветёт оно с улыбкой,
Оно как будто бы поёт.
Поёт и жизни нашей зыбкой
Весь смысл бесценный придаёт.

Было ль это Господней ошибкой
Или замыслом дьявола, но
Я родился с предсмертной улыбкой,
Что стереть никому не дано.

Милый друг, не спеши с укоризной
Осуждать откровенье моё.
Ведь, пойми, только в бренности жизни
Неизбывная прелесть её!



ВЛАДИМИР МАЗИН



Владимир Алексеевич Мазин – поэт, член Союза писателей России. Родился 1 января 1951 года в селе Ларьяк Нижневартовского района в семье отца-ханты и русской матери. С 1992 года, получив высшее филологическое образование, работал учителем средней школы. С 2002 года – старший преподаватель, затем доцент кафедры культурологии Нижневартовского государственного педагогического института (ныне Гуманитарный университет). Защитил кандидатскую диссертацию. Лауреат литературной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (2002 г.), награжден медалью Пушкина (2003 г.). В 2010 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Живёт в Нижневартовске.

Душа моя извечно не спала...

Если удача и если беда,
Если услышу стук сердца родного,
Я добираюсь до пристани снова,
Где не расходятся лес и вода.
Лес и вода – две стихии мои.
Здесь перемешаны тени на влаге,
Здесь отраженьем на вечной бумаге
Берег над речкой слагает стихи.

Душа моя извечно не спала,
Я знаю: спать она не может
И ночью тело сонное тревожит
Разгадкой тайн, которым нет числа.
Ах, тяжела душе земная власть,
Когда дневные тени всюду виснут,
И вековечность вымыслов и смыслов
Телесную смущает ипостась.
Душа, как богородный поводырь,
Прощать умеет грешную зевоту,
Влечёт меня к божественным высотам –
Там ангелы взирают на Сибирь.
Лунатиком на несколько минут
Лечу за грань уснувшего творенья
Распутывать дневные заблужденья
Хотел бы дольше – занят Абсолют.
Послушно заполняются дела
Привычкой, опытом и разуменьем...
Но в поиске всевышнего мгновенья
Душа моя извечно не спала.

Стихотворство

Приходит музыка
И просит выраженья,
А чаще требует –
Найдутся ли слова?..
Словарь души
До головокруженья
Листает память
В русских кружевах.
Союзница моя
По осмысленью
Сердечных ритмов
Мелоса судьбы
Почти диктует
Все стихотворенья,
Чтоб ничего
Мой голос
Не забыл.
Ведут давно
Со мною разговоры
Созвучьями
В природных голосах
Таёжные
Хантыйские просторы
На отражённых,
Вечных небесах.

Поётся

Легко затеряться
Средь пишущей братии,
Как голосу птицы
В торгашеском гаме,
И всё-таки тихо,
По собственной гамме,

Веду свою песню
Мостками и гатями.
Пред нами – болота,
Трясины,
Невзгодины...
А манят надлесные
Птичьи высоты.
Бежим по дощечкам,
Прыжки – перелёты...
Под нашими крыльями –
Малая родина.

Свет пушкинской речи

Сквозь тьму на божий свет
Всю жизнь проносим
Слетевшие с гусяного пера
Слова,
Как листья в Болдинскую осень,
Которыми Московия щедра.
И все понятно до непониманья,
Как неизбывный говор родника –
Откуда идеальная строка
Берет всесилие благоденья?
Где мудрости рискованной,
Вселенской
Источники славянской доброты?
От новгородской звучной бересты
До немоты страницы интернетской?
Нам проще вечные несовершенства
И до и после Пушкина искать.
По графике всевышнего блаженства
Мы слово СВЕТ напомним через ять.

Мирская благодать

*В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа...*

А.С. Пушкин

Приму, как дар, случайные права
Клониться над живительным потоком
Глубокого речения пророка,
Где строфами стекаются слова
Из трёх неиссякаемых ключей,
Волнуемых родными голосами,
Утешен я неспешными часами
Таинственно разрозненных свечей.
Охваченные временем ключи
Младенчества, Восторга и Забвенья
Возвышенно, до самоотречения
Сливаются мелодией в ночи.
Легко покорно голову клонить,
Когда открыт немолчаливый Пушкин,
Свободу пить из деревенской кружки
И жажду пониманья утолить.

*Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это.*

А.А. Ахматова

Когда страдальчески немею
Среди охрипшей болтовни,
Все сознаю, что не умею
Вписаться в каверзные дни
Самодовольного презренья
К народной песне вековой
О неслучайности творенья
Души, воспетой и живой.
Тогда перебираю честно

Страницы русских словарей
 И от словесности небесной
 Спешу к значению корней.
 Цепляется за литер литер,
 Толкнувши к прошлому меня:
 Там роды, урожай,
 родитель,
 Там род, там родичи,
 Родня...
 Народно Родина восходит
 Породой радости в тиши,
 Язык природы переводит
 На голос родственной души.

*...Но забыли мы, что осиянно
 Только слово средь земных тревог,
 И в Евангелии от Иоанна
 Сказано, что Слово это – Бог...*

Н.С. Гумилёв

Города исчезают и страны,
 Человек не рождается снова.
 Но бессмертием он не обманут,
 Оставляя родимое слово.
 Камни в прах рассыпаются ветром,
 Умирают могучие кедры,
 Но живёт измождённое Слово,
 С буйным временем спорить готово.
 Мы за тысячу лет настрадались,
 Нас лишали и хлеба, и крова,
 Сердце русича помнит скрижали –
 Богом данное доброе Слово.
 Нас Господь поднимает над миром,
 Мы невежества рушим оковы,
 Забываем царей и кумиров,
 Сохраняя
 Свободное Слово.

Ты нужен

Хоть о ком-нибудь, хоть по привычке
В дни отчаянья заботами живи,
Ненависть держи в узде приличий,
Не стараясь выдумать любви.
Обуздаешь собственные страсти
И утетишься, что не сгубил
В чьей-то жизни скромного участия –
Другом был, но жаль, что не любил.
В зимний сад знакомою тропой
Входишь от молчания в тишине.
Ты один. А звёзды над тобою
В отдалённом отражаются окне.

В день рождения

Рассмеши меня, удача,
Рассмеши. А то тоска,
Как слепая незадача,
Больно тычется в бока.
Ни налево, ни направо
И вперёд идти нельзя!..
Ах, не пятиться же, право,
Самому себе грозя?
Не укрою, не запрячу
Ожидание своё,
Только год за годом трачу,
Ибо силушку даёт
Ветер снежного покрова
Полноводных наших рек,
Ветер ягодного зова
Позолоченных засек.
Не смеши меня, удача,
Не смеши, оставь. Пока
Все долги не отбатрачил
У родного говорка

На вечёрочке запевной,
На покосе, в облаке,
Посреди родной деревни,
В полусонном сосняке...

Четверть века назад
На брожении сил
Молодецки мечты раззадоривал,
Будто звонко не пел,
Будто вовсе не жил,
А ленивое время пришпоривал.
У хантыйского чума
Мне русская мать
Подарила тетрадь и чернила
И просила свой
Почерк не искажать,
Благочестию строго учила.
Что мне выверты хама,
Невежды, враля,
Гневный пафос напудренной дуры?
Пусть они графоманскую страсть
Утолят
На обочинах литературы.
Торопился любить
И не жил без потерь,
Был утешен лирической речью,
Как прилежный школяр
Европейских манер
И наследник российских предтечей.
Вскачь летел от распахнутых
В город ворот,
У села притормаживал вежливо,
Будто в смутное время,
Смущая народ,
Старомодное время удерживал.

На родине Ершова

Розовощёкий, в зелёном кафтане,
Скачет июнь на Коньке-Горбунке.
Встречу разлук и прощанье свиданий
Праздную я на Ишиме-реке.
Как мне легко в наслажденье цветенья
С шорохом лета шептаться о ней,
Юности, звонкой от птичьего пенья,
Светлой от питерских жёлтых огней.
Кто бы подумал и кто бы поверил –
Четвертью века за праздник плачу.
Только не надо звенеть о потерях
Стольному лирику и лихачу.
Воспоминанья о Музе на Невском
Я раздарил берегам не чужим.
Пётр Ершов, посмотри с интересом,
Как отражает нас речка Ишим.

Блаженство мягких снегопадов
И белизна черновиков –
Вот повод обновленья взглядов
При столкновении веков.
Я, прошлых вымыслов изгнанник,
Не доверяю багажу,
На ворохе воспоминаний
В пространство новое гляжу.
Среди зимы на побережье
Без теплоты никак нельзя –
Рукопожатья неизбежны,
Осиротевшие друзья!
Переплетению событий
Наш приговор не зачитав,
Мы заплутаем в алфавите,
Ровесников недосчитав.

И всё-таки финалу странствий
Ещё не время. Будем ждать
В братолюбивом постоянстве
Божественную благодать.

Надежда

Господь, сохрани эту женщину,
Как нежное чудо твоё,
Как слово на счастье вещее,
Что только молитва даёт!
Господь, сохрани её помыслы
В любви, что достойна она,
И пусть ей лишь лучшие помнятся
Встречи,

года,

имена!

Она мне судьбою обещана
И детям по праву любви...
Господь, сохрани эту женщину
И дольше к себе не зови!

Душой владела щедрой
Чарующая скрипка,
Где на крыле у кедра
Моя висела зыбка.
Возвышенностью слова
И вдовьими слезами
Был с миром зарифмован
Я в колыбельной мамы.
Не предвещая бедствий,
Звенел старинный бубен,
Где корневилось детство
Среди невзрачных буден.
Мечтали долго жить мы
Под музыку кочевий –

Сливались бубна ритмы
И скрипки перепевы.
На плаче модуляций
Я подпеваю маме:
Не хочется прощаться
С былыми временами.

Жить по любви – единственный сюжет,
Восторженный, беспечный и отважный.
Я признавался честно не однажды:
Мне женское внимание по душе.
Приближены седые времена,
Порой подводит каверзная память,
Лишь ночника живительное пламя
Записанные видит имена...
И образы, что не донёс фотограф,
Еще хранит лирический хронограф.
И женщина в пространстве бытия
От первых песен до последних стонов
По торжеству естественных законов
Удерживает ласково меня.
Ничуть не поздно о любви писать
И ревновать бессонными ночами,
А с первыми желанными лучами
Созвучия, как влагу, фильтровать,
Пить, не стыдясь, опасные мечтанья
И слышать вновь метафор лепетанья.
Сударушке, мадонне, госпоже,
Единственной, неповторимой в лицах
Надеюсь долго романтическим сниться,
Жить по любви – единственный сюжет.



СВЕТЛАНА ГРОНСКАЯ



Гронская Светлана Ивановна – дочь И.М.Гронского, собиратель и хранитель его архива, позже – архива тёти – Е.А.Вяловой, жены П.Н.Васильева. Автор книги о Е.Вяловой и П.Васильеве «...Здесь я рассадил свои тополя...». Редколлегия альманаха искренне признательна Светлане Ивановне за предоставление права опубликовать уникальные материалы, связанные с судьбой выдающегося русского поэта Павла Васильева.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА

24 декабря 1983 года у нас дома состоялась встреча и разговор Ивана Михайловича Гронского и Александра Сергеевича Исполнова. Он был приурочен ко дню рождения поэта Павла Васильева (23.12.1909 ст.ст. – 16.7.1937). Велась магнитофонная запись. Беседа продолжалась около трех часов и завершилась словами Гронского, что наступит время, и материал этой встречи, будет опубликован. «Да, такое время наступит, оно не за горами». Всё то, о чём мы сегодня говорим открыто, в те, доперестроечные годы, обсуждалось чаще всего только в узком кругу.

Материал беседы был подготовлен в 2008 году к 100-летию со дня рождения поэта и был передан мной в редакцию московского журнала, там он пролежал более года и был возвращен, как не вписавшийся в тематику. Время шло, я сомневалась в материале, и все же он мне казался интересным. Беседа о Павле Васильеве – ярком поэте XX века, найдет своего читателя. «Перед нами поэт неслыханного дарования – одна из горчайших потерь новой русской поэзии. Это огромная слеза, катящаяся по лицу Земли, воспетой им сильно и звонко», – так сказал о нём поэт Лев Озеров.

Кратко представляю участников встречи.

Гронский Иван Михайлович (наст. Федулов) (1894-1985) – участник Первой мировой войны, Октябрьских событий 1917 года, Гражданской войны.

Диапазон людей, которых он знал, с кем общался – со многими дружил, настолько широк, что требует отдельного разговора – Горький, Шаляпин, Блок, Фрунзе, Сталин, Луначарский, Куйбышев, Шолохов, Микоян, Маяковский, Д.Бедный, Орджоникидзе, А.Барбюс и многие-многие другие. В 1925 году, окончив Институт красной профессуры, был направлен на работу в газету «Известия». Работал зав. экономическим отделом, позже зам. ответственного (главного редактора), затем ответственным редактором. Одновременно редактировал журнал «Новый мир». В 1932-33 гг. он был председателем Оргкомитета Союза писателей СССР, одним из организаторов ССП. Профессиональная деятельность, а также личные качества: общительность, доброжелательность, оптимизм, тяга к знаниям – знакомят и сближают его со многими интересными, известными людьми.

Иван Михайлович не избежал участи многих: в 1938 г. арестован, прошел 11 месяцев следствия Лубянки, 14 лет лагеря Заполярья, год ссылки в Казахстане. В 1954 г., вернувшись в Москву, помогал в реабилитации погибших писателей, товарищей по лагерю. Иван Михайлович – замечательный рассказчик. Обладая редкостной памятью, он встречается со специалистами в области литературы и искусства. Они приходили к нему за информацией, которой не было даже в справочной литературе, консультировались об обстановке литературной жизни 20-30 годов – о связях, взаимоотношениях литераторов, политической обстановке, судьбах...

Так, в 80-е годы состоялась беседа с А.С.Испольновым.

Испольнов Александр Сергеевич (1947-1993) – поэт; закончил Литературный институт им.А.М.Горького. Преподавал в Институте им. Н.К.Крупской. Член СП. Автор поэтических сборников «Мёд великанов» (1981), «Готовься жить» (1988), «Уход» (2002) (составит. О.А.Боровкова).

«Жизнь Александра Испольнова оборвалась, когда он едва перешагнул рубеж своего сорокапятилетия. Его судьбу постигла та же беда, какая постигла судьбы многих соловьёв русского стиха: гибель в расцвете творческих сил, в приближении к зениту... Путь этого поэта в литературе был непрост, и сам он был очень нетороплив, потому лишь в самые последние годы читатели смогли познакомиться с лучшими страницами его творчества, а товарищи по перу – осознать, какой самобытный художник слова живёт и работает рядом с ними» – так сказал о нём поэт Ст.Золотцев.

Вялова-Васильева Елена Александровна – (1909-1990). Вторая жена Павла Васильева. (Сестра жены И.М. Гронского) Арестована 7 февраля 1938 года – ровно через год после ареста Павла. 18 лет провела в лагерях и ссылке как член семьи изменника родине (ЧСИР). Вернулась в Москву в 1956 году. Вместе с П.Вячеславовым подготовила первый сборник стихов поэта.

Гронский Дмитрий Валерьевич – внук И.М. Гронского, в то время студент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.



И.М. Гронский с внуками.

«ТАКОЕ ВРЕМЯ НАСТУПИТ...»

(И.М.Гронский о Павле Васильеве)

Гронский. Сегодня мы собрались по двум поводам, во-первых, завтра исполняется 73 года со дня рождения Павла Николаевича Васильева 1. Если бы он был жив, то мог бы сидеть с нами за столом. Во-вторых, Александр Сергеевич просил меня поделиться с ним своими воспоминаниями о Павле Васильеве.

С Павлом Васильевым я общался сравнительно недолго, всего лишь несколько лет, но общался очень близко. Во многом ему помогал. Пришлось и бороться за него со всякого рода литературными проходимцами, которые позже делали карьеру на крови своих братьев по перу. Эти люди, я назвал бы их палачами, нападали на Павла Васильева, клеветали на него, старались принизить значение его творчества.

По моему глубокому убеждению, Павел Васильев войдет в историю литературы Советского Союза великим поэтом. Это – бесспорно!

Как-то раз, вскоре после опубликования в «Новом мире» поэмы Васильева «Принц Фома», на которую, как вы знаете, резко нападали, мне позвонил по телефону Б.Л.Пастернак и говорит:

– Иван Михайлович, на Пашу нападают. – Он называл его иногда Пашей, иногда Павлом Николаевичем, а иногда просто Павлом. – На Пашу нападают. Не понимают, дураки, что это – великий поэт! Он стоит, либо в одном ряду с Есениным и Маяковским, либо выше их.

Вот мнение Бориса Леонидовича Пастернака о творчестве Павла Васильева. А ведь он один из образованнейших поэтов, один из крупнейших мастеров поэзии. Причем, человек не во всем согласный с нами, да и с Павлом Васильевым. Поэтому это свидетельство вдвойне ценно и важно.

А вот еще один отзыв. На одном из литературных собраний у меня дома, а их в 30-е годы было много, выдающийся грузин-

ский поэт Паоло Яшвили, не сговариваясь с Пастернаком, тоже назвал Васильева великим поэтом.

Эпитет «великий» я слышал не однажды. И сейчас, вдумываясь в творчество Павла Васильева, невольно приходишь к выводу, что по вине проклятого культа личности Сталина наша страна, наш народ потеряли, действительно, великого поэта. Потеряли не только Павла Васильева, а и множество других литераторов – поэтов, беллетристов, драматургов, критиков. Потери были огромны. Это признал XX съезд, это признало руководство нашей партии, да и не только признало, но и сурово осудило палаческие действия Сталина и его подручных из НКВД СССР – Ежова и Берия...

Поговорить о Павле Васильеве, по-моему, следует, тем более что Вы готовитесь писать диссертацию о нем и собираете необходимые материалы.

Испольнов. Да, я хочу собрать максимум материалов, чтобы иметь максимум оружия.

Гронский. Поэтому мы, знавшие Павла, обязаны это сделать... А теперь перейдем к Вашим вопросам. Надеюсь, их у Вас много.

Испольнов. Первый же вопрос, который у меня возник сейчас, заключается в следующем: почему сейчас появилась тенденция замазывать преступления периода культа личности?

Недавно у отца (С.А.Поделкова – ред.) один журнал попросил дать воспоминания о Павле Васильеве. Отец дал. И вот недели через две они звонят и говорят: «Давайте уберем, что Павел Васильев был расстрелян, давайте напишем – «умер» или «трагически погиб», лучше всего просто «умер». Отец говорит: «Но как же так?» Услыхав этот разговор, я – человек вспыльчивый, подскочил к телефону и стал кричать так, что редактор, говоривший с отцом, слышал все: «Это же осуждено партией! Выходит, что – редактор, идет против партии!» Редактор сказал: «Я слышал все, что говорит там кто-то. Сергей Александрович, есть негласное указание о подобных вещах поменьше распространяться в печати. Мы такое указание получили, и мы настаиваем на том, чтобы было снято, что Васильев был незаконно репрессирован, был расстрелян».

Вялова. Как же это можно снять, когда в Литературной энциклопедии написано черным по белому – «посмертно реабилитирован». Как же можно!

Гронский. Отвечаю вам. Дело в том, что сейчас авантюристы из руководства Соединенными Штатами Америки, прежде всего президент США Рейган, подвели человечество к грани ядерной катастрофы. В борьбе двух систем, двух миров, двух цивилизаций враги используют буквально все. Отсюда вывод: нам скрепя сердце приходится многое замалчивать. Замалчивать прежде всего потому, что всем тем, что мы пишем о культе личности, оперируют буквально все наши враги.

Если Вы возьмете выходящую в США, ФРГ, Франции и Италии литературу, то Вы найдете в ней перепевы на все лады культа личности Сталина. Все, что чуждо советскому строю, что осуждено нашей партией и государством, они все это берут на вооружение и усиленно все это пропагандируют. Поэтому нам из интересов нашего государства, нашего народа, нашей партии приходится кое о чем молчать. Думаю, что и в нашей беседе мы не будем выпячивать ужасы репрессий. Они были огромны, несправедливы и ничем неоправданны. Все мы знаем, что они причинили огромный вред и нашей стране, и нашему народу, да и международному рабочему движению. Поэтому давайте об этом помолчим, А если будем касаться репрессий, то только в том случае, где необходимо для выявления того, что произошло с Павлом Васильевым.

Испольнов. Я без записи скажу, что мне уже намекали, что я окажусь со своей диссертацией в трудном положении, потому что не известно, как мне придется писать о его трагическом конце – вроде того, что никто в этом не виноват.

Я считаю своей обязанностью сказать, что это было запланированное убийство гения, который мешал всякой мелкоте своей величиной. Это не для записи. Я выключил.

Гронский. Напрасно выключили. Раз мы беседуем, запишем все. Не будем уходить от острых вопросов, нам нужна правда. И поскольку Вы говорите о трудностях в написании диссертации о Павле Васильеве, я отвечу: пишите правду о нем: о его жизни, о его творчестве, его трагическом конце.

Испольнов. Писать я могу что угодно, просто меня будут сокращать.

Гронский. Но у Вас-то все, что Вы напишете, останется. Вас смущает, что Павел арестовывался несколько раз?

Испольнов. Я бы хотел об этом узнать более подробно.

Гронский. Обходить этого, конечно, не следует. Быть может, кое-что из вашей диссертации вычеркнут, но придет время, острота спадет, и все вычеркнутое можно восстановить. В диссертации Вы должны сказать о нем абсолютно всю правду. Речь, по-видимому, идет о последнем аресте Павла Васильева?

Были арестованы лидеры правой оппозиции – Н.И.Бухарин, А.И.Рыков и другие. Литераторы выступили с письмом, подготовленным Л.З.Мехлисом, в котором они требовали смертной казни для Бухарина и других преданных суду его сторонников. Это письмо отказались подписать два человека – Б.Л.Пастернак и П.Н.Васильев. Вы этот факт знаете?

Испольнов. Нет, первый раз слышу. (Подавленно).

Гронский. Так вот, это письмо отказались подписать два человека – Пастернак и Павел Васильев. Это письмо было напечатано в «Правде». Повторяю, организатором этого выступления являлся Мехлис. Он вызывал в редакцию «Правды» писателей и настаивал на том, чтобы они дали свои подписи под письмом, которое он «состряпал». Писатели, боясь за свою жизнь, жизнь своих семей, подписывали. Обвинять их в этом сейчас едва ли следует, потому что тогда боязнь охватила буквально все общество. И вот в этих трагических условиях нашлись два поэта: один поэт не столь уж близкий нашей партии – Пастернак, другой – близкий нашей партии и нашему государству – Васильев. Они отказались подписать это письмо. И это послужило одним из оснований для ареста, а затем уже и для уничтожения Павла Васильева.

Его приобщили к правой оппозиции, а эту оппозицию изобразили как контрреволюционную организацию, приписали ей то, что было в действительности (ошибочные статьи Бухарина), и то, чего не было, скажем, попытка организации контрреволюционных групп, вредительства и террора, то есть то, чего в действительности не было.

Испольнов. А Бухарин не реабилитирован?

Гронский. Нет. Никто из вождей оппозиции не реабилитирован. Из прошедших по процессам очень многие реабилитированы, но вожди троцкистской, зиновьевской и бухаринской не реабилитированы.

Испольнов. Я хотел бы узнать о подробностях второго ареста. Я уже говорил с Еленой Александровной по этому поводу – что рассказывал Павел Николаевич о том, как это было. Он

был приглашен к Алтаузену. Оказывается, у Алтаузена был день рождения, так что приглашение было мотивированным. Видимо, поэтому Васильев не подумал, что это ловушка. Дальше. Очень подозрительный факт: все подписи, которые там стоят под коллективным письмом, с инициалами и только один Безыменский – без инициалов. Очевидно, впопыхах, в последний момент поставлена его фамилия. Он, я слышал, составлял это письмо.

Гронский. Это Вы об аресте в 1935 году?

Испольнов. И вот что я выяснил совсем недавно. В том же доме, чуть ли не в том же подъезде жил Яков Шведов, его «Орленок-орленок». Он сказал вчера моим родителям совершенно дикую вещь: он сам не видел, но слышал кем-то распространяемый слух, людей, причастных к этой ловушке, что будто бы Павел Васильев Джека Алтаузена избивал дубинкой, а потом ходил с этой дубинкой по Москве, показывал ее и говорил – вот, мол, это кровь Джека Алтаузена. Слухи распространялись с определенной целью. Как говорил Бомарше: «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется».

Во-вторых. От одного человека мне пришлось услышать тоже явную нелепость по поводу письма Горького, статьи «О литературных забавах». На чем базировался Горький, когда это писал? Будто бы Горький наклеивал себе бороду, надевал огромную шляпу, чтобы труднее узнать было, и ходил за Павлом Васильевым по всяким значным местам и следил, как тот пьянствует и буйствует. После чего будто и разразился статьей в «Правде». А то, что старый и больной Горький, доживавший последние месяцы, не имел сил, времени для переодеваний – это очевидно.

Вялова. Саша, у Сергея Александровича есть письмо Аапхакадзе, грузина, Кстати, он мне прислал фотографию дружеского портрета Павла Васильева, Паоло Яшвили, Аапхакадзе и еще кого-то. Так вот, у Сергея Александровича есть письмо, в котором Аапхакадзе пишет и называет многие фамилии людей, собиравших все, что говорили о Павле, все, что плелось. Поищите это письмо.

Испольнов. Ну, конечно, он мешал своей величиной и надо его было убрать. Это говорил мне один человек – у них явно был долгосрочный план уничтожения: раз посадить, другой, третий, рано или поздно, кончится смертью.

Вялова. Я вам говорила причину драки у Алтаузена – оскорбление женщины. Фамилии я вам не назвала.

Испольнов. Да, оскорбление женщины. Фамилия-то и не важна. Ожидали, что он, порядочный человек, потребует от подлеца взять свои слова обратно.

И вот что интересно – Алтаузен вообще не пил. Выходит, что пьяный избил трезвого, это подозрительно. Это похоже на провокацию. С какой стороны подойти, как рассматривать.

Гронский. Вот, что мне рассказывал Павел Васильев:

У Алтаузена в связи с днем рождения собрались поэты и писатели, кажется, их было не так много.

Испольнов. Он называл, кто там был? Там точно был Жаров.

Гронский. Я не помню. Жаров был.

Вялова. Они друзья с Алтаузеном.

Гронский. Кроме них, возможно, был Уткин, Безыменский, хотя едва ли. Из-за него возник разговор за столом. Джек Алтаузен, по-моему, все-таки не трезвенник, Павел говорил, что все выпивали, но никто не был пьян. Васильев был трезвым, рюмка-две, это не пьянство. Джек Алтаузен очень развязно, грубо, цинично заговорил о дочери Петра Петровича Кончаловского – о Наталии Петровне. Васильев потребовал прекратить эту болтовню, тем более что она не соответствует действительности. Другими словами, Павел взял под безоговорочную защиту Наталью Петровну, с которой встречался. Алтаузен хулигански, в словесном смысле, наскочил на Павла, и Павел его ударил.

Испольнов. Он, по-видимому, дал пощечину?

Гронский. Дал ему пощечину. Никакого избиения не было. После этого столкновения Павел Николаевич оттуда ушел. Драки не было. Только пощечина, причем оправданная. Всякий порядочный человек на месте Павла Васильева, который из всех присутствовавших поэтов хорошо знал Наталью Петровну, должен был именно так реагировать. Об этом инциденте Алтаузен и Безыменский рассказали Мехлису совершенно случайно. Мехлис решил из этого пустякового дела раздуть большой политический скандал.

Испольнов. Выкрикивание антисоветских лозунгов?

Гронский. Нет, антисоветчиком он никогда не был, ничего подобного у Павла не было. Мехлис решил это дело раздуть.

Почему? Дело в том, что Мехлис вел борьбу со мной.

Ипольнов. Ах, вот что!

Гронский. Сталин относился ко мне исключительно положительно, к Мехлису – пренебрежительно. Было несколько столкновений у меня с Мехлисом в присутствии Сталина.

Мехлис был осведомителем Сталина. Как-то я сказал Сталину: «Иосиф Виссарионович, не верьте Вы всяким сплетням Мехлиса. Он Вас неправильно информирует, привирает». После этих столкновений Мехлис меня особенно возненавидел. И он подбил Ермилова написать статью против меня. Такая статья была написана и в «Правде» опубликована. Называется она «Школа богатырей», что в нашем искусствознании сложилось целое направление, возглавляемое Гронским, направление, пропагандирующее искусство передвижников и игнорирующее новейшее искусство – французское.

А у меня до этого была напечатана статья, где я резко выступил против Сезанна, Доре, Пикассо и других формалистов, за передвижников. Сталин в это время находился в Сочи. Сталин, прочитав статью Ермилова, был возмущен, вызвал Мехлиса и заявил, что позиция Гронского в искусстве есть позиция Политбюро ЦК и что если подобное повторится, то Мехлис будет снят с работы. Вот вам лицо Мехлиса.

Ипольнов. Чем он кончил и как?

Гронский. Он умер в кремлевской больнице, но якобы до этого он был арестован. Похоронен в кремлевской стене. Но на похоронах Сталин не был. Это было после войны. Вот вам Мехлис.

Ипольнов. Значит, он использовал Павла Васильева для того, чтобы ударить по вам?

Гронский. Да, чтобы ударить по мне. Прямо он бить меня не мог, но, устраивая провокации против Павла Васильева, фактически бил по мне, поскольку я Павла Васильева поддерживал, защищал.

Ипольнов. Ясно.

Извините, что я Вас перебиваю. Теперь мне понятна эта фраза в коллективном письме, организованном Безыменским и Мехлисом. В письме говорится об «окололитературных салончиках, где создается сомнительная слава Павла Васильева». Это повторят Косенко, Коваленко...

Гронский. Речь идет о собраниях у меня.

Дело в том, что по заданию Политбюро ЦК, лично Сталина, у меня собирались писатели, поэты, художники, ученые. На

этих собраниях бывали члены Политбюро ЦК и в «Известиях», и в «Новом мире»: Куйбышев, Микоян, Калинин.

Испольнов. И Калинин слушал Павла Николаевича?

Гронский. Да. В «Новом мире» он был на собрании. А у меня дома был Тухачевский, бывал Егоров Александр Ильич, Гринько. На каждом таком собрании бывал Поскребышев, мой большой друг, помощник Сталина. Он информировал Сталина. Бывал на этих собраниях Шолохов, Толстой, Пастернак.

Испольнов. Молотов бывал?

Гронский. Нет, Молотов не был. Так называемые «салончики» — это собрания у меня дома.

Вялова. Только в этих «салончиках» не пеклись торты с инициалами Павла Васильева.

Гронский. Абсолютно ничего такого не было.

Испольнов. Запущено Коваленко, потом уже биографом Косенко такой слух, что Павел ходил по «околитературным салончикам, где хозяйками были «Элочки Людоедки», типа Ильфа и Петрова и угощали его пирогами с вензелем П.В.» Косенко взял это у Коваленкова?

Гронский. Ничего подобного не было. Это были собрания, которые проводились по поручению Политбюро ЦК.

Испольнов. Ваше слово настолько веско!

Вы рассказывали на вечере, а у меня, как назло, отказал магнитофон, Вы говорили, что Павел читал «Песню о гибели казачьего войска» и при этом был Куйбышев.

Гронский. Был Куйбышев, Микоян, Тоцкий, Поскребышев и другие. Васильев неоднократно читал «Песню о гибели...» у меня дома. Все о ней отзывались очень восторженно.

«Песня о гибели...» была сдана в печать, но в это время рассылали материалы допроса сибирских писателей, уже выпущенных на свободу, рассылали материалы только членам Политбюро ЦК. Стецкий и Валерьян Куйбышев мне посоветовали отложить печатанье примерно на месяц.

Испольнов. Это логично. Поэтому поэма не пошла?

Гронский. Я отложил печатанье, а потом то ли Павел хотел поработать, то ли еще что-то, поэма так и не была напечатана. Когда я вернулся из заключения, и начались разговоры об «Избранном»...

Испольнов. Коваленков говорил — «белогвардейская поэма».

Гронский. Я написал письма, как дело было – почему я ее снял, что она никем не была запрещена, не была забракована. И «Песня о гибели...» появилась в печати. Михаил Иванович Калинин предлагал даже: «Знаешь, вот эту часть, где о кулацком черте, надо бы отпечатать и в деревне распространить».

Испольнов. Это было отдельно напечатано в журнале «Крокодил».

Гронский. Михаил Иванович очень высоко отозвался в целом о поэме и предлагал очень широко ее распространить.

Испольнов. Великолепно! Я об этом напишу – автоматически снимутся все обвинения.

Вялова. Они уже и так сняты, когда поэма появилась в первом сборнике.

Испольнов. Дело в том, что Коваленков переиздал книжку. На чем строится спекуляция? Поэт сожалеет о том, что казаки, белогвардейцы погибли, а, следовательно, он сочувствует белогвардейцам. Но он просто сожалеет, что они погибли за чуждые им интересы. За то, что они обмануты. \...\

Отец мне говорил, что показания Коваленкова и Усиевич фигурировали в Деле Павла Васильева. Именно поэтому Усиевич бешено сопротивлялась реабилитации.

Вялова. Откуда Сергей Александрович мог знать дело Васильева? Это – домыслы.

Гронский. Я тоже так думаю, что это домыслы. Я говорил с Николаем Ивановичем Шулешовым, следователем, который вел дело Павла Васильева.

Испольнов. Потом его заменили Павловским.

Гронский. У меня первым следователем был Николай Иванович Шулешов, потом были другие, всего шесть следователей. Шулешов говорил, что он вел дело Павла Васильева.

Вялова. Значит, он вел дело после Илюшенко, потому что первым следователем у Павла был Илюшенко.

Испольнов. Я слышал, что Илюшенко пытался «спустить на тормозах».

Вялова. Да, мне так говорил сам Илья Игнатьевич.

Гронский. Боюсь, что здесь много неверного.

У меня был разговор с начальником отделения, забыл его фамилию, о том, что Илюшенко был арестован, на себя наговорил и «мы его выгораживали». Он был на Севере. Я спросил Марка Наумовича, потом вспомню его фамилию, он тоже си-

дел и у него следователем был тоже Шулешов. Причем, его допрашивали обо мне, почему он так мягко относился ко мне? Его крепко пытали. Он говорил мне, что следствие по делу Павла Васильева очень быстро закончилось.

Испольнов. Очень быстро? (Недоуменно)

Вялова. Последним следователем у Павла был Павловский, который его доконал, который ему перебил хребет.

Гронский. Может быть.

Испольнов. Фамилию Павловский я знаю, сейчас он, кажется, умер.

Вялова. Он сидел на Канатчиковой даче.

Испольнов. Да, от страха. Он симулировал.

Гронский. Многие сошли с ума. Шулешов сошел с ума не от страха. Они видели жуткие картины, и психика людей не выдерживала.

Теперь о Горьком. Вы затронули эту тему, что он переодевался, гримировался и ходил по кабакам за Павлом Васильевым. Ничего подобного не было.

Обстановка в литературе была чрезвычайно сложной.

Испольнов. Для чего было Сталину уничтожать Павла Васильева?

Гронский. Он не подписал письмо на смерть Бухарина. Ему приписали связь с «правыми».

Испольнов. То есть, это месть за то, что не подписал, но почему не пострадал по этому поводу Пастернак? Мне говорили, что о Пастернаке Сталин сказал: «Не трогайте этого юродивого». Насколько это может соответствовать истине?

Гронский. Пастернак не был опасен. Он – лирик, а Васильев – человек страстный, с преобладанием гражданских устремлений. И поскольку его Бухарин привлек, обласкал, Сталину показали, что Васильев связан с Бухариным, Сталин увидел опасность, поэтому Васильева устранили.

Что касается Горького. Горький знал, что это письмо не о Павле Васильеве, а о Сергее Васильеве, что он избивает жену.

Испольнов. Там так и написано, в отличие от Павла Васильева, Васильев Сергей бьет жену. Это в газете так напечатали. Только в 30-томном собрании сочинений Горького напечатано: в отличие от Павла Васильева Васильев Павел. Явная бессмыслица. Имя выносится на второй план, когда одинаковая фамилия.

(Речь идет о статье А.М.Горького «О литературных забавах» Собр.соч. т.27, с. 242. В ней, на стр. 250 Горький пишет: «Недавно один из литераторов передал мне письмо к нему партийца, ознакомившегося с писательской ячейкой комсомола». И далее Горький цитирует письмо (донос). В 30-м сводном томе ссылки на литераторов Павла или Сергея Васильева нет. – С.Г.)

Гронский. Горький этим письмом воспользовался и ударил по Павлу Васильеву.

Испольнов. Письмо писал некто Колин, а передал письмо Ставский. Отец узнал фамилию этого человека, он в литературе никакой роли не играл, был где-то комсоргом. Это в статье «О литературных забавах», где упомянут Павел Васильев, но дальше речь идет о Сергее Васильеве. Сам Сергей Васильев, то ли подкупил редактора или корректора, и в собрании сочинений было напечатано – Павел Васильев. Он говорил, что в газете при публикации статьи Горького будто была допущена опечатка, которая была исправлена в 30-томном собрании.

Мы с отцом были в архиве Горького и просто-напросто посмотрели рукописный черновик этой статьи Горького. Там написано: «Васильев Сергей бьет жену». Да, да. Я даже просил отца записать номер хранения.

Гронский. Об этом надо обязательно написать.

А Горькому это нужно было для удара по мне.

Испольнов. Значит, статья «О литературных забавах» Горькому нужна была для того, чтобы косвенно, «от борта», как говорится, по Вам? Да. Так же, как в коллективном письме упоминание о «салончиках», где куется сомнительная слава...

Гронский. Собрания, а не «салончики» устраивались по распоряжению Политбюро ЦК, лично по распоряжению Сталина.

Испольнов. Иван Михайлович, Вы сказали о Павле Васильеве, употребили такое слово «страстный».

Я объясню, почему так обрадовался, услышав это слово. Сейчас очень популярен среди интеллигенции Москвы и Ленинграда историк Лев Николаевич Гумилев, который выдвинул свою совершенно оригинальную концепцию образования новых народов. Он утверждает, что новые народы образуются из нескольких старых. Он назвал этот эндогенный фактор пас-

сионарностью, то есть буквально страстностью. Он утверждает, что чем моложе народ, тем больше в его составе людей боеспособных. Он использует высказывание Энгельса, что «в кавалерийском бою побеждает тот отряд, в составе которого больше людей, ценящих жизнь меньше цели, которые готовы пожертвовать жизнью, вот поэтому они и побеждают».

Весь парадокс заключается в том, что бегущих легче рубить. Отступающих уничтожить легче. Люди, которые идут в атаку, себя не щадя, они-то и побеждают, в конце концов.

Прозаик Николай Минх, знавший в 30-е годы Павла Васильева, сказал мне:

– Если бы Паша оказался на фронте, он был бы героем из героев, он бы шел в атаку первым, причем, не за ордена, не за награды, а потому что иначе не мог вести себя в бою.

Гронский. Да, он прав.

Испольнов. И Гумилев, когда я с ним встречался, один раз я его видел. Он спросил меня: «Вы пишете диссертацию? Не историческую?» «Нет, литературоведческую, о Павле Васильеве». «А Вы знаете, я его знал!»

– Я, поскольку хорошо знаком с Вашей теорией, Лев Николаевич, пришел к выводу, что это был человек, личность пассионарная, он распространял вокруг себя некое пассионарное поле, – предложил я Гумилеву свою мысль о пассионарности Васильева.

По теории Гумилева, он так писал, это не его открытие, это давным-давно известное явление в военном деле. Людей отбирают опытные военные по интуиции и используют их двояко: либо формируют специальные ударные части, либо распыляют в массе новобранцев, для того чтобы поднять ее боеспособность. Это качество можно индуцировать: люди, распространяющие вокруг себя пассионарное поле, способны как-то действовать на окружающих.

Я сказал Гумилеву – «По Вашей теории, убежден, Васильев был таким».

Лев Николаевич сказал: «Совершенно верно».

И затем он продолжил, вспомнив далекое время:

– Может быть, тут еще сыграло роль то, что я был молод. Я абсолютно не пил тогда. Пил позже, после того как я отсидел столько раз: четыре ареста, две посадки – сидел за папу и за маму. А тогда, я пошел зачем-то к Сергею Антоновичу Клычко-

ву, меня мама послала что-то передать ему. А у него сидел Павел Васильев. Мы познакомились. Насколько я понимаю, Павел Васильев любил стихи Гумилева и, узнав, что я его сын, налил мне стакан водки, сказав: «Пей!» И я безропотно выпил. Это сказал человек, от которого исходила такая сила. Водки я в рот не брал, а тут выпил безропотно. От одного стакана я пришел домой такой, что мама сказала: «Тебе в таком виде неудобно идти со мной в гости к Мандельштаму. Иди немедленно ложись». Я лег и проспал до утра. А утром приходит мама и говорит: «Мандельштама арестовали».

Именно Павел Васильев спас меня от первого ареста, который мог бы быть в моей жизни. Пришедшие за Мандельштамом спросили бы, кто это, я бы ответил: Гумилев и пошел бы вместе с Мандельштамом рука об руку.

Гронский. Я думаю, что Гумилев не совсем прав. Павел был человеком деликатным, и он не мог налить ему стакан водки, не зная человека и заставляя его выпить. Этого Павел не мог сделать.

Испольнов. Вернее, он его пригласил, а Гумилев стал отказываться, но Павлу Николаевичу захотелось выпить с сыном Николая Гумилева. Лев Николаевич сказал: «Он такая сила, что я не мог отказать».

Гронский. Павел Васильев был физически очень сильным человеком.

Испольнов. А Елена Александровна говорит, что он был слабого сложения.

Гронский. Примерно с меня ростом. Он, может быть, немножко ниже меня, стройный. Очень стройный, держался прямо, курчавые волосы, очень выразительное лицо, темпераментный, страстный, волевой. Обладал замечательной памятью, любил книги, много читал – у меня была огромная библиотека.

Испольнов. Мне говорил сибирский поэт Скуратов: «Мы все поражались – с какой скоростью он, не просто читал, но и усваивал. Максимально усваивал».

Гронский. Человек огромного ума.

Я хочу в заключение рассказать Вам об одной истории.

Готовился Второй пленум Оркомитета союза писателей, я предложил утвердить докладчиком по соцреализму Луначарского.

Испольнов. Простите, пожалуйста, еще раз об этом вопросе. Вы согласны с тем, что Павел Васильев, окажись на войне, был бы героем?!

Гронский. Безусловно. Он безумно смелый человек. Да, очень смелый человек. Это рыцарь. Очень благородный. Показывает эта история с Джеком Алтаузенем.

Испольнов. Значит, он был отмечен этим качеством – пассивностью. На это и били – на его благородство.

Гронский. Так вот, было решение созвать Пленум Оргкомитета. Я предложил на Политбюро утвердить докладчиком Луначарского. Сталин был против и предложил докладчиком утвердить меня. Я сказал, что перегружен работой и не смогу хорошо подготовиться, настоял на утверждении Луначарского докладчиком. Было решено, что я от имени Политбюро должен утвердить тезисы доклада Луначарского. Мы встретились с Анатолием Васильевичем, я передал ему, что было на Политбюро, что можно было передать. Через неделю примерно Анатолий Васильевич пришел ко мне и принес вот на такой бумаге – на одной или двух страничках – план доклада, не тезисы. Мы поговорили и согласились, что это не тезисы и что Анатолий Васильевич представит нечто другое. Я передал более подробно информацию о том, что было на комиссии Политбюро по РАППу, по перестройке литорганизаций. Второй раз Анатолий Васильевич принес более расширенный документ, причем, это тоже были не тезисы. Он был болен. Поэтому я сказал: считайте вопрос решенным и больше над этими тезисами не трудитесь. Показал Сталину этот документ. Сталин говорит: «Какие же это тезисы?!» Я сказал, что Луначарский болен и ничего другого он дать не сможет. Сталин согласился.

Луначарский сделал блестящий доклад. Он говорил примерно час, потом просил устроить минут на двадцать перерыв. Закончив доклад, сказал: «Знаете, я очень плохо себя чувствую». Я говорю: «Анатолий Васильевич, немедленно поезжайте домой». Он поехал домой, и после заседания я поехал к нему. Он лежал в постели и больше не принимал участия в работе пленума Оргкомитета.

Как-то мы сидели втроем: Сталин, Молотов и я. Зашел разговор о нашем после в Испании. Назывались разные кандидатуры. Я назвал Луначарского. Сталин засмеялся, я говорю: «А что Вы смеетесь? Лучшего кандидата мы не найдем. Испания

– страна большой истории, истории героической, страна больших художественных традиций – и литературных и живописных. Луначарский знает и то и другое великолепно. Испанию он знает не хуже, чем Италию». В конце концов, Сталин согласился. Молотов сразу согласился. Луначарский был утвержден нашим послом в Испании.

Луначарский мне звонил, звал в гости, я отказывался один раз, другой. Жена меня ругала, что, мол, неудобно, человек старше тебя по возрасту. А меня держали дела, работа. Но однажды договорились приехать «на блины».

За столом сидели Анатолий Васильевич, его жена Розенель, Алексей Николаевич Толстой с женой Тусей, Савельев Максимилиан Александрович, Дейч – литературный критик с женой. Обращаясь ко мне через стол, Луначарский заговорил о Павле Васильеве: «В Москве появился замечательный поэт, только о нем и говорят, а мы его не знаем, не слышали, нельзя ли устроить встречу». Я поддержал Анатолия Васильевича.

– Нет ничего проще, Васильев сейчас живет у меня. – Позвонил домой: «Павел, вызови машину и приезжай немедленно к Анатолию Васильевичу».

Я ходил в то время в русской рубашке, поверх – пиджак. В сапогах, которые мне подарили кустари из Кимр, они выделяют замечательную кожу. Эти сапоги очень понравились Павлу Васильеву, я ему их подарил, и он, подражая мне, ходил в русской рубашке и русских сапогах. И вот он явился в русской рубашке, поверх прекрасный пиджак и в русских сапогах. Видимо, Розенель решила, что перед ней мужичок – одет очень просто. Она ставит перед ним стакан и наполняет его водкой. Я отодвигаю стакан и спрашиваю: «Павел Николаевич, что будешь пить?» Впервые назвал его «Павел Николаевич», я звал его Пашка или Павел.

– Ты что пьешь, Иван Михайлович? – откликается Павел.

– Я пью коньяк.

– Рюмку коньяка и я выпью.

Алексей Толстой просит Павла читать стихи. Васильев встал и прочитал стихотворение, а читал он бесподобно!

Испольнов. Да, мне много об этом говорили.

Гронский. Он мог бы конкурировать с Качаловым в чтении стихов. Нет никакого завывания – артистическое, великолепное

чтение! Вот он прочитал стихотворение. Молчание. Павел сел, и только тут раздались аплодисменты, «ахи», «охи». Все просят читать. А Павел читал охотно. И вот Павел читает одно стихотворение за другим. Успех был потрясающим. Туся, жена Алексея Николаевича Толстого, пишет ему записку: «Это же Пушкин! Пушкин наших дней». Толстой, пройдя вокруг стола, подходя ко мне, говорит: «Иван, — показывает записку — Васильев — это же Пушкин. Это по таланту — Пушкин». Я говорю: «Алешка, не захваливай парня, он еще мальчишка». Это был 1933 год, Павлу — 22-23 года. Толстой сел на свое место. Павел еще что-то прочитал. Луначарский поднимается и говорит:

— Я рад приветствовать новое восходящее светило русской поэзии. — Вот эти слова Анатолия Васильевича мне врезались в память.

Исольнов. Великолепно.

Гронский. «Новое светило русской поэзии». Он произнес восторженную речь. Потом мы с ним сидели рядом, он сказал мне:

— Иван Михайлович, я плохо себя чувствую, я уйду, надо полежать немного. — Он ушел. Мы остались одни. Восхвалений по адресу Павла было множество. И между прочим, с тех пор Алексей Толстой везде превозносил, где только можно, Павла Васильева.

Расскажу два случая.

У Алексея Толстого заболела дочь, ее положили в больницу. Толстой послал ей в больницу стихи Павла Васильева со словами: «Посылаю лучшее лекарство, какое только я могу послать — стихи Павла Васильева».

Другой случай. Сидим мы у Горького на даче в Горках-2. — Горький, Алексей Толстой и я. Мы с Горьким спорим из-за Павла Васильева. Он, кем-то накрученный: «Да, слава! Так можно повредить», — словом, отзыв о Васильеве почти отрицательный.

Исольнов. Это еще до статьи «О литературных забавах»?

Гронский. До. Толстой встает из-за стола, уходит, приходит с пачкой журналов. Читает стихи, не называя — кого. Горький восклицает: «Это же потрясающе! Это же исключительно талантливые стихи! Это же гениально!»

Исольнов. Так и сказал: «Гениально!»

Гронский. Да! И Толстой, перегибаясь через стол, говорит: «Алексей Максимович, это Павел Васильев!» «Как? Как Вы сказали?» «Павел Васильев!» – он поворачивается ко мне: «А здорово! Вот это стихи! Это талантище!» А Вы!?, – а может, уже это было после статьи, – «А Вы на Васильева нападаете!»

Я думаю, на этом беседу прекратим. Может быть, у вас будут вопросы?

Испольнов. Отдохните, конечно. У меня совсем короткие вопросы. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях, опубликованных за границей, обронила такую короткую фразу, она много пишет о Клычкове и очень хорошо. О Павле Васильеве – она говорит, что Васильев Клычкова «поил водкой и водил по бабам». Вот такая странная фраза. Мне кажется, что она несколько идеализирует Клычкова, во-вторых, Васильев почти юноша по сравнению с Клычковым...

Гронский. Коротко отвечу Вам.

Около Павла роем крутились девушки. Он красив, гениален, он умен и, естественно, он привлекал внимание девушек, женщин. Они в него влюблялись, к нему приставали, но он вел себя по отношению к женщинам буквально рыцарски и ни по каким «бабам» Клычкова не водил.

Испольнов. Вот! Очень важно было, что Вы подтвердили мою догадку.

Гронский. И конечно, он Клычкова не спаивал.

О Клычкове расскажу следующее.

Клычков принес мне большую рукопись – поэму «Мадурваза – победитель». Это фольклор одного из северных приобских народов, их сказания, вроде, «Песни о Гайавате» Лонгфелло, собранные приват-доцентом Томского университета Плотниковым. Клычков обработал эти сказания, превратил их в поэму и отдал мне. Поэма отпечатана на машинке, завернута в листы чистой бумаги – на ней отзывы «Великолепно!», «Замечательно!» – восторженные отзывы, начиная от Кони, все писатели, поэты, примерно автографов 20.

– Сергей Антонович, почему же Вы их не печатаете? – спрашиваю Сергея Антоновича. У него была поговорка: «ядрёна-бабушки».

– Не принимают, ядрёна-бабушки. Отказываются.

– У вас же тут такие авторитеты! – настаиваю я. – Оставьте, я прочту. – Приехал домой, положил на столик около кровати, думаю, перед сном почитаю, и забыл.

Приходит ко мне Клычков: «Иван Михайлович, прочитали?»

– Сергей Антонович, не успел еще добратся, не прочитал.

– Вот-вот, ядрёна-бабушки, и вы боитесь печатать!

Я его вежливо выпроводил, думаю, надо все-таки прочитывать и пришел от чтения в восторг. Вещь изумительная – пишу: «В очередной номер. Приходит ко мне с извинениями Сергей Антонович Клычков.

– Иван Михайлович, простите, я нагрубил Вам в прошлый раз.

– Пустяки, Сергей Антонович, могу Вас порадовать: «Мадур-ваза» идет в «Новом мире», вот у меня сигнальный экземпляр. – Он схватил журнал и убежал. Потом приходит дня через два и говорит:

– Иван Михайлович, я попрошу заплатить гонорар.

– Сколько, Сергей Антонович? – спрашиваю.

– Руп мне и руп Плотникову. В поэме 10 тысяч строк, значит, 10 тысяч рублей.

Я вызываю Веру Константиновну Белоконь, секретаря.

– Вера Константиновна, выпишите ордер Сергею Антоновичу на 10 тысяч рублей, по рублю за строку. – Она выписала ордер. Сергей Антонович пошел в кассу и получил деньги. Проходит несколько дней, он приходит и говорит, что Плотникова нет.

– Сергей Антонович, к чему Вы ведете речь?

– Раз Плотникова нет, то нельзя ли получить второй руп?

Сергей Антонович печатался мало, нуждался. Я даю распоряжение заплатить еще 10 тысяч. Клычков получил деньги. Приходит недели две. В «Новый мир» приходит Клычков к Белоконь и говорит: «Вот, меня Иван Михайлович надул. Он мне не заплатил за предисловие». А я, перед тем как печатать предложил:

– Сергей Антонович, напишите хотя бы кратенько, что такое вогульский эпос.

– Иван Михайлович, я не знаю, что написать.

И я продиктовал 20 строк. И вот теперь он жаловался Вере Константиновне за неоплаченное предисловие. Белоконь, возмущенная Клычковым, красная, влетает ко мне, а у меня был Малышкин и, кажется, Леонов.

– Вот, ты поощряешь рваческие замашки Клычкова, вот чем он тебе платит! – выпалила она.

– Вера, успокойся, прежде всего. Пойди и скажи следующее: «Сергей Антонович, Иван Михайлович очень извиняется перед Вами, что не заплатил Вам за предисловие, Вам сейчас будет выписан ордер. Выпиши ему, это проза – по рублю за строку – выпиши 20 рублей. Заставь его расписаться в получении ордера и вручи ему ордер. – Вера Константиновна поняла, в чем дело, присутствовавшие рассмеялись. Она извинилась перед Клычковым – сказала и сделала, как я сказал.

– Двадцать рублей! – восклицал Клычков.

– Да, Сергей Антонович, по рублю за строку. Мы никому не платим такой гонорар.

Клычков убежал. На лестнице встречается с Павлом Васильевым.

– Пашка, пойдем в кабак!

– Ты что, Сергей, с ума спятил? Да и денег у меня нет.

– У меня есть деньги, я заплачу. Вот мне сейчас Иван Михайлович по морде дал.

– Быть не может, чтобы Гронский поэта ударил. Ты врешь, Сергей!

– Да, нет, не кулаком, конечно, а вот я пожадничал. Получил 20 тысяч и пожадничал, еще 20 рублей вырвал.

Павел деньги зарабатывал и частенько делился с Клычковым.

Испольнов. Иван Михайлович, верно ли, что первый раз по «сибирскому делу» Павел был освобожден по личному распоряжению Менжинского. Менжинскому будто понравились стихи Васильева, и он выпустил «подчистую» в то время, как остальные получили – кто в Мезень, как Сергей Марков, кто...

Гронский. Я этого не знаю. У меня разговоров на эту тему с Менжинским не было. Менжинский образованнейший человек, знал 16 языков, кстати, он лингвист, любил литературу, и, возможно, вполне вероятно, что он следил за развитием Павла Васильева, что он дал распоряжение Павла освободить.

Испольнов. Еще один вопрос. Был такой Ильин – оргсекретарь Союза, бывший сотрудник НКВД. В одном из частных разговоров сказал Николаю Асанову, что он видел якобы, как Павла Васильева вели на расстрел. Он был сгорбленный и весь седой.

Гронский. Нет, я этого не знаю.

Испольнов. Ну и относительно Усиевич. Ее статья «На переломе» и «От чужих берегов» были едва ли первыми критическими статьями на поэзию Васильева.

Гронский. Она говорит: «Иван Михайлович, побойтесь Бога, это же контрреволюционер, антисоветчик, а Вы хотите поднять вопрос о реабилитации. Я говорю: «Елена Феликсовна, нам с Вами говорить больше не о чем». Взял и повесил трубку.

Испольнов. Вот что я хотел спросить – очень любопытно, у меня вот здесь почти вся пресса прижизненная о Павле Васильеве в фотокопиях. Не хватает только статьи Катаняна «Богатство поэта» из «Вечерки» за этот год, нет в библиотеке ЦДЛ. Все отклики начались с «Соляного бунта», дескать до сих пор его стихи «лили воду на мельницу контрреволюции»... \... \

Гронский. Поэзия Павла Васильева не сразу была понята критикой. Это одно. Другое – Павел, как и некоторые другие молодые поэты, был привлечен к Клюеву и дружил с ним. Дружил потому, что Клюев очень большой мастер поэзии, великолепный знаток русской литературы, фольклора, в частности, русского, и он их обучал мастерству. Создал группу поэтов и прозаиков молодых, которая как бы составила клюевскую школу. А Клюев – человек антисоветский, открыто выражал свои антисоветские взгляды, вел антисоветскую работу, и, поскольку Васильев был с Клюевым, дружил, на Васильева распространялся ценз (?), который давали Клюеву.

Чтобы отбить Васильева от Клюева, я на вечере в «Новом мире» очень резко выступил с критикой Васильева. Это напечатано. Говорил резче раз в 10, чем это нужно было.

Испольнов Я этому очень удивился. Почему?

Гронский. Я выступил страшно резко с критикой Васильева, употребил термин – «контрреволюция» и т.д. для того, чтобы предупредить Васильева, что там, контрреволюция и ты с ней связываешься, для того чтобы отбить Васильева от Клюева. И я Васильева от Клюева отбил. Поэтому дальнейшие оценки Васильева носят уже другой характер. Я хотел выправить, смягчить формулировки в стенограмме, но был сильно перегружен работой и своевременно не выправил ее. Она так и пошла в печати.

Пару слов о Клюеве.

Клюев стоял на паперти храма, куда приходят иностранцы, с протянутой рукой:

– Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Клюеву.

Когда мне это доложили, я вызвал Клюева к себе. Вот приходит Клюев. Секретарь докладывает: «К Вам Клюев». «Прогласите». Входит в дверь. В русских сапогах, штаны поношенные, русская рубашка, подпоясанная ремешком, поношенный пиджак. С бородкой, хитрые глаза, умные. Комкает шапочку в руках.

– Ох, уж и хорошо-то у Вас, Иван Михайлович! Вот Господь Бог, довелось встретиться с Вами.

– Да, да, вот так – «довелось встретиться». Я встаю, подхожу, говорю:

– Николай Алексеевич, ведь мы с Вами знакомы. Встречались, так что Вы отбросьте игру, отбросьте комедию, будем разговаривать, как взрослые люди, которые друг друга знают.

– Как же, как же! Встречались у Александра Александровича и у Сергея Митрофановича».

Александр Александрович – Блок, Сергей Митрофанович – Городецкий. И там, и тут я с Клеуевым встречался. «Хорошо, хорошо, кутенька-ляля» – это у него поговорка такая была – будем говорить как взрослые люди. Я в советской стране являюсь лучшим знатоком древней живописи и древней литературы».

На мой вопрос, почему он не работает, он ответил:

– Я не могу и не хочу работать, потому что советская власть довела меня до нужды.

– Николай Алексеевич, Вы говорите неправду. Во-первых, у вас имеется то-то и то-то, в частности, у Вас есть Библия 16 или 17 столетия, у Вас две или три иконы Рублева. Если бы вы нуждались, Вы бы продали, скажем, Рублева одну икону и этого бы Вам хватило на несколько месяцев безбедного существования. Так что о нужде Вы зря говорите. Надо работать.

– Я хотел бы поехать в деревню, – говорит Клеуев.

– Хорошо, – соглашаюсь я.

– И потом вот – есть нечего.

– Говорите, продуктов нет? Есть нечего? Вот Вам академический паек. – в моем личном распоряжении было шестьсот академических пайков. Мне их дали по личному распоряжению Сталина для помощи творческой интеллигенции.

– Я вот пообносился, материалу нужно было бы.

– По этому пайку Вы получите обувь, одежду, белье и все, что Вам необходимо.

– Денег нет, – продолжает Николай Алексеевич.

Я достаю и даю ему тысячу рублей и говорю, что никакой расписки мне не нужно. Спрашиваю адрес, куда он поедет.

– Билеты достать трудно.

– Билет Вам будет обеспечен.

– Я ведь не один, со мной поедет племянник.

– Хорошо, два билета, – соглашаюсь я. Даю распоряжение секретарю Кочанову: на такое-то число два билета до такой-то станции. – Завтра вечером можете прислать за билетами.

Клюев уходит. На другой день ко мне приходит молодой человек. Стройный. Красивый. Фамилию не называю. Я ему вручаю два билета. Получаю от Клюева из деревни письма – конверт, по черному белым написан адрес. Два или три письма я послал ему ответных. Получаю поэму – любовная поэма. Вы, вероятно, читали Шелли – его послание графине Вивии, заточенной в монастыре Св. Анны в городе Пизе. Шелли объясняется ей в любви, это блестящая любовная поэма Шелли... Вот, в духе Шелли, любовная поэма, объяснение в любви юноше. Утром до завтрака я читал, просматривал материалы. Читаю клюевскую поэму – ничего не понимаю! Напротив сидит Павел: «А что ты не понимаешь, это объяснение к его жене»...

Приезжает Клюев.

– Будет ли напечатана поэма?

– Николай Алексеевич, мы подобных вещей печатать не собираемся.

– Если не будет напечатана поэма, я не буду работать.

– Николай Алексеевич, Вы обещали мне, что будете работать, мы Вам дадим любую работу. Хотите изучать иконопись – пожалуйста. Хотите, древнерусскую архитектуру, пожалуйста. Хотите фольклором заниматься – пожалуйста. Мы Вам дадим все.

– Нет, если поэма не будет напечатана, работать нигде никак не буду.

Я долго его уговаривал, он категорически отказался работать. Я говорю – «Ну, пеняйте на себя». Он ушел. Я по вертушке позвонил Ягоде. Рассказал ему подробно всю эту историю, что он развращает молодежь поэтическую и надо, чтобы его в Мо-

скве не было. «Арестовать?» «Нет, ни в коем случае. Выслать и подальше». Он говорит: «Хорошо, будет сделано». Ключев был выслан...

На этом давайте закончим беседу. Расшифруйте ее, дадите мне один экземпляр, я ее обработаю и Вам передам. Многого надо выкинуть, сократить лишнее, дописать, объяснить. Это большая работа, но она касается Павла и я ее сделаю.

Гронская. Саша, когда Вы завершите свою работу о Павле Васильеве, я надеюсь, что один ее экземпляр Вы подарите нам.

Испольнов. Конечно. Вы имеете в виду черновой материал?

Гронская. Любой, проделана огромная работа и необходимо чтобы о ней узнали, чтобы она была в архивах.

Испольнов. Иван Михайлович мне предсказал, что когда-нибудь я доживу до такого дня, когда я смогу опубликовать все в таком виде в каком мне хочется увидеть.

Гронский. Да, такое время наступит. Оно не за горами.

1. В 1984 году С.Е.Черных и Г.А.Тюрин – исследователи жизни и творчества П.Васильева, составители сборника «Воспоминания о Павле Васильеве», – нашли документ, устанавливающий точную дату рождения поэта. Даты жизни П.Васильева по разным документам имели разногласия. Вот как пишут Черных и Тюрин в своем сборнике «Воспоминания о Павле Васильеве» «Жазуши» Алма-Ата. 1989 г. С. 268. «В метрической книге Александро-Невской церкви, хранящейся в районном бюро загса г.Зайсана, мы обнаружили запись: «Месяц и день: рождения – 23 декабря 1909 года (по старому стилю), крещения 31 декабря. Имя родившегося – Павел. Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания – учитель Зайсанской приходской школы Николай Корнилович Васильев и законная жена его Глафира Матвеевна, оба православные...»

2.10.08 г.

Публикацию подготовила Светлана Гронская



ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ – 75

15 марта 2012 года Валентин Григорьевич Распутин, крупнейший русский писатель нашего времени, отметил свой 75 день рождения. Сургут имел честь принимать великого писателя в 2004 году. Неизгладимые ощущения от встреч получили и сургутяне, и сам Валентин Григорьевич. Помимо впечатлений от города, от людей, от великой Оби, поразили писателя «гостеприимство и щедрость, которые, конечно же, превосходили границы, способные вместиться в обычную благодарность». Надо признать, что щедрость, о которой писал Распутин, была взаимной: Валентин Григорьевич щедро делился своими мыслями о нашем времени, о проблемах, волнующих всех, о будущем Отечества, о литературе, о завтрашнем дне молодых. Результатом визита для Сургута стали диссертации, защищённые в стенах педагогического университета по творчеству Распутина, ряд дипломных проектов будущих учителей литературы, международная конференция, посвящённая проблематике творчества отечественного классика, выставки, конкурсы. Дружба с Валентином Григорьевичем ценна ещё и тем, что она способствует нашему духовному росту, нашему самостоянию и самоопределению. И за это мы благодарны Распутину. Искренне желая ему сил духовных и физических, благодарим Бога за счастье встречи с Валентином Григорьевичем и верим в новые.

В сегодняшнем номере мы публикуем статью сургутского журналиста, члена Союза писателей России Аллы Цукор, вышедшую в газете «Литературная Россия» в 2004 году, сразу после визита В.Г. Распутина в Сургут. Насколько актуально звучит она сегодня, судить вам, уважаемые читатели. Валентин Григорьевич является автором и читателем нашего альманаха, и для него эта публикация будет небезынтересной. А стихотворение поэта Владимира Кострова, написанное к нынешнему юбилею писателя, пусть станет нашим общим поздравлением. С днём рождения, дорогой наш Валентин Григорьевич!

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

Уроки русского

За то, что с нами ты живёшь,
Заздравно выпьем по бокалу.
Мне чудится, что ты плывёшь
В рыбацкой лодке по Байкалу.

Там, за кормою, перевал,
У ног твоих груздей корзина,
И «пошевеливает вал»
Свободный ветер Баргузина.

Светла байкальская вода,
И зачарованна, и странна.
А голова твоя седа,
Как горный снег Хамар Дабана.

Минуты, капая с весла,
Соединяются с судьбою.
Страна Сибирью приросла,
А слово русское – Тобою.

И в «глубине сибирских руд»,
И в городском столпотворенье
Благоговенен честный труд
«И дум высокое стремленье».

АЛЛА ЦУКОР

Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ РОССИИ

Сургут давно жаждал встречи с Валентином Распутиным. И вот долгожданный праздник.

Вид у Распутина несколько усталый: ведь он приехал в Сургут, преодолев тысячи километров, 15 марта, в день своего 67-летия! Но голос твёрдый, суждения глубокие и убедительные. Кажется, во всём его облике, в манере разговора, в реакции на вопросы, среди которых было и немало острых, запечатлелись переживания о судьбах сограждан, о страстотерпной стране нашей, о её будущем, в котором обязательно нужно увидеть свет надежды. Видимо, такую печать непомерного груза несли на своих плечах древние пророки. «Кто пророк, кто классик, — отвечал он на вопросы слушателей о том, как себя чувствуют люди в такой ипостаси, — это покажет время. Я же себя таковым не считаю. Шолохов и Леонов — вот два гиганта XX века. Остальные — лучшие — талантливые, крупные писатели России». Так ли это на самом деле, судить ему, как человеку, которого называют «совестливым русским писателем», который «каждым своим крупным произведением овещает самую жгучую боль своего времени, делает её зримой».

Но было видно: писатель искренне рад встрече с аудиторией. «Всегда существует какая-то вина, — такими словами начал он разговор, — что не везде успеваешь побывать. Потому знаю, что читатель ждёт от русского писателя личных встреч, считает, что я должен объехать все города, чтобы поговорить с ними, рассказать о том, что происходит с нашей Россией. Мне много пришлось поездить: был у Ледовитого океана, ездил к устью Индигирки, Колымы и Яны, посетил Красноярский край, Алтай, Байкал, Тобольск. Но к вам в те годы не доехал. Конечно, мне хотелось попасть в этот район, но не складывалось, что-то психологическое не пускало. В своё время я не поехал на БАМ, о нём так много говорили, — может быть, не совсем искренне? Так тогда заговорили этот край, что до истины можно было и не добиться?..»

Он очень хорошо отзывался о Сургуте, сказал, что город при всей его доброте не похож на многие города России, которые разбиты на две части — убогую для обычных людей и роскошную для разбогатевших. Похвалил нашу власть, которая с умом тратит деньги на «обихаживание» города, не пускает на улицы рекламу, «опоганивающую» их.

Рассказывая о родных местах, об Аталанке и Усть-Удинском районе Иркутской области, которые всегда были для него источником вдохновения, Распутин заметил, что Братская ГЭС, затопившая не одну Матёру, перегоняет электроэнергию в Китай и Корею за хорошие деньги, которые «пролетают» мимо деревень, никак не «оседают» в них ни красотой улиц, ни работой, ни экологией. Деревенский люд для прокорма в сезон промышляет ягодой для продажи. Разживались бы и рыбой — ведь столько воды вокруг, но её нельзя есть, потому как сливы химкомбинатов начисто отравили всю живность. С горечью говорит, что в глубинках везде неухоженность страшная, а люди в безысходности разбились на две части — окончательно спивающихся и крепящихся, взявших «устоем», то есть держащихся из-за всей мочи, чтобы выжить самим и детей не сломить.

Я слушала Распутина и видела его странником, который ходит по Руси, чтобы видеть и слышать мир в его неприкрытой сути, чтобы ею сверить свою и оставаться человеком, с понимающим правду жизни. В этой правде было понимание мифа о российской «стабильности», держащейся на нефти и газе, «а уйди она — рухнет всё, пусть не в одночасье, но нефть — это не земля, которая издревле кормила Русь». Говорил о землепашестве с болью крестьянского сына, носителя тысячелетней русской традиции, сына народа-кормильца, который стал «лишним в своей стране», «тяглом», какому надо выплачивать пенсию, чтобы он от голода не помер. В деревнях же тем временем люди с голоду выкапывают картошку, которую две недели назад посадили, а уехавшие в города нередко ищут пропитание на помойках. Мы отворачиваемся от подобных судеб и молимся тихонько, проходя мимо нищеты: «Помилуй мя, Господи, от тюрьмы и сумы!»

Валентин Григорьевич сохраняет связи с землёй, чтобы понимать и передавать нам своё понимание: «Когда рынок активно занимали азиаты и кавказцы, нам говорили, что рус-

ские, дескать, не способны к торговле! Но мы оглядываемся на историю, видим и понимаем, что внушается чистейшая ложь! Русские купцы славились не только своими товарами, но и торговыми путями. Какие торговые дома, мануфактурные фабрики, селекционные фермы были в дореволюционной России! Мы не «Иваны, не помнящие родства», знаем свою историю, знаем трудолюбие и безотказность русского народа. А теперь — дешёвая рабочая сила из Турции, Китая, Азии перебивает русским рынок труда, сбивает оплату, при этом новые управленцы умудряются говорить, что русские ленивые и не умеют работать!» Распутин задаёт залу вопрос: «А кто строил города, возводил ГЭСы и ГРЭСы, осваивал нефтяные и газовые месторождения вот этой же Западной Сибири? Кто создал систему образования, которая считалась и считается самой лучшей в мире? И такую систему теперь пытаются перевернуть на американский лад. На бездарный лад, по мировым оценкам».

Он говорил и всматривался в лица людей, словно хотел убедиться: слышат ли? Понимают ли? Доходчиво ли он сам выражает свои сокровенные мысли? А может, искал в слушателе не простое «умное» понимание, а душевный отклик, ток родственных душ, для которых его слова — лишь оболочка боли за Родину?

«В последние годы на лицах у молодёжи всё больше равнодушия, я искренне радуюсь, когда на встречах (как здесь) звучат вопросы от молодых, которые волнуют и меня. О засилье массовой культуры, пропаганде секса, курева, пива. Я сам не курю, а потому особенно меня удивляют курящие девушки. Думаю, как их могут парни целовать, когда они табачищем насквозь пропитались? А пьющих пиво на ходу да прямо из горлышка, народ давно окрестил «горнистами». И ведь точно: они бутылку-то, словно пионерские горны, вскидывают над головой! При этом нам повсюду навязывают мнение, что в этом — «свобода» проявления личности. Это — дурость, которая пройдёт, как проходила в прежних поколениях, у нас и будет проходить впредь».

На вопрос, что могло бы стать объединяющей идеей для русских людей, Распутин ответил: вера. Сам Валентин Григорьевич — человек верующий, а христианский «устой» подкрепил на Афоне, где недавно побывал. Чистая жизнь монахов на

Святой земле состроила его душу и дух с верой православной. Он убеждён, что Православие — это спасение «своих», объединяющее «родственников по духу». Валентин Григорьевич заметил, что среди русских людей появилась тяга к чистой, общинной жизни.

На этой светлой ноте я заканчиваю свой рассказ о трёх днях встречи с великим русским писателем Валентином Григорьевичем Распутиным, который ещё раз напомнил нам, что у нас есть история, есть традиции, есть её хранители.

*Публикуется по материалам архива
газеты «Литературная Россия».
<http://www.litrossia.ru/archive/109/writer/2550.php>*



К 75-летию НИКОЛАЯ РУБЦОВА



3 января 2011 года исполнилось бы 75 лет выдающемуся русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову. Он прожил до обидного мало – всего 35 лет. 19 января 1971 года поэт ушёл из жизни. Неумолимо бежит время. Забылись фамилии гремевших когда-то поэтов, ушло в небытие творчество бывших «новоявленных гениев», а звезда поэзии **Николая Рубцова** вот уже 40 лет ярко горит над Россией! Горит и не угасает! Великий композитор **Георгий Свиридов** написал о Рубцове в своей книге воспоминаний: **«Николай Рубцов – тихий голос великого народа, потаённый, глубинный, скрытый...»** В нашем городе знают и любят творчество поэта. Уже стало традицией в январе проводить поэтические вечера памяти **Николая Рубцова**. Создан и работает Рубцовский центр. Имя поэта объединяет наш город с Москвой и Санкт-Петербургом, Вологдой и Дзержинском, Мурманском и далёкой Находкой. Уважаемые читатели, мы предлагаем вам подборку стихотворений **Николая Рубцова** и публикуем посвящённые поэту стихи сургутян.

Привет, Россия...

Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пеня нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильнее,
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия – родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем...
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!

Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..

Звезда полей

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Тихая моя родина

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

– Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил.
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.

Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

В минуты музыки печальной

В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз.

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Но всё равно в жилищах зыбких –
Попробуй их останови! –
Перекликаясь, плачут скрипки
О жёлтом плёсе, о любви.

И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чём.

Доволен я буквально всем!
На животе лежу и ем
Бруснику, спелую бруснику!
Пугаю ящериц на пне,
Потом валяюсь на спине,
Внимаю жалобному крику
Болотной птицы...

Надо мной
Между берёзой и сосной
В своей печали бесконечной
Плывут, как мысли, облака,
Внизу волнуется река,
Как чувство радости беспечной...
Я так люблю осенний лес,
Над ним – сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой весёлый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: Я был в лесу листом!
Сказать: Я был в лесу дождём!
Поверьте мне: я чист душою...

Ночь на родине

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сёл не слыхивали грома!
Не встрепенётся ветер у пруда,
И на дворе не зашуршит солома.

И редок сонный коростеля крик...
Вернулся я – былое не вернётся!
Ну что же? Пусть хоть это остаётся,
Продлится пусть хотя бы этот миг.

Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений.

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Зимняя песня

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие, светятся чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное – всё забывается,
Светлые звёзды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

Вот он и кончился,
покой!
Взметая снег, завывла выюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.

Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Там поле, небо и стога,
Хочу туда – о километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!

Но я смогу,
но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..
Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь?
Ночные ветры?

Стукнул по карману – не звенит.
Стукнул по другому – не слышать.
В тихий свой, таинственный зенит
Полетели мысли отдыхать.

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг –
Жизненный отчитывает срок.

Стукну по карману – не звенит.
Стукну по другому – не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

Выпал снег...

Выпал снег –
и всё забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилося,
Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Снег летит – гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

До конца

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!

Перед этой
Жёлтой, захолустной
Стороной берёзовой
Моей,
Перед жнивой,
Пасмурной и грустной,
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста!

Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

СТИХИ СУРГУТЯН, ПОСВЯЩЁННЫЕ НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

ПЁТР СУХАНОВ

Прощание

Памяти Н. Рубцова

Полумрак...
Холодный, мглистый
Свет срывающихся звёзд
На прозрачный, вечный, чистый
Опускается погост.
И под небом – запоздало,
Потрясая мир
На миг,
Раздаётся
Чуть устало
Небывало горький крик:

«Эх, Русь, Россия!
Что звону мало?
Что загрустила?
Что задремала?..»

...По крещенскому морозу
унесли.
Что теперь слова и слёзы –
легче ли?!

Нам
В толпе большой прохожих,
В тихой и тяжёлой мгле
Невозможно быть похожим
на Рубцова
на земле!..

Так всегда: в беде ль, в удаче –

Жизнь
Судьбой предрешена...
Ветер, ветер – что ты скачешь
По стране, что холодна?..
Пронесись по белу Свету,
Ветер!
Сбей с небес снега,
Чтоб теплей спалось ПОЭТУ
Под созвездьем ОЧАГА!

Предошущение

*«Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они –
Иных времён татары и монголы!..»*

Н. Рубцов

Россия!
Ты так велика,
Чтобы смириться с этой дикой силой!..
Храни тебя Господь во все века
От продавцов, предательств и насилий!
Они грядут – как ветер или снег
Среди весны
На горном перевале...
Они идут – похожие на тех,
Которые тебя четвертовали!..
Я вижу их – они страшней зверей...
Я слышу, как они гремят ключами!..
Ужель и вправду дети палачей
Не могут не родиться палачами?!
Они ползут – как мрак на фонари,
Со всех щелей, углов и подземелий...
Россия! Русь... – смотри, не просмотри
Себя
В кругу застолий и похмелий!..

НИКОН СОЧИХИН

Н.Рубцову

Памятник воздвигнули над Вологдой,
Где напротив комбинат с трубой,
Не тузу народному, как водится,
А такому – вроде нас с тобой.

Вот он встал под небо морозящее
Со своей балеткой, в пальтеце.
Но фигура – ангельски скорбящая.
Но улыбка – тихая в лице.

Небо то польёт, а то разведрится.
То опять возьмётся моросить.
Он стоит и даже как-то светится,
Что невольно хочется спросить:

– Кто таков? За что он уважаем?
Тут инициалов даже нет.
Вам ответят: Коля – Вологжанин,
И добавят: Мировой Поэт!

Стихи Николая Рубцова

Волнуют нас снова и снова
Стихи Николая Рубцова.
Сердечная их доброта,
Душевная их теплота.

Как будто лесами, лугами
Ведёт нас сторонкой своей,
И в сумерках светит над нами
Звезда задремавших полей.

Воспитанник детского дома
И североморский матрос.

Причёску его, как солому,
Арктический ветер унёс.

Мечтал о семье и о сыне,
О счастье простом и навек.
Какие стихи о России
Сложил!
А какой человек!

За дружбу пошёл бы на плаху,
И воду принял, и огонь.
Последнюю снял бы рубаху:
Возьми вот, а друга – не тронь!

А с виду такой неказистый,
И ростик весьма небольшой.
Но был он до донышка чистый
С пронзительно русской душой.

СЕРГЕЙ СМЕТАНИН

Памяти Николая Рубцова.

Двадцатый век умчался, как комета,
О чём грустим? О том ли мы грустим?
Постыдна доля русского поэта
Во времена, подобные моим.

Погиб Рубцов, трагический и славный.
А был так молод! И вино любил.
Бередил душу лирою державной,
Задорно тратил молодости пыл.

Мы с Колей – из советской молодёжи.
Не стану лгать, я не был с ним знаком,
И внешностью мы больше с ним похожи,
Чем славою и пламенным стихом.

Его Россия нынче не в гордыне –
Конца и края горю не видать.
И от страны, припомнившей о сыне,
Полно посыльных – весточку подать.

А весть одна – безмерно горе это:
Народу жить страшней, чем умереть.
И доля настоящего поэта –
Зажечь свою звезду и не сгореть.

НАТАЛЬЯ КУВАЕВА

Николаю Рубцову

Вернулся брат и на пол кузов бросил.
«Смотри, какие!» – закричал, смеясь.
Ты помнишь, у Рубцова, там, про осень,
Про сапоги, которые скрипят?»

«Конечно, помню... Ах, вот это грузди!
Где ты бродил? И как ты их нашёл?»
Гром умывальника: «Там где-то узел
С морошкой... Не вызрела ещё.

А как там баня? Прочитай, я с этим,
Как с путеводной песней, целый день.
По-моему, про сказки и про ветер,
Про плач и песни одиноких ведьм».

«Да-да...Иди, я чайник вскипятила...
Какие грузди! Помнишь, скрип да скрип.
Под каждой берёзой, под осиной
Везде – здоровый, крепкий, чудный гриб.

Иди сюда! Мы оба любим осень:
Болота, рощи, тишину полей,
И клюкву... И небес холодных проседей.
Садись, я прочитаю «Журавлей».

Николаю Рубцову

Здесь всё так же – молчат иконы,
Из углов – их бездонный взгляд,
Взгляд, вбирающий все поклоны
Старой бабушки и ребят.
«Не ленитесь, – дыхание мерно, –
Не жалейте упрямых лбов...»
И в такой вот избе, наверно,
Ночевал Николай Рубцов.
И в такой вот избе ночами,
Перед печкой присев, курил.
Здесь всё так же. Вот только с нами
Нет кого-то, кто раньше был.
За окном бродит ветер хмуро,
На живой огонёк косясь...
Эх, рвануть бы отсюда,
Не раскаявшись, не простясь...
А потом в суете вокзала
Задышаться от слёз и слов,
Об избе, где я так молчала
И где жил Николай Рубцов...

СЕРГЕЙ АБРАМОВ

Памяти Николая Рубцова

Хотелось молвить: «Боже, упокой!..»
Когда читал страницу за страницей.
Но чувствовал – не мертвый он, живой
Поэт Рубцов, отвергнутый столицей.

«Вот желтый куст...» пытаюсь заучить,
Вот дальше вижу лодку «... кверху днищем».
Да это же о том, что нам не плыть,
Не надо плыть туда, где злоба свищет.

А вот строка: «...забытое в грязи...»
О колесе тележном с сожаленьем.
О, как ты прав, певец родной Руси:
Дряхлеет память с каждым поколеньем.

Но если слово на душу легло,
То время над душой уже не властно.
Со словом нам, ей Богу, повезло –
Вся русская земля к стихам причастна.

Крепчают вновь крещенские морозы.
Они у нас не могут не крепчать.
Не снисходите до пространной прозы,
Когда Рубцова будете читать.

Когда сегодня русскому поэту
Мы воздаем и честь, и похвалу,
Не уходите в темноту от света,
Слог вечный не меняйте на молву.

Вы слышите, ... как тихими шагами
Рубцов обходит села, города...
Вы слышите, ... земля поет стихами,
Чтоб наша Русь крепчала в холодах.

СУХАНОВСКИЕ ДНИ В СУРГУТЕ

К 65-летию Петра Суханова

Февраль 2012 года для Сургута творческого стал во многом историческим: город жил предчувствием чего-то важного в его новейшей культурной истории. И предчувствие не подвело: город учредил День поэта. Праздник учреждён в честь дня рождения Петра Антоновича Суханова. Ещё до конца не определена концепция этого праздника, ещё предстоит сделать очень многое для закрепления Дня поэта в сознании горожан как праздника, но важен факт того, что в городе началось увековечение памяти русского поэта, нашего земляка, роль и место которого в современной поэзии весьма значимы и неоспоримы. Пётр Суханов уже давно стал поэтическим символом Сургута, его нравственной памятью, сумев выразить через Слово чаяния и чувствования целого ряда поколений людей, которые вошли в «этот город, как входят в мечту», которые оказались навек «при-сургучены». Ранняя и столь неожиданная смерть поэта всё ещё не позволяет нам отделить, разграничить его земную жизнь от долговременной и высокой жизни в русской поэзии, но крайне важным является факт того, что инициатива фонда «Словесность» нашла отклик в душах сургутян.

14 февраля в зале краеведения ЦГБ состоялось открытие книжной выставки «Я сросся с этим городом – как нерв», посвященной жизни и творчеству П.А. Суханова. В центре экспозиции и сопроводительного текста – сборники стихов, изданные в 1982-2003 гг. Выставка открыла цикл городских мероприятий, посвященных 65-летию поэта. Также посетители узнали о возможностях знакомства с произведениями автора через сайт ЦБС, на котором размещены не только публикации о творчестве, но и полнотексты стихотворений. А накануне 65-летия Петра Суханова, 17 февраля, в конференц-зале Центральной библиотеки имени А.С.Пушкина собралось много народу. Особая атмосфера вечера располагала к общению не только формальному, хотя представление сборника, по замыслу организаторов, заключалось только в знакомстве сургутского читателя с избранной лирикой поэта,

вышедшей отдельным (первым посмертным) изданием. О сложной и долгой работе (идея издания сборника появилась три года тому назад) рассказали члены редакционной коллегии: литературный редактор сборника Ю. Дворяшин, составитель сборника С. Лагереv, члены редколлегии Н. Ганущак и С. Суханова, дочь поэта. Со словами признательности к городу обратился координатор Ассоциации писателей Урала и Сибири, сопредседатель Союза писателей России А. Кердан, отдав городу должное: в России уже давно говорится о необходимости учреждения Дня поэта, и только в Сургуте, благодаря его жителям и администрации, он наконец-то появился на самом деле. Яков Черняк, заместитель Главы города, в ответном слове сказал о моральном долге города своему поэту и высокой степени ответственности каждого за память о нём.

Полторы сотни книг разошлись в мгновение ока: многие ушли без заветного зелёного томика с золочёным тиснением «Пётр Суханов. Избранное» (людей пришло намного больше, чем могли предположить организаторы и вместить зал библиотеки). И в этот вечер во многих домах Сургута читали Суханова, по-иному осмысляя каждую строку, готовясь ко дню рождения поэта.

18 февраля поэта чествовали в Сургутском музыкально-драматическом театре: по произведениям Суханова директором театра и режиссёром Тамарой Лычкатой был поставлен поэтический спектакль «Я... счастлив тем, что счастлив быть!..» Фонд «Словесность» и театр связывает долголетняя творческая дружба: общая любовь к Слову каждый раз рождает совместные творческие проекты, которые с большим интересом принимает творческая общественность и которые зачастую дают повод к дискуссиям и активным обсуждениям. И в этот раз поэзия талантливого земляка, осмысленная после его смерти, дала толчок мощному творческому порыву: актёры и зрители были едины в чувствовании и понимании авторской мысли, сухановского взгляда на жизнь, на страну, на Отечество, на дружбу, на любовь. Суханов был и на сцене, и в зале, и в сердце, и в душе каждого, кто смотрел постановку. Его присутствие ощутили все: началось новое осмысление места и роли сухановской лирики для каждого из тех, кто пришёл отдать дань памяти Петру Антоновичу.

К сожалению, зачастую жизнь поэта в России начинается после его смерти. Осмысление значимости, величия его творче-

ства практически всегда происходит с того момента, когда душа поэта взирает на этот мир с высоты небес. Пётр Суханов не стал исключением в этом плане. Своё земное бытие он продолжил творчеством, как и следует большому поэту. Сургут и сургутяне, учреждая День поэта, отдают ему дань памяти на века.

Уже после юбилейных мероприятий журналист Галина Стерликова из Волхова Ленинградской области, малой родины поэта, прислала тёплое письмо в знак благодарности сургутянам за память о Петре. В письме – стихотворение поэта 1970-х годов, подписанное псевдонимом «Пётр Надеждин», под которым П. Суханов печатался в Волхове.

*Не обвиняй
Задумчивость мою
И грустных строк
Негромкое звучанье.
Я не могу таить –
И не таю –
Ни радости, ни грусти, ни отчаянья.
Пусть будет всё, как есть...
Но только с ней,
Вот с этой жизнью,
Прорастая с корня,
Я б роздал всем себя
До капли крови –
Чтоб только люди
Верили в людей.*

Посмертная жизнь поэта продолжается. Учреждённый поэтический праздник в Сургуте принесёт немало новых открытий и станет той культурной традицией, которая питает нас верой в людей, к которой так вдохновенно взывал Поэт.



Дорогие друзья!

Фонду «Словесность» – 10 лет. Эти годы мы прошли вместе с вами, людьми, равнодушными к художественному Слову, к истории нашей страны, к будущему нашего Отечества. На этом пути мы многое обрели и многое сохранили! Мы вместе не потеряли святость наших уз, товарищескую дружбу, веру в великое русское Слово. Мы уверены в наших силах, мы ценим наше достояние, мы гордимся нашим славным прошлым и верим в будущее. Спасибо и низкий поклон авторам ныне здравствующим и уже ушедшим от нас:

Петру Суханову, Никону Сочихину, Сергею Сметанину, Михаилу Антохину, Светлане Тюрморезовой, Игорю Кириллову, Олегу Рихтеру, Валерию Матвееву, Сергею Лагереву, Дмитрию Сергееву, Татьяне Царенко, Анатолию Зубареву, Юрию Дворяшину, Дмитрию Ларковичу, Нине Дворяшиной, Виктору Гаврилову, Нине Галочкиной, Александре Лазаревой, Наталье Усовой, Валерию Багуркину, Сергею Ильиных, Сергею Пивоварову, Василию Юровских, Антону Салтанову, Галине Веч, Александру Козловскому, Екатерине Логиновой, Валентину Распутину, Константину Васьковскому, Владимиру Рогачёву, Татьяне Грищенко, Николаю Гануцаку, Александру Сидорову, Валентину Замятину, Валерию Латынину, Зинаиде Богдановой, Александру Шпаку, Юрию Минералову, Анжелике Давыдовой, Николаю Силкину, Якову Черняку, Виктору Федотову, Олегу Никулину, Николаю Рачкову, Глебу Горбовскому, Нине Календарёвой, Валерию Филлипову, Владиславу Стрегло, Любови Даныливу, Сергею Абрамову, Александру Хватову, Людмиле Ветровой, Юрию Мешкову, Наталье Кузаевой, Нине Сергеевой, Майе Рахимовой, Анастасии Пушкиной, Николаю Денисову, Анастасии Игна-

тьевой, Александру Данилову, Леониду Гайкевичу, Дарье Мельниковой, Любви Кондаковой, Любви Коробкиной, Светлане Романовой, Александру Кердану, Альбине Потановой, Татьяне Максимовой, Евгению Курдакову, Петру Поминкову, Алле Цукор, Наталье Васильевой, Ирине Минераловой, Екатерине Анатольевой, Александру Проханову, Юлии Степановой, Наталье Луценко, Сергею Козлову, Татьяне Смертиной, Николаю Зиновьеву, Владимиру Мазину, Светлане Гронской.

Мы вместе сделали многое! Ещё больше нам предстоит сделать! Мы служим русской словесности и нашему читателю! С первым юбилеем, друзья! Мы его отмечаем в дни Великой Пасхи, что ещё больше нас объединяет. Христос Воскресе!

Правление Фонда «Словесность».

Подписано в печать 05.04.2012.
Формат 70х108/16. Усл. печ. л. 35 л.
Тираж 300.

Отпечатано в ООО «Зауралье»,
640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.

